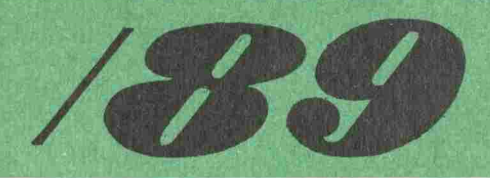
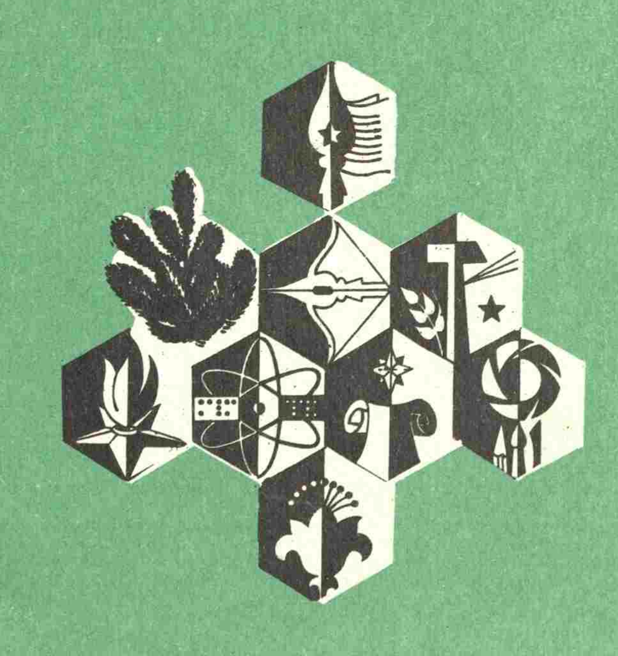


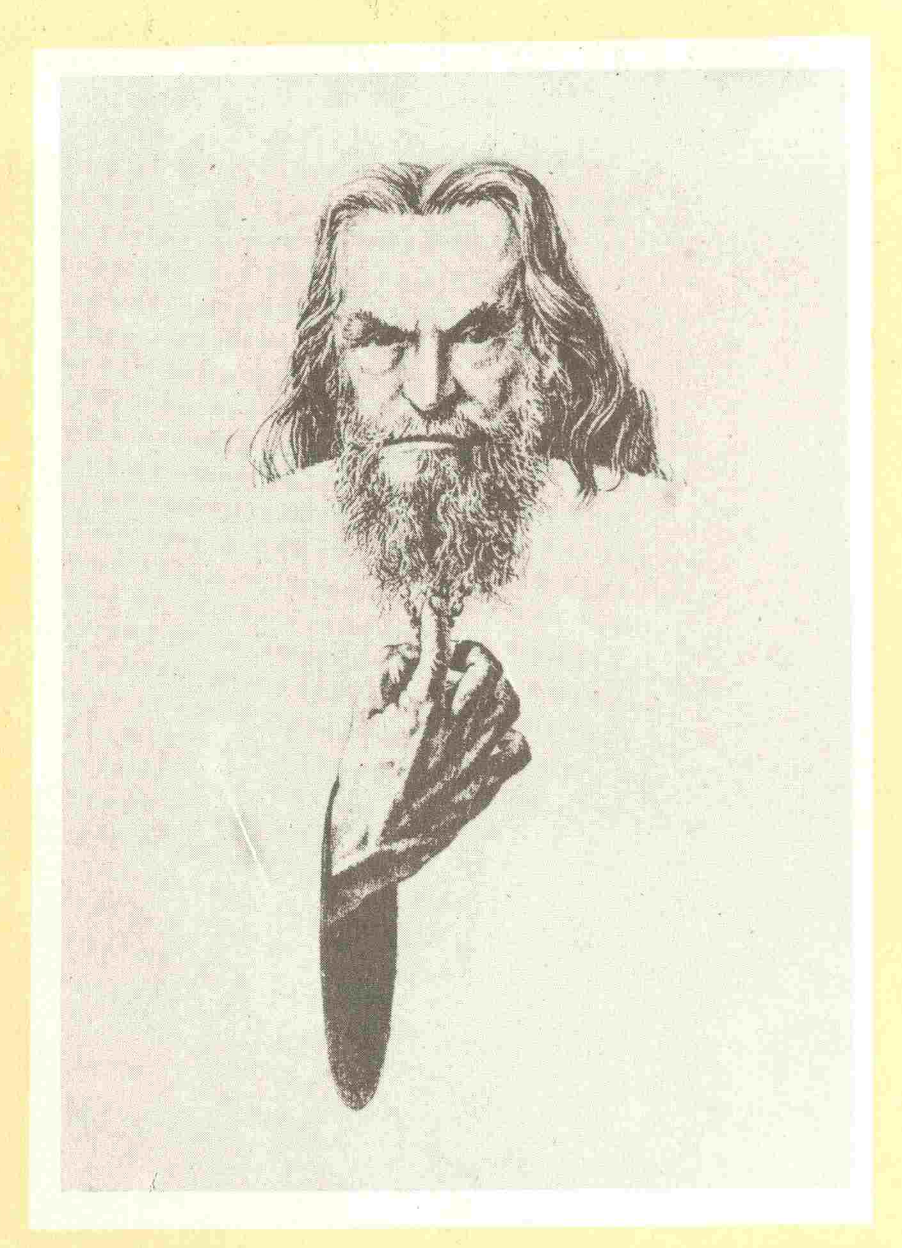
ИЮЛЬ, АВГУСТ, 4

ВЕРА ЗАХАРОВА — ТРАГЕДИЯ В АНГАРСКЕ

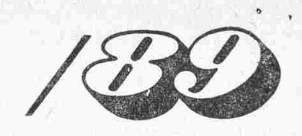
ВАЛЕНТИН РАСПУТИН — О КНИГАХ РОЛЬФА ЭДБЕРГА

«ИРКУТСКИЕ ЛЕТОПИСИ» ВОЗВРАЩАЮТСЯ К ЧИТАТЕЛЮ





Сергей Николаевич Булгаков (1873—1944)



Литературно-художественный и общественно-политический двухмесячник

Орган Иркутской и Читинской писательских организаций РСФСР

ОСНОВАН в 1930 году

СОДЕРЖАНИЕ

Иркутск Восточно-Сибирское книжное издательство

ISSN № 0132—6740
На 2-й, 3-й страницах обложки на вклейке графические работы Ю. Селиверстова

Вера ЗАХАРОВА

КРУПНОТОННАЖНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ

О проблеме БВК* в Ангарске

«Говорить сегодня об экологии,— начинает свой доклад Валентин Распутин на январском пленуме правления Союза писателей СССР,— это значит говорить не об изменении жизни, как прежде, а о ее спасении». Собственно об этом же доклад Ю. Черниченко и выступления других писателей, об этом последние статьи С. Залыгина, а если посмотреть за год-полтора подшивки газет, то они буквально пестрят экологическими материалами. Не мода, не «веяние времени», а крик о помощи, SOS почти в каждом регионе страны.

После трагических событий в октябре прошлого года наш город Ангарск стал печально известен на всю страну — не только как одна из мощных промышленных звезд-гигантов (мы помним, как ярко вспыхнули эти «звезды» четверть века назад: Ангарск, Братск, Байкальск...), но и как город экологического бедствия, приблизившийся к краю экологической пропасти. Опять наш город в числе «первых»— на этот раз по промышленным выбросам, по степени экологической загрязненности «первый» по риску для здоровья и жизни ангарчан. Есть и другие «успехи»: мы можем наконец прочитать в газетах, сколько и чего на нас приходится: до полумиллиона вредных веществ — по тонне на каждое человеческое легкое (цитирую «Известия» за 3 февраля 1989 г.). Можем узнать, из чего состоит «букет» ангарского воздуха. И ужаснуться, особенно если вспомнить, что «по тонне на каждое легкое» приходится и на новорожденного младенца: с этим он начинает жить, «этим» он начинает дышать.

Вообще ангарские цифры не для слабонервных: Ангарск дает 40% от валового промышленного выброса по области, около 30 тысяч тонн наших вредных выбросов падает ежегодно в озеро Байкал, а если говорить о многолетних постоянных превышениях ПДК* (иногда — в десятки раз), то это тема для отдельной статьи. Не зря среди ангарчан много лет популярен «бородатый» анекдот о газовых камерах Освенцима (чтобы понять его черный юмор, нужно быть ангарчанином). Но мы здесь живем, здесь живут наши дети...

Так получилось, что недавние уроки экологии стали для ангарчан и уроками демократии. Оба урока достаточно печальны и поучительны; и те мизерные уступки, которые пока что удалось получить от министерств и ведомств, нас отравляющих,— нельзя назвать победой; и те моральные потери, взаимное непонимание, трудности, с которыми приходится сталкиваться,— наверное, нельзя считать поражением. Городское экологическое движение общественности, едва возникнув, сразу же столкнулось с мощным сопротивлением ведомств и среднего звена бюрохратического аппарата, в «неформалах» увидели не участников общего дела, не сограждан, а прежде всего «врагов» (то

* БВК — белково-витаминные концентраты.

* ПДК — предельно допустимая концентрация.

ли образ «врага» так неистребимо живуч, что даже самые здоровые, естественные человеческие потребности — дышать чистым воздухом — вменяются нам в криминал). Очень наглядно это показали события конца прошлого года, связанные с заводов БВК, когда в Ангарске произошла вспышка заболеваемости бронхиальной астмой и спазматическим бронхоаллергозом. За несколько октябрских дней было более тысячи обращенный в станции «скорой помощи» и поликлиники города, более ста человек госпитализировано, в том числе двое—с тяжелым клиническим течением. Срочно вызванная комиссия Минздрава РСФСР, возглавляемая В. Н. Беляевым, пришла к выводу, что разрешающим фактором послужили выбросы завода БВК (в этот период наличие белка паприна обнаруживалось в каждой второй контрольной пробе и были превышения ПДК). То есть у нас повторялась киришская ситуация, но усугублялась она тем, что общий фон атмосферных загрязнений в Ангарске в несколько раз выше, чем в Киришах, что последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Надо отдать должное, в эти тревожные дни работали все: был организован штаб ГК КПСС, привлечены врачи и специалисты города, работали и «неформалы», экологическое движение Ангарска — тоже старались помочь, как умели и чем могли. Наверное, и наш «митинговый период» был чем-то полезен (всего в Ангарске было три митинга), ведь решение, принятое на декабрьском митинге, стало затем и решением сессии городского Совета народных депутатов. Да и в том, что многие вопиющие материалы об Ангарске появились в центральной печати,— тоже заслуга «неформалов».

Однако за первой комиссией Минздрава в спешном порядке последовали еще три: при непосредственном и активном участии представителей Минмедбиопрома, который бросился «исправлять положение» в Ангарске. Было сказано мощное давление на городские власти и руководство области, на главного санитарного врача Ангарска И. А. Лаптева, началась путаница, дерганье, подозрительность, обещания, страхи. Минмедбиопром старался «свалить» вину на других,— благо, в Ангарске кроме БВК еще около 30 предприятий, имеющих вредные выбросы, и «валить» можно пракрически на всех. Заключение следующих комиссий мало что добавило к общей картине, но навело туману, особенно разочаровало в этом смысле заключение зам. председателя Госкомитета по охране природы Е. В. Минаева и заключение главного санитарного врача СССР А. И. Кондрусева. Да и вряд ли Кондрусев, который совсем недавно, в 1987 г., утверждал «Протокол совещания медико-гигиенической оценки предприятий по производству БВК» и гарантировал в нем «безвредность» и «высокую ценность», а уровень заболеваемости на заводах БВК ограничил «единичными случаями», мог признать тысячу отравившихся в Ангарске жертвами этого самого «гарантированно-безвредного» производства. Так что расплывчатость заключения главного санитарного врача СССР, видимо, в какой-то мере «закономерна».

«Положительный» же момент октябрьских событий, видимо, в том, что АЗБВК все-таки частично прикрыли: с 24 октября мощность была снижена до 50%, с 27 октября до 30%, затем завод было закрыли совсем, однако в декабре пломбы противозаконно сорваны, и АЗБВК вновь заработал на 30% мощности. Пока что он так и работает, «по флюгерной технологии», то есть в зависимости от направления ветра. Но пока что на заводе БВК полным ходом идет очередная новая реконструкция, которая вылетит государству опять в копеечку (все вместе это будет стоить более 30 млн. рублей). Ведомственный «ход» с реконструкцией тоже, к сожалению, и в Киришах, и в Ангарске не нов: киришане, сколько существует у них БХЗ*, все реконструируют «безотходную» технологию, да и ангарский завод «реконструируется» с этой целью уже много лет, с тех пор как началось его строительство. Хуже другое: новая реконструкция опять начата не только без экологической экспертизы, но даже и проект на ходу разрабатывается. То есть деньги летят, строительство идет, а что получится — неизвестно. Опять реконструкируем, проектируем и экспериментируем на крупнотоннажном производстве, экологически опасном производстве, с единственной целью — успеть. Куда? Зачем? Начиная с 70 года завод только и делает, что куда-то «успевает»: завод проектировался и одновременно

---

* Б Х З — белково-химический завод.

строился, эсплуатировался и корректировался. Даже так: сначала строился, а потом проектировался, сначала был пущен в работу, и жители города ощутили на себе воздействие его выбросов, а потом задним числом, определялась санитарно-защитная зона. Таким образом и возникла путаница с ССЗ — то ли 3 км, то ли 1 км, что такое «зона строгого строительного режима» никто толком сказать не может, а в эту зону попали жители поселка Суховская. Так и живут, в санитарной зоне, под боком у завода БВК. Но, снявши голову, по волосам, как говорится, не плачут...

А по сути дела — много лет идет чудовищный и вредный для здоровья горожан эксперимент на крупнотоннажном, малоизученном производстве. Последствия этого эксперимента трудно пока оценить, но, кажется, уже можно: октябрьские события кое-что прояснили. Когда в 1980 году стало известно, что мокрой очисткой от выбросов БВК и дурнопахнущих не избавиться, возникла идея термодожига. Проекта, технического и экологического обоснования, разумеется, не было, однако реконструкция началась. Идея термодожига реализовалась у нас семь лет, пока в итоге не обнаружили, что концентрация белковой пыли на выходе стала выше, чем при мокрой очистке, а так же увеличились выбросы окислов азота и углерода. Теперь нам пообещали киришскую «безотходную» схему. Но, оказывается, и это благой обман: во-первых, не киришскую (киришская, как известно, экологическую экспертизу так и не прошла, отправлена на доработку), а собственную, ангарскую схему (когда, каким скоростным чудом удалось ее создать?), а во-вторых, но то чтобы уж и «безотходную». Во всяком случае, в ангарском варианте речь идет только о воздушной очистке, а замкнутая водная очистка — пока что отдаленная и туманная перспектива. В ближайшее время безвыбросная водная очистка введена быть не может, хотя бы потому, что нужно сначала построить очистные сооружения: градирни тем, буферные пруды и т. д. Существующие очистные никак не рассчитаны на «безотходность». Так что пока наоборот: если раньше, на второй ступени очистки, мокрой, кратность циркуляции воды была 3 (но тогда белок и дурнопахнущие летели в воздух), то сейчас кратность циркуляции 1 — то есть берется 150 кубов свежей воды, подается на форсунки, и 150 кубов сбрасывается. Расход чистой воды увеличился втрое, втрое больше ее портится. Как будут справляться нынешние очистные сооружения и что будет сбрасываться в Ангару, мне, как дилетанту, не очень ясно.

Но, пока суть да дело, пока реконструкция, то да се, нельзя же забывать о перспективах. Руководство БВК и не забывает. Как раз в декабре, когда к нам приезжали и уезжали комиссии, а больные продолжали болеть, завод БВК заключил договор с Китайской Народной Республикой на поставку своего продукта. В 1989 году АЗБВК должен отправить в Китай 1500 тонн, в январе первые 100 тонн были отгружены. Вряд ли это случайность или неожиданное везение, скорее — сознательная политика и позиция Минмедбиопрома. Ставка на сотрудничество с инфирмами, расширение связей и контактов — единственный способ доказать полезность и необходимость Минмедбиопрома, способ выжить. Примечательно, однако, что, несмотря на щедро разрекламированные Минмедбиопромом «исключительно высокие результаты по экологической защите (бессточная и безвыбросная технология)» и «высокую рентабельность», предполагаемые западные партнеры ни перенимать, ни приобретать у нас эту технологию отнюдь не собираются, а речь идет лишь о возможных поставках готового продукта. Нам же в обмен предлагают установки для гранулирования. То есть пусть вредные технологии будут у нас, а что касается продукта — они посмотрят, может, и сгодится. Ну, а как они сами будут использовать «искусственное» мясо, выращенное на искусственных белках,— это уже область догадок, я не хочу фантазировать. Впрочем, возможно и тут Минмедбиопром несколько опережает события и желаемое выдает за действительное?

Узаконенный авантюризм, ведомственный обман стал уже чем-то настолько повседневным, что истину различить трудно. В нашей стране, и тому пример: БВК-паприн; нередко углубленные комплексные исследования были подменены ведомственными разработками с привлечением многих, подчиненных ведомству институтов (проверку БВК, как утверждают разработчики, проводили 20 институтов, «переброску вод» «обосновывали» 146 институтов, программу гидроэнергетики — 300 институтов

и т. д.). На самом же деле не проекты были целью исследования, а исследования подгонялись под цели, некомпетентность подхода, ведомственный волюнтаризм — ахиллесова пята нашего развития.

Самым малодоказуемым на сегодняшний день является вопрос о безвредности БВК для животных и человека, а технологическая вредность этого производства сегодня уже достаточно доказана — опять же в масштабах страны, на опыте Киришей, Ангарска и т. д. В Ангарске, где, как мы знаем, и без того на каждое легкое каждого жителя приходится по тонне вредных выбросов в год, проводить подобные крупнотоннажные эксперименты сегодня уже невозможно, немыслимо, это противоречит человечности и здравому смыслу. Недаром на декабрьской сессии городского Совета народных депутатов Ангарск был объявлен зоной экологического бедствия и было решено обратиться в Президиум Верховного Совета СССР, Совет Министров СССР и Государственный комитет охраны природы с предложением о закрытии и перепрофилировании завода БВК и о проведении Всесоюзного референдума по проблеме БВК. Мы хотим знать мнение не заинтересованных, не связанных с ведомством специалистов — объективное, честное мнение. Ведь речь идет о жизни и здоровье людей.

Может быть, даже не Минздрав, который тоже себя кое в чем скомпрометировал, а Всемирная организация здравоохранения должна дать конкретное заключение, вреден или безвреден продукт БВК и насколько опасно для здоровья людей применение данной технологии.

«Экспериментировать» больше нельзя — это, кажется, ясно всем, и не стоит нас в очередной раз стращать, что альтернативы производству БВК пока не нашли (или не искали). Альтернатива в любом случае есть — это жизнь и здоровье людей, это возможность «завтра» для нас и наших детей.

Виктор ***ТРОСТНИКОВ***

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ

Такой сложный и длительный социальный процесс, каким является наша перестройка, не может быть однородным во времени. Это значит, что в ходе перестройки надо перестраиваться и в своем понимании этого термина, вкладывая в него на каждом этапе то новое содержание, которое подсказывается логикой развития. Содействовать же этому призваны средства массовой информации. Они должны фокусировать наше внимание на наиболее актуальных в данный момент проблемах, подвергать эти проблемы глубокому анализу, а если нужно, устраивать их публичное обсуждение. В этом и состоит «гласность» задача которой — одновременно и формировать, и выражать общественное мнение.

К сожалению, наша гласность эту задачу решает не очень успешно. Основные дефекты — поверхностность подхода, неумение додумывать всякий вопрос до конца и явное преобладание эмоций над разумом. Конечно, тут есть некоторое извинение: свобода выступлений появилась у нас сравнительно недавно, и она еще опьяняет, а настоящей журналистской квалификации пока нет, ибо мы десятилетиями привыкли писать «как надо», и самостоятельность мышления притупилась. Но все это надо быстрее изживать, так как ждать нам просто некогда.

Поверхностность нашей гласности лучше всего видна на примере разоблачений ею преступлений Сталина. Сущность целого периода нашей истории сводится у нее к тому, что Сталин был «плохой человек». По-моему, если уж ставить целью дать этому периоду как можно более краткое объяснение, то можно было бы согласиться разве лишь на такое, как «за грехи наши», да и оно нуждалось бы в раскрытии. А на нынешние «объяснения» можно лишь развести руками.

Разоблачение имеет положительный смысл только тогда, когда дается разбор причин разо-

облачаемого явления. Если мы будем видеть в массовых репрессиях того времени лишь проявление личной кровожадности Сталина, никакой пользы от этого не будет. Их надо анализировать как определенную политику, а именно — как политику **террора**, то есть карательных мер, направленных не только на наказание, но и на **устрашение**. С помощью этой политики Сталин добился того, чего хотел — построил социализм в отдельно взятой стране. Именно при нем были заложены основы нынешней общественной системы, создан тот производственно-экономический базис, на котором и доныне стоит наша надстройка. Это потребовало от него переделки всей структуры межчеловеческих отношений, и в качестве орудия такой переделки он широко использовал террор, имевший в его глазах теоретическое оправдание — тезис, что по мере приближения к социализму классовая борьба обостряется. И отбрасывать все эти соображения, приписывая все врожденному садизму Сталина,— значит лишать себя всякого шанса понять происшедшее. Встав на такой путь, мы никогда не извлечем из нашей национальной трагедии никаких уроков.

Когда не умеют или не хотят вдуматься в суть дела, неизбежно начинаются натяжки, происходит фальсификация истории. Слушая некоторых нынешних «антисталинистов», можно вообразить, будто социализм мог быть построен вообще без всяких репрессий. Но пусть тогда эти люди открыто заявят о своем несогласии с основами марксизма. Ведь одним из его краеугольных камней, как это подчеркивал Ленин, является учение о диктатуре пролетариата, а оно есть средство **классового** подавления, то есть репрессирования не по признаку личной вины, а по признаку принадлежности к определенной социальной группе. Такое подавление осуществлялось революцией вполне сознательно и с несокрушимым чувством правоты. В то время царило огульно отрицательное отношение ко всяким «недобитым» — дворянам, «буржуям» и т. д. Вопрос о социальной принадлежности был включен в анкеты не для статистики, как сегодня,— от ответа на него зависела судьба человека. «Бывших» официально лишили многих гражданских прав — отсюда и ходившее в народе название «лишенцы» — и этого никто не скрывал, этим гордились. Проявление любой мягкотелости по отношению к этим группам рассматривалось тогда как измена делу пролетариата. Их старались держать в постоянном страхе, чтобы им и в голову не пришло организовать сопротивление созданию нового общества. Понятие «красный террор» возникло не при Сталине, а в 1918 году, после покушения на Ленина, и о начале террора было объявлено во всеуслышание. Надпись «чрезвычайка» писали над входом по вертикали, а по бокам рисовали змеиные головы с высунутыми жалами: дрожи, контра! И Сталин, развернув в конце двадцатых — начале тридцатых годов свой самый масштабный террор, боролся не с провинившимися индивидуумами, а уничтожал кулачество **как класс**. Ему надо было так запугать крестьянина, чтобы он сам принес в контору последнего куренка и отдал его колхозу. Тогда можно было проявить великодушие и сказать: оставь его себе.

Как-то неловко напоминать такие общеизвестные вещи, но что остается делать, если некоторые вполне культурные люди ведут себя так, будто они никогда не изучали политграмоту, не читали «Поднятую целину» и не видели кинокартин «Большая жизнь» и «Сорок первый»? Если в нынешних телесериалах нам показывают чекистов двадцатых годов как служителей строгой законности, тщательно взвешивающих все «за» и «против» при вынесении каждого приговора? Если кормят нас с экрана рождественской сказочкой о моральных терзаниях террориста Камо, якобы раскаявшегося в том, что он добывал деньги на революцию путем эспроприации ценностей у эксплуататоров. Если, утверждая, что русская революция была величайшим событием нашего столетия, забывают о том, что **всякая** революция есть насилие, и заявляют, что счастье человечества нельзя основывать даже на одной-единственной невинной жертве?

Когда синдром забывчивости достигает таких размеров, поневоле возникает подозрение, что дело тут не только в забывчивости, что за этим стоит и что-то другое.

Это впечатление усиливается, когда берешь во внимание не только содержание этого рода «гласности», но и ее форму. Форма эта категорична и нетерпима к инакомыслию. Нам

просто предписывается сейчас иметь определенный взгляд на наше прошлое, а кто его не придерживается, тот объявляется «врагом перестройки». В кратком виде этот взгляд можно обрисовать так. Когда-то давно—сейчас живых очевидцев почти уже не осталось — произошло великое событие—Октябрьская революция. Это было событие на сто процентов положительное, и подвергать это сомнению недопустимо, так что лучше всего его вообще не обсуждать, а только любоваться излучаемым им романтическим ореолом. Позже, уже на нашей памяти, все было очень плохо: нарушения законности, приказной стиль управления и коррупция, поэтому об этом времени можно вспомнить с негодованием. А недавно началась перестройка и все стало почти так же хорошо, как во время революции, и теперь с каждым годом будет делаться все лучше и лучше.

Практическим следствием принятия такой концепции является невозможность использования нами нашего исторического опыта. В самом деле: революция не может быть для нас живым источником опыта из-за того, что ее можно только хвалить, а последующие десятилетия из-за того, что их можно только ругать. Одно кононизировано, другое предано анафеме, и ни то, ни другое творческому осмыслению не подлежит. В результате мы превращаемся в «чистый лист», в который можно вписывать все, что угодно. Вписывать же, разумеется, должен тот, у кого исторический опыт есть. А самый надежный опыт имеется у Запада—тут уж спорить нечего, достаточно взглянуть, как там налажено производство, насколько совершенна технология, как высок уровень жизни. Значит, нам надо учиться у Запада, внедрять у себя западный стиль жизни, становиться более европеизированными и цивилизованными. Видимо, эта мысль как раз и стоит за большинством «разоблачений».

Что можно сказать по этому поводу? Да, эффективность производства на Западе очень высока. Но когда наши публицисты делают из этого вывод, что если мы будем перенимать хозяйственный опыт Запада, то и у нас она станет такой же, и товары появятся в таком же изобилии, то это лишь еще раз подтверждает их неумение додумывать вопросы до конца.

Давайте будем честными перед самими собой: чему мы можем «учиться» у западных дельцов? Неужели от того, что наш чиновник будет сотрудничать с владельцем завода, он станет относиться к социалистическому имуществу так же, как тот относится к собственному? Один после заседания полетит на свое калифорнийское ранчо играть в гольф, а другой вернется в двухкомнатную квартиру в Чертанове смотреть «Прожектор перестройки». Нет, гусь свинье не товарищ. Нам надо раз и навсегда усвоить прописную истину: на хозяина нельзя выучиться, хозяином нужно стать. А от совместного предприятия, где один хозяин настоящий, а другой ненастоящий, толку не будет. И это потверждается жизнью: все чаще мы слышим, что наша сторона подводит западную — не выдерживает установленных сроков, поставляет некачественные изделия и т. д. Поэтому западные дельцы идут на контакты лишь в тех случаях, когда для них это очень выгодно, а тогда это невыгодно нам.

Но дело даже не в частной собственности на средства производства, а в том совокупном механизме, который культивирует и закрепляет в западном сознании индивидуальное начало и делает его мощным стимулом хозяйственной деятельности. Частная собственность там не только существует, а является священной и неприкосновенной. Это для всех западных людей аксиома. Находясь в Вашингтоне, я жил в хорошем районе, Джорджтауне, сравнительно недалеко от Капитолия, где земля, конечно, очень дорогая. С балкона передо мной открывался совсем не городской пейзаж: большая поляна, овраг, за оврагом дикий лес. Когда я удивился, что в таком месте до сих пор не освоена пустынная территория, мне показали маленький домик на краю поляны и сидящего на ступеньках старика. Он здесь родился, это его земля, и он решил не продавать ее, пока жив. Можно представить, как зарятся на нее дельцы, которые могли бы построить здесь нечто такое, что давало бы им миллионные прибыли, но владелец не продает участка, и разговор на этом кончается. И никто не пытается шантажировать его или убивать, как это изображается в наших фильмах об «их нравах», ибо там все прекрасно понимают, что основополагающий принцип жизни должен быть абсолютным: малейшее отклонение от не-

го может вызвать лавинную реакцию, которая будет катастрофой для всех. Личное имущество и частная инициатива охраняются там тщательно разработанным законодательством, которое имеет ни в коей степени не формальный характер, а является строгим общественным императивом. Шутить с законом там не решается никто: сразу же найдутся юристы, которые возьмутся наказать нарушителя, а если он влиятелен и богат, то возмутся особенно охотно и даже бесплатно, так как здесь пахнет прессой и рекламой. Наконец, частнособственническая инициатива регулируется на Западе весьма совершенным финансовым механизмом, в основе которого лежит деятельность банков. Очень важной особенностью этого механизма является то, что он заставляет человека выходить на уровень, несколько превосходящий его доходы, то есть все время толкает его вверх. На Западе многие живут в долг: поскольку выплачиваемые по кредитам суммы не облагаются налогом, это получается выгоднее.

Таким образом, можно говорить о **триединстве** основных составляющих западной жизни: психологической (постулат священности частной собственности), правовой (действенно охраняются законом права индивидуума) и организационной (деловая активность регулируется безошибочной арифметикой банковских компьютеров). Все три составляющие тянут общество в одну и ту же сторону — к увеличению и совершенствованию материального производства. Этот взаимоувязанный во всех аспектах уклад есть результат сложного исторического процесса, и, не пройдя всех стадий этого процесса, невозможно этот уклад обрести. На Западе была и Реформация, заложившая религиозно-психологическую базу индивидуализма, и противостояние папской и светской властей, заставлявшее непрыревно совершенствовать право, и длительный преиод действительно жесточайшей эксплуатации трудящихся, породивший компенсационный механизм профсоюзного движения, благодаря которому общество пришло к более или менее общему благоденствию, и многое другое, чего у нас не было и никогда уже не будет. Следовательно, у нас можно устроить только подражательный, неорганичный «Запад», а все неорганичное нежизнеспособно.

Сейчас одна за другой появляются публикации, призывающие сделать рубль главным рычагом нашей жизни. По новизне постановки вопроса они имеют немалый читательский успех. Но рассуждения их авторов неглубоки и свидетельствуют об утрате сегодняшними экономистами философской культуры. Товарно-денежные отношения рассматриваются ими как нечто абсолютное, как некий архетип, заложенный в человеке от природы. Это — шаг назад даже по сравнению с той примитивной политэкономией, которую мы не так давно изучали в школах, вузах и кружках, ибо здесь нет политэкономии, а есть плоский экономизм. Истина же состоит в том, что рыночные механизмы всегда вписаны в **культуру** и в одних типах культур они обретают большее значение, а в других меньшее. Конечно, ни в одной культуре их роль не становится равной нулю, но ни в одной она не достигает ста процентов. На самом деле мир управляется **духовно,** и это относится даже к капиталистическому обществу. И в Америке жизнью правит не доллар, а **культ доллара,** а это — разные вещи. Чтобы доллар мог играть роль божества, управляющего нацией, там создана вокруг него особая религия, включающая жития святых — истории о людях, которые в юности продавали мороженое, а потом стали миллиардерами. И если мы действительно захотим сделать рубль основной пружиной, нам нужно его **сакрализовать.** Но удастся ли это нам с нашей национальной традицией уважения к бескорыстию и с распространенным в нашем обществе убеждением, что не хлебом единым жив человек? И надо ли это делать?

Впрочем, если бы мы и очень захотели сделать это, у нас ничего не получилось бы. Развитие общественных структур подчинено тем же законам, что и развитие биологических организмов. На зародышевой стадии клетки «тотипотентны»—каждая из них может превратиться в любую специфическую клетку взрослого организма — хоть в мышечную, хоть в нервную, хоть в кожную. Но потом эта способность утрачивается, и клетки, находящиеся в определенном месте эмбриона, могут стать только мышечными, только нервными и т. д. Так и с государствами. Возможно, когда-то Россия обладала тотипотентностью, и из нее

могла бы вырасти капиталистическая страна, но этот момент давно прошел, и обсуждать несостоявшуюся возможность бессмысленно. Поменять сложившийся у нас веками тип культуры на тот, который веками складывался на Западе, невозможно.

В отличие от теоретиков-экономистов наши практики хозяйственники прекрасно понимают, что капиталистов из нас не вырастить, поэтому потихоньку готовят иной вариант—привлечение к нам готовых капиталистов из-за рубежа, то есть устройство концессионных зон. Не то чтобы они делали это совсем тайно — скупые сообщения об этом нет-нет да и промелькнут на страницах газет,— но никаких подробных разъяснений не дается. А ведь речь идет **об отдаче в иностранное пользование нашей земли с ее ресурсами и наших людей в качестве дешевой рабочей силы.** Вот тут бы и вмешаться нашей гласности, вынести эти далеко идущие замыслы на суд общественности, показать, что тем самым руководители нашей промышленности просто-напросто расписываются в собственном неумении работать, а их уверения, будто концессии будут содействовать развитию соответствующих районов, так же безответственны, как разоблаченные ныне уверения сторонников поворота северных рек, будто это не нанесет природе никакого ущерба. Но рыцарей гласности гораздо больше волнует то, что когда-то были подвергнуты незаконным репрессиям товарищ Бухарин и товарищ Радек.

Я не хочу сказать, что наша либеральная интеллигенция сознательно служит неким темным силам, заинтересованным, чтобы мы поскорее превратились из великой державы в страну «третьего мира». Но мне совершенно ясно, что сегодня, как и сто лет назад, ее легкомыслие умело используется людьми отнюдь не легкомысленными.

После неудавшейся революции 1905 года группа философов, составляющих ныне гордость «серебряного века» нашей культуры, опубликовала сборник «Вехи», в котором были подвергнуты критике некоторые черты тогдашней интеллигенции. В качестве одной из отрицательных черт был назван **морализм.** С. Л. Франк писал: «Русский интеллигент не знает никаких абсолютных ценностей, никакого ориентирования в жизни, кроме морального разграничения людей, поступков, состояний на хорошие и дурные, добрые и злые». Много воды утекло с тех пор, а эта особенность интеллигентского сознания сохранилась, что наглядно доказывается в нашей гласности, где совершенно ненужный нам морализм подменяет так необходимый нам **историзм.** Разумеется, это на руку тем, кто мечтает о самороспуске нашего государства как самобытной политической единицы. В «чистый лист», каковым делает нас отказ от историзма, они впишут именно наш самороспуск.

Этого нельзя допустить. От первого этапа перестройки, на котором главной задачей было устранение препятствий к движению вперед, надо переходить ко второму этапу — реально начинать это движение. Для этого нужны иные психологические установки — не разрушительные, а созидательные. Соломонова премудрость гласит: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом... время разрушать. и время строить; ... время разбрасывать камни, и время собирать камни» (Еккл. 3). Опубликование материалов об ужасах сталинской тирании было для нас полезной шокотерапией, содействовавшей выработке устойчиво негативного отношения к командно-административным методам, мешающим развитию перестройки. Но если мы и впредь будем заняты лишь эмоциональным осуждением того плохого, что происходило в прошлом, мы можем не заметить чего-нибудь худшего, зреющего в настоящем и угрожающего будущему. Да, я имею в виду разрабатываемый сейчас закон о совместных предприятиях. Может быть, эти страхи напрасны, но тогда почему бы не предать законопроект широкой огласке, чтобы их рассеять? Пока же есть предчувствия, что готовится что-то вроде поворота рек. Знакомый экономист видел черновой вариант закона и сказал мне следующее: «Это полная капитуляция перед Западом, это продажа России распивочно и навынос». Допускаю, что он ошибся или преувеличил. Но ведь в «Круглом столе», устроенном газетой «Советская Россия» 12 января 1989 года, собравшем людей уже имеющих дело с совместными предприятиями, тоже звучали тревожные нотки. Руководитель

проблемной группы со совместным предприятием Института государства и права АН СССР Н. Н. Вознесенская назвала уставы нынешних совместных предприятий «минами замедленного действия» и призвала устранять нашу внешнеэкономическую безграмотность. Конечно, эта безграмотность существует, и можно только догадываться, какой закон может быть создан на ее фоне.

К тому же имеется и опыт Китая, и он тоже не может не тревожить. В китайских концессионных зонах резко выросла проституция, появились «валютные попрошайки», распространились и другие нетрудовые виды доходов, а реального повышения жизненного уровня не произошло, так как возросшую зарплату тут же съела инфляция. И сейчас многие китайцы выражают недовольство политикой привлечения иностранного капитала, хотя еще недавно возлагали на нее большие упования. Не тот ли это случай, когда нам надо обсудить всем миром, вставать ли на такой путь? Не следует ли семь раз отмерить, прежде чем резать?

Если же кого-то интересует мое личное мнение на этот счет, то оно однозначно. Я убежден, что **вызволять нашу экономику из тяжелого положения должны мы сами.** Никто за нас этого не сделает. Как писал венгерский экономист профессор Калман Пече, «нельзя забывать, что Запад, конечно же, не заинтересован нам помогать». Но если это верно в отношении Венгрии, то насколько вернее в отношении СССР! А мы, будто на нас нашло внезапное затмение, забыли об этой очевидной истине. Нет, надеяться нам не на кого, надо приступать к работе самим.

С чего тут лучше всего начать? Ответ на этот вопрос подсказывает именно трезвый анализ нашего исторического опыта, к которому мы никак не решимся приступить. Ведь почему сталинский период был таким кровавым? Главной причиной было то, что для построения социализма Сталин счел необходимым отнять у крестьян землю. Он боялся, что, если этого не сделать, в стране будет постоянно воспроизводиться «мелкобуржуазная стихия» Но сегодня мы видим на опыте других стран — это было ложная теория, что социализм определяется обобществлением промышленных средств производства, и только. Лишать же людей земли, которую они обрабатывают и на которой выросли, настолько противоестественно, что это невозможно осуществить без крайнего насилия. Как выяснили зоологи, даже каждый зверь и каждая птица имеет свою «территорию», которую они защищают еще более яростно, чем добычу. Собственный участок земли есть материальное продолжение личности крестьянина, поэтому он тоже яростно сопротивлялся коллективизации. Сталин победил крестьян — сила солому ломит! — но сломал при этом стержень их существования. А поскольку крестьяне составляли основу нашей нации, это означало, что он сломал стержень нашего национального бытия. Отсюда и пошли все наши беды.

Раз это так, то от ругани в адрес Сталина нужно переходить к исправлению его главной ошибки и возвратить землю во владение землевладельцев. Аренду надо рассматривать лишь как переходную фазу, а конечной целью ставить передачу земли людям в вечное и наследственное пользование. На беседе в ЦК КПСС, состоявшейся 12 октября 1988 года, первый в СССР единоличник Сальдре, которому выделили в вечное владение 26 гектаров земли, сказал: «Арендатор, как показывает история, уже не полный хозяин: хозяин тот, кто знает, что земля будет принадлежать его детям и они будут работать на ней». Золотые слова! Так будет решена и молодежная проблема, которую многие считают сегодня каким-то кошмаром, ибо связь с землей и живыми организмами и включение человека в годичный цикл природы в качестве труженика нравственно очищает его и делает мудрым и добрым. В этой связи необходимо особо отметить замечательную инициативу московских комсомольцев, поддержанную исполкомом Моссовета и МГК ВЛКСМ по созданию Экспериментального молодежного садоводческого комплекса, который будет арендовать на длительные сроки (а может быть и бессрочно) земельные участки под Москвой и создавать там поселки, где молодежь будет занята общественно полезным трудом в сельском хозяйстве и получит жилье. Это — прекрасное начало, которому мы все должны пожелать успеха, так как оно может стать затравкой всесоюзно-

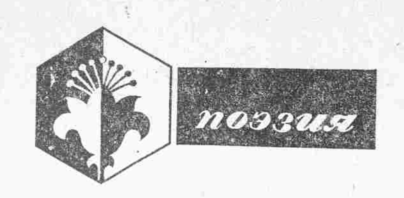
го движения за возвращение молодого поколения к своим корням.

В *земле* наше спасение, и ни в чем другом. Как и спасение всего человечества. Еще относительно недавно выращивание плодов земных считалось признаком отсталости — все бредили сталью, стеклом и бетоном, машинами и приборами. Сейчас назревает коренная переоценка ценностей. Я связан перепиской со многими «зелеными» Европы и могу судить, в какую сторону она пойдет. Натуральные продукты, выращенные в деревне, скоро будут самым ценным товаром, и за них дадут любые транзисторы и видеосистемы, которые уже и сейчас начинают надоедать тем, у кого они имеются. Поэтому, вкладывая людские и материальные ресурсы в аграрный сектор, мы не только не отстанем от времени, но и опередим его.

Психологичски это подготовлено больше, чем любая другая реформа такого же значения и масштаба. Работа писателей-деревенщиков не прошла даром — их произведения пробудили в душах ностальгию по крестьянским дворам с их симпатичной живностью и цветущими яблонями, жалость к заброшенной и изуродованной земле нашей. Тяга к селу появилась даже у многих из тех, кто родился в городе. И уже сейчас потянулись горожане в село — даже ради арендной земли, даже при противодействии местных властей настоящему семейному хозяйствованию, а как хлынут, если дать землю насовсем и всемирно облегчить адаптацию к деревенской жизни!

Пойдя по этому пути, мы начнем, наконец, собирать камни, которые разбрасываем уже столько лет.

Виктор Николаевич Тростников, 1928 года рождения, закончил МГУ им. М. В. Ломоносова, физический факультет. Кандит философских наук, автор многих книг в области математической логики. Выступает в печати как журналист. Живет в Москве.



Молодость и красота — неразлучные спутники. А если они озарены огнем поэзии, светом духовности, то путь-дорога будет видной во все концы—от истоков до не простых вершин опыта, зрелости, мастерства. Это почувствовал я при чтении стихов Елены Ерофеевой, коренной россиянки, ставшей в юные годы сибирской. Чистый и свежий голос, резко взятая на плечи ноша гражданской активности, лад и свет в понимании мира — это уже немало для самостоятельного творчества.

Пусть первые читатели Елены Ерофеевой станут постоянными и зоркими соучастниками ее поэтической судьбы!

МИХАИЛ ВИШНЯКОВ

Елена ЕРОФЕЕВА

□ □ □

И я когда-то была наивна,
и я когда-то была чиста,
как эти травы, как эти ливни,
как эта радуга у моста.

Приходит горькая зрелость лета,
и я меняюсь, и навсегда.
И я не помню того рассвета,
когда однажды пришла сюда.

Я ВЕРЮ В РОССИЮ

Что верно, то верно —
теряются веры,
себя изживая по капле.
Что верно, то верно,
и прошлому верность
надгробным кончается камнем.

Но я не забуду вовеки, вовеки
огня, закалившего наши сердца.
И верю я в русского человека
проверенной верой отца.
Он сможет, он встанет
и землю родную
ни страху не даст, ни войне.

Я верю в Россию
и веру иную
не надо навязывать мне.

□ □ □

Кричат, кричат со всех сторон
а я молчу второе лето.
Зачем не требует поэта
к священной жертве Аполлон?

Россия кровушки полна,
и в этом есть твоя вина.
И кровь стекает со страниц
за неимением границ.
Песок хранит ее следы —
пятиуголие звезды...

Но правда слишком не проста:
ни у звезды, ни у креста
свободной песни не отнять.
И надо каждого понять.
Понять? А может быть, простить?
Не возмущаться и не мстить?

Зачем опять они кричат,
и обвинения строчат,
и срочно ищут палача?
...А тот пока что ни при чем,
но скоро станет палачом...

□ □ □

Я не стану памяти молиться —
я останусь гордой до конца.
Пусть уходят маленькие лица
одного ушедшего лица.

Пусть уходят
и в ночи мелькают
тусклыми зрачками фонарей,

Ведь никто на свете не узнает
о любви непонятой моей.

Пусть она в веках не повторится,
пусть милее сердцу не найти.
Я хочу спокойной притвориться.
....Ты свободна, вечная, лети.

□ □ □

Хочу под сердцем чувствовать дитя,
тянуть к теплу доверчивые руки,
вздыхая утро с ветром и росой.
Хочу бежать счастливой и босой
по краю леса, неба и разлуки.
Хочу короноваться древним: «мать»,
испытывая гордость и мученье
как дочь природы, непременно знать,
что выполню ее предназначенье.

Мой нерожденный ничего не знает,
душа его теряется в ночах.
И лунный свет обманчиво играет
в его родных безоблачных очах.
Его глаза мне не дают покоя.
Он хочет жить, как тысячи вокруг.
Но зло очерчен мною и тобою
вокруг него немой и черный круг.
Не постучит, не крикнет, не попросит —
глаза застынут клевером в росе.
За эту жизнь никто с меня не спросит
Я не грешу, я делаю как все.

□ □ □

Когда грядет чужая дума
по душу слабую мою,
я говорю: «Какая дура!» —
и песню вольности пою.

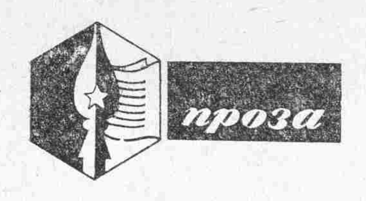
Когда вползет змея и трется
о ногу плоской головой,
мне отчего-то не поется
и я шепчу: «О, боже мой...»

Забудьте путь к моей гордыне,
истцы, герольды, стукачи,
я прославляю кровь отныне —
звучи, бессмертная, звучи.

Мы все безумцы поневоле —
и храбрецы, и мудрецы,
и ветры в беспокойном поле,
и ветров сонные отцы.

Не все приложится?
Ну что же,
за счастье можно постоять!
И буйный ветер землю гложет,
и солнце силится сиять.

Елена Сергеевна Ерофеева родилась в 1966 году в Москве. Студентка Литературного института им. Горького. Живет в Чите.



Альберт Гурулев
Валентин Саленко

УТОЛИ МОИ ПЕЧАЛИ

Повесть

I

Юкжа гуляла. Гуляла широко, для самой себя, по старинке безоглядно. Гуляла свой самый большой праздник — праздник Солнца, праздник равноденствия: день догнал ночь. Теперь день маленькими шажками, воробьиным скоком, будет становиться все длиннее, а ночь все больше пойдет на убыль. Самая правдивая и древняя радость: солнце перебороло бесконечную темную зиму, лящие морозы, повернуло к жизни, теплу, лету. Солнце — хранитель всего живого — все выше и выше будет взбираться над сопками, а скоро в оленьих стадах у важенок появятся маленькие оленята — давняя основа жизни лесных людей.

Сколько веков люди осознавали себя живущими на земле, столько они и празднуют день Солнца. Менялись правительства, менялись религии, уходили в небытие выдуманные ими праздники, а Солнце светило всегда.

Особый почет Солнцу здесь, среди вечной мерзлоты, где восемь месяцев тяжкая зима и даже летними ночами из каменистых распадков может дохнуть сизыми заморозками, где жизнь природы на грани выживания.

Юкжа гуляла. Гуляла и принимала гостей из не очень далекого поселка Мостового — строителей стальной магистрали века, как называли в газетах новую железную дорогу, прорезавшую эти места.

* * *

Еще с февраля по Мостовому веселыми зайцами запрыгали разговоры, что в Юкже двадцать второго марта будет большой праздник. Хоть и четвертый год существует Мостовой, а так получилось, что чужой праздник прежде не волновал, хватало своих забот, а тут, видно, время пришло. В ожидании своих больше налегали на экзотику: ожидали увидеть много интересного, национального, первобытного. Собирались ехать все, кто мог освободиться в этот день. В школе в последние дни предстоящий праздник — главная тема разговоров.

Утром около конторы выстроилась целая автоколонна. Два автобуса и крытая бортовая машина вместили всех желающих ехать; две автолавки, до отказа забитые товарами: торговое начальство решило подразгрузить завалы на складах, надеясь на неприхотливого деревенского покупателя. И еще — открытый грузовик со столовскими печеньями и прочей снедью. В его просторную кабину забрались две кругленькие поварихи, принаряженные. Одна из них появилась в поселке недавно, и ее Валентин Федорович почти не знал, а другую знал хорошо — мать шестиклассника Коли Иванова.

На праздник поехали почти все учителя. Валентин Федорович догадывался, что у каждой из них лежит в укромном теплом месте толстенькая пачечка денег,

свои и занятые у знакомых. И у каждой женщины по нескольку заказов от тех, кто не смог поехать.

Деньги — с расчетом на местные дефициты. Особенно рассчитывали купить соболей на шапки да воротники и расшитые унтики из оленьего камуса, обувь легкую и теплую. Юкжинцы, живущие оседло, старинным промыслом занимаются мало, а что и было, так давно продали, но к празднику выйдут из тайги эвенкийские семьи оленьих пастухов, и им, живущим долгие месяцы в безлюдье, есть что продать.

Правда, за последние годы соболи выросли в цене. Если мостовики-первопроходцы покупали соболей совсем по бросовой цене, по сорок-пятьдесят рублей, то сегодня эта цена выросла втрое. А все равно выгодней. Соболь в магазине стоит дурные деньги — новую утроенную цену нужно умножить еще на пять. Такая цена магазинному зверьку. Но знаток скажет: разве там соболи? По сравнению с местными, это кошки драные. Здесь соболи высших кряжей, темные даже по брюшку, спинка в седине, как звездная изморозь по черному небу.

Прекрасны и унтики. Сероватые из камуса сохатого и коричневые из оленьего. Украшенные бело-голубыми расшивками бисера или орнаментом из белого и черного меха. За семьдесят пять рублей женщины прикидывали щегольнуть редкой и изящной обуткой где-нибудь в Киеве или Москве, эта цена возрастет там неоднократно.

Выехали часов в десять, когда солнце уже высоко выкатилось над сопками, и утренний мороз заметно поубавился. Зимой в этих местах дорог много: сколько рек — столько дорог. Ровных, укатанных. Да и вообще реки здесь, как и в давние-давние времена, главные и единственные дороги. Летом на лодках, а зимой еще проще — по льду.

Докатили до Юкжи быстро, не успели в машине поострить да перекинуться словами, только лишь успело зародиться общее приподнятое настроение, и вот она, Юкжа: россыпь серых домишек среди белого-белого, слепящего своей чистотой косорога. Праздник, а деревня словно вымерла — на улицах ни души.

Вкатили в центр деревни — площадь на высоком берегу реки: на площадь выходит крыльцо конторы совхоза, крыльцо клуба, крыльцо магазина, крыльцо почты — четыре главные хозяина местной жизни.

Поставили машины строгим рядком. Вышли на снег. Где праздник? Нет пока праздника, но будет, успеется еще — неспешно живет деревня. Ждать так ждать, дело привычное. Торговля и столовские стали устраивать прилавок, выкладывать товары покрасивее, попривлекательнее, самый дефицит пока попритаили — дефицит он есть дефицит, всегда уйдет, ты вначале исхитрись лежалый товар сбыть. Начальство двинулось к начальству — в контору, женщины — в магазин. Мужики разбились на неформальные группы по интересам: курящие к курящим, любящие потрепаться о рыбалке-охоте образовали свой круг, развивают первые попавшиеся на язык темы, касательные уловов и добычи, но все ждут, что дальше будет.

Валентин Федорович потоптался около мужиков самую малость и отправился скоротать время к своему приятелю — директору местной школы. Программа коротания времени там весьма приятна и давным-давно обкатана: бутылочка водки на стол, строганина и пельмени.

* * *

Вот что нравилось Валентину Федоровичу в Юкже, так это снег. Белый-белый, словно в первые дни сотворения мира, хрустящий под ногой в морозцы, точно пахнущий прозрачной свежестью молодого огурца. И то понятно: ближайшие коптилки — промышленные центры — за многие сотни верст. Даже сейчас, в марте, снег на улицах не утратил своей белизны, а легкая желтизна на дорогах лишь подчеркивает его естество.

На улицах Юкжи Валентин Федорович всегда испытывал смешанное чувство ностальгической радости возвращения в давние времена и грусти от ощущения маломощности и даже бедности местной жизни. И хорошо и плохо.

Юкжа — это десятков пять разбежавшихся по южному косогору домишек. Домишки маленькие, под некрутыми скатами, крытыми давно забытой в других деревнях дранице. Дранина хоть и выглядит неказисто и бедно даже смотрится,

но по надежности она перестоит и дорогой тес и шифер перестоит. Рублены дома из тонкомера — где взять другой лес — всего в двенадцать-четырнадцать венцов, и человек среднего роста легко дотягивается до потолка. Нередко такой дом напоминает таежное зимовье, да и внутри, как и в зимовье, почти ничего лишнего и смотрится на приезжий глаз пустовато. Хотя в каждом доме можно увидеть привезенное за сотни и сотни километров что-нибудь из современной мебели: шифоньер, полированный стол или полумягкие стулья хорошей работы. Но все это вперемешку со своедельским, изготовленным лет тридцать, а то и все пятьдесят лет назад. На столе красуется дорогая, тонкого фарфора чашка в окружении гнутых алюминиевых вилок.

Дома внутри часто неоштукатурены, глядят живым, тусклым от времени деревом. Чисто, прибрано, где надо, побелено.

Давний, забытый в людных местах быт. Окошечки маленькие, архитектура зимовий и здесь дает себя знать, их верхний край и уровне глаз высокого человека. Избушка такая почти не имеет перегородок, о комнатах и речи нет, лишь дощатые выгородки для кухни.

Дома-избушки стоят вольно, но не обременяют себя ни огородами, ни палисадниками с какой-нибудь там черемухой или сиренью, огорожены неказистыми пряслами из жердей. Но зато возле каждого дома загончик-поскотина. И в них два-три кротких олешка. Это ездовые олени, без которых нет в здешней тайге дорог. Есть олени — есть дороги, одолеешь таежные версты, было бы терпение. Много верст — много терпения и много сил. Сколько лет дому, столько и поскотине, здесь родилось и состарилось не одно поколение оленей, и под ногами порой пружинит толстая, чуть ли не метровая подушка слежавшегося помета. Она хорошо защищает лежащих оленей от каменного холода вечной мерзлоты.

Сухопутной техники в селе почти нет — нет дорог, некуда на ней ездить — по широким просторам между домами бегают по своим делам всего два трактора «Беларусь» да две «Волыни», купленные для престижа местной знатью — заведующим базой и заведующим песцовой фермой.

Но зато лодок — так и хочется сказать, без счету. Лодки по-хозяйски разлеглись по всему ближнему берегу, и немало лодок, говорят, таится по протокам и таежным речкам. Своедельских лодок уже нет — это все «Казанки» и «Прогрессы», имеющие мощные моторы. У директора совхоза вместо привычного в иных местах «уазика» — «Прогресс» под двумя «Вихрями».

И много собак. На взгляд сибиряка, знакомого с лайками не понаслышке, они отличаются более тяжелыми формами и лохматостью. Чувствуется по всему, что это особая, крепкая и надежная порода, выведенная тяжкой местной жизнью. Но общий собачий фон уже крепко подпорчен случайными кровями завезенных дворняг и прочих кабыздохов.

В самой деревне среди полувременных домов и домишек немало построек, отличающихся особой добротностью, хотя и видно, что каждой из них перевалило уже, скорее всего, за сотню лет, старые, еще купеческие амбары до сих пор служат верой и правдой. В бывшем купеческом или приказничьем доме — в огромном крестовом доме — теперь магазин.

Из современных больших построек — только коровник, где содержится двенадцать коров, надой от которых растягивали между детсадом, школьным интернатом и больничкой. Коровник построен тоже давно, но уже в колхозное время и уже тоже давно пришел в негодность, успел подгнить и завалиться, но ремнтировать его не спешат. Навоз вокруг коровника, пожалуй, не убирали с начала местной цивилизации, и его наросло целые горы, правда, не очень крутые, как бы сглаженные временем.

Деревня по местным меркам большая, с удивительным для таких глухих мест национальным составом. Основная масса, конечно, эвенки. Это их край, их родина, их земли, их деревня. Но прибилось к ним, притулилось к ним всяких понемногу. Есть русские и украинцы — механики, лесники, ветврач, учителя да и просто на любых работах. Есть якуты — продавцы, завбазой, завклубом, завпекарней, веттехники, фельдшера. Есть бурятская семья — директор школы и главврач больнички. Есть даже семья немцев. Попали сюда по-разному: кто по назначению, кого жизнь загнала, а кто и вообще путями неисповедимыми.

* * *

Чуть осмотревшись в доме приятеля, Валентин Федорович забеспокоился:

— Может, поспешим на улицу? Хочу посмотреть, как все это будет. Не опоздать бы.

Но традиции в этом доме твердые.

— Как можно гостя голодным отпустить? Пельмени уже сейчас закипят. Не торопись — наши раньше чем к двенадцати не соберутся. Народ сейчас все больше еще за столом сидит.

Хозяин дома — директор-профессионал. Бурят с Байкала, так что земляк, а потому общение с ним особенно приятно. Уже в возрасте. До пенсии осталось всего ничего. Забился в эту тьмутаракань, как пишется в анкетах, по семейным обстоятельствам: солидно и неясно. А так — жизнь заставила. Двадцать пять лет проработал он в школах Бурятии вместе со своей женой. Дети шли, но одно печалило — родилось шестеро детей и все — девки. Попервости думалось, что вот уж следующий непременно сын родится. Но когда и шестая родилась девка, тут они уже решили не пытать судьбу... Закончили девки институты и разметались кто куда. А тут и беда пришла: умерла жена, умерла прямо на педсовете. Помыкался Баир Тумунович одиночкой год-другой да и женился. Женой ему стала женщина опрятная, общительная, хороший фельдшер, да вот беда — выпивоха. Вот он от неудобства своей второй поздней женитьбы и горьковатого увлечения новой жены и забрался подальше.

— Никуда, никуда мы вас не пустим, — воспротивилась и жена Баира Тумуновича попытке Валентина Федоровича пойти на улицу. Предстоящая выпивка сделала ее оживленной и разговорчивой.

Лишь к часу дня одолели Баирово гостеприимство и выбрались на площадь. Баир Тумунович был прав: к началу праздника уже толпился принаряженный народ.

Людная сегодня Юкжа, оживленная. Валентин Федорович много раз бывал здесь, а такое видит впервые.

В дни весеннего равноденствия стада со всей тайги сгоняются поближе к деревне. И лишь в эти дни вся деревня вместе. Все дома жилые, во всех домах топятся печи. И дети не в интернате — дома. Сегодня — праздник. Сегодня Юкжа гуляет. Широко и безоглядно. И непритязательно, как сама жизнь. Маленький отдых на каменистой и многотрудной тропе жизни. Завтра снова за работу, выполнять государственный план: считать оленей, делать им прививки, заново формировать стада. И снова в тайгу. До конца марта будущего года, до нового праздника Солнца, по древним пастушьим путям, делают свой годовой круг так же четко и естественно, как делает его Солнце.

Живет деревня, живет потихоньку. Свой хлеб, свое пропитание добывает с огромной территории — природа, державшаяся за жизнь с огромным напряжением сил, не терпит, чтобы в одном месте скопилось слишком много народа, не может она тогда прокормить людей.

Богатство тайги — кажущееся. Стоит человеку взяться за нее с безоглядной жадностью, как она тотчас пустеет на многие годы и десятилетия. На месте срубленной сосны точно такая же вырастет лишь через сто пятьдесят-двести лет. И, странное дело, только самосевом. Посадки не приживаются. Уж как там природа должна подобрать среди камешника угожее место для сосновой крохотной орешинки, какой выбрать день и час, как поить-кормить слабый росток жизни, ей, жизни, только и известно.

Выбитый глухариный ток, старики-эвенки знают, самовосстановится лет через двадцать-тридцать. Брать от тайги можно только очень понемногу и очень осторожно. Тогда тайга может кормить и кормить неплохо, но лишь одного-двух человек на сто-двести квадратных километров.

Конец двадцатого века крепко взялся и за эти края. Раз в год по замерзшим рекам и морям, по зимним дорогам, завозят сюда все необходимое: одежду, обувь, посуду, продукты, спирт, спички, инструменты, горючее. Деревня привыкла ко всему этому, и теперь ее жизнь уже крепко зависит от завоза. Многие вековые работы из-за своей сумасшедшей трудоемкости отошли в сторонку, попритихли, позабылись и отмерли. Осталось лишь то, где соизмеримы труд и отдача. Народ оделся, обулся во все привозное, не такое теплое, не такое удобное, но

но зато добываемое малым трудом. Лишь для форсу, да продажи бамовцам кое-кто шьет унты да шапки.

Так уж получилось, что звероферма стала важнее охоты. Хоть без азарта, без радостной надежды на фарт, но и без изматывающего труда каждый месяц капают денежки, хоть и не шибко густые, называются зарплатой. Рыбалка тоже стала просто для приварка да для разнообразия. Почти все продукты — из магазина. Даже банки маловкусной тушенки, вываренной и выжатой, и то стали в цене. И лишь оленеводство попрежнему процветает, хотя во многих местах широкой Сибири олешков уже поприрезали, свели на нет. Олени — основа жизни совхоза, а значит, и деревни.

А другого выхода все равно нет, землепашеством здесь не займешься. Почвы в обычном понимании здесь нет, только бесконечные скальники да мари. Выживает лишь то, что умеет ценить и беречь и истратить в пользу любую малость тепла или прокорма, умеет держаться за жизнь, а в трудные времена способно замереть, затаиться. И все-таки выжить. И потом в сверхкороткое лето не только продолжить свою жизнь, но и дать потомство. Неказистое потомство, холодом и голодом крученное, но крепкое. Столетнюю лиственницу в этих краях можно обхватить двумя ладонями, но такое дерево не всякий топор возьмет.

И люди здесь в Юкже такие же, невеликие, да крепкие. Умеют и взять то немногое, что есть у нещедрой природы, умеют и удержать. Умеют довольствоваться малым, крайне необходимым, с великой рациональностью использовать добытое, чтобы не пропало из добытого малой малости. И, как уж в таких случаях водится, почти довольны своим житьем-бытьем, не догадываясь о скудости своего быта. По меркам появившихся недавно соседей, строителей моста, так они просто голь перекатная, голее некуда.

Но живут и считают, что не хуже других живут. Даже у кой-кого есть небольшой запасец на черный день. У кого кожаный мешочек с золотишком, передаваемый по наследству и хранимый в тайне не столько от соседей, но от властей, есть панты, а это по местным меркам — богатство. Есть и толстенькие, но не очень-то, не раздутые, пачечки денег. У кого на сберкнижке, у кого по старой традиции в замусоленной тряпочке или в жестяной яркой баночке из-под китайского чая, который завозили еще купцы. Все это нажито тяжкими трудами и часто даже не одного поколения. Каждая бумажка из яркой жестянки добыта такими трудами, что даже у крепкого мостостроителя от таких тягот и потуг пуп два раза развяжется.

Казалось бы, что здешний люд мог иметь хорошие деньги от пушнины — как-никак все промысловики, все таежники, а соболя — живые деньги по тайге скачут, но пушнина тут не в великом престиже. Идет она, главным образом, на расчет с государством, на выполнение государственного плана. Но жены строителей моста цену против государственной хорошо подняли, и сдача соболей казне сразу стала давать сбои, поуменьшилась. Зато, как считает местный люд, охотиться стало много интереснее: за одного соболя можно три дня гулять и два дня опохмеляться. У некоторых бамовцев «левых» собольих шкурок за три года скопилось... не будем говорить сколько... и по выезде в обетованные места они надеются сделать деньги, какие самим добытчикам и не снились.

Привыкли здесь обходиться лишь тем, что необходимо, никакой тяги к вещам. Но вот горсть бисера... Это как и стодвести лет назад — великая радость для души. Это как для какой-нибудь горожанки — японский, редкого изящества, сервиз. Вроде нет в нем необходимости, а сердце радуется. Да еще как. Женщинам бисер, а мужчин радуют драгоценные узелки — наросты с корней березы — кап, — из которого получаются редкостной красоты рукоятки ножей.

Около магазина повстречались с давними знакомыми Валентина Федоровича братьями-лесниками Мишей и Володей. Они уже были в большом праздничном настроении. Братья еще довольно молодые, небольшого роста, крепенькие, сухонькие.

— Не стая ворон слетелась... — сказал им Валентин Федорович, тоже чувствуя после хорошего обеда некоторый подъем.

— Знаем, знаем, — радостно ответил за себя и за брата более выносливый

Миша. — Поэма «Братья-разбойники». Пушкин. Ты нам уже про них читал.

Братья были, пожалуй, самыми известными в округе охотниками, но специализировались больше не по пушнине, а по крупному зверю: в немалых количествах добывали диких оленей, но особое предпочтение отдавали медведям. С приходом бамовцев цены на медвежьи шкуры выросли сказочно. Охотничья страсть братьев крепко подогревалась большим бамовским рублем.

В сопровождении братьев и пришли на берег реки. Там уже появились первые нарты, запряженные парами, и четверка оленей. Пары — это просто так, для желающих прокатиться на нартах, а четверки — для гонок по реке. Будет решаться вечный вопрос: чьи олени выносливее и резвее, какой каюр лучше. Погонщики по случаю праздника в национальных одеждах: в парках-шубах из оленьего меха, расшитых белыми и черными орнаментами.

Олешки детям цивилизации, выросшим около «УАЗов» и «КАМАЗов», кажутся игрушечными, элементами декораций из прежней, давно забытой жизни таежных людей.

Женщины толпятся вокруг оленей, заглядывают в их влажные беззащитные глаза, приходят в восторг, трогая их нестрашные рога, словно обшитые тонкой нежной замшей.

Олени маленькие, чуть ли не по пояс крупному приезжему люду. Но мудрая природа и здесь все сделала с великим жизненным смыслом и тактом: и народ местный им под стать — маленькие, сухонькие, легкие.

У мужиков, у тех, кто еще хоть что-то понимает в рукомесле, радость и зависть к мастерству вызывают нарты: легкие, достаточно высокие, вместительные и прочные. Сплав рациональности и искусства. Настоящие хорошие нарты делаются так же, как они изготовлялись и века назад. Ни единой металлической детальки. Каждая деталька нарт, вплоть до копыльев, тщательно обработаны, выточены ножом, скреплены в единое целое сыромятными ремешками.

— Не могу привыкнуть к такому изящному чуду, — сказал Валентин Федорович Баиру Тумуновичу. — Я встречал на старых эвенкийских стоянках изношенные и поломанные нарты. И мне за них было обиднее, чем за брошенную под городским забором автомашину.

Подошли к многочисленной и шумной толпе своих. Физрук Слава рассказывал анекдотец на местную тему.

— Директор этого совхоза вместе с райкомовским начальством облетал зимой оленьи стада. Прилетают в стадо, пересчитывают его — не хватает двадцати голов.

— Где олени? — спрашивает.

— Волки съели.

Дело-то, в общем, обычное, тайга.

— Акт надо составлять.

— Сейчас и составим. — Сидят, составляют. И составили: «Акт о том, что волки съели двадцать оленей и еще собираются съесть восемь оленей».

— Как почему?

Отвечают, год большой, еще съедят.

Толпа на площади становится поплотнее. Из клуба принесли традиционный стол, накрытый скатертью. За столом появляются директор совхоза, парторг и три пожилых эвенка. Это они сегодня будут судить бега.

Четверки оленей, запряженные в нарты, собираются на льду реки в тесную группу. Олени волнуются, по всему видно, больше людей, не стоят на месте, перебирают тонкими ногами, дергают постромки, нарушают строй. Судьи пытаются создать среди упряжек хоть видимость порядка, загоняя их за флажки и выравнивая линию, но быстро отказываются от этой затеи.

Выстрел из карабина, и беспорядочная толпа упряжек под крики зрителей устремилась вдоль по реке. Летит снег из-под оленьих копыт. И нет уже бесформенной толпы — упряжки постепенно выстраиваются в одну линию. Они на глазах уменьшаются, и вот уже чуть заметные на снежной белизне темные точки скрываются за дальним поворотом реки. Где-то там, за вторым или третьим поворотом стоит метка, откуда они должны повернуть назад, там ждут судьи, чтобы никто раньше времени не бросился в обратный путь.

Притихшая толпа полна ожидания, если и заводятся разговоры, то отрывистые, без особого внимания к сути разговора. И все забывается в этот момент. Даже

бамовцы, сторонние наблюдатели на чужом празднике, испытывали напряжение и заинтересованность, хотя и не знали ни гонщиков, ни их упряжек. И было легко и светло от этой заинтересованности.

Через некоторое время на реке вновь появляются темные точки, сначала одна, потом еще одна и еще, и затем длинным и плотным многоточием.

Бамовцы еще ничего не понимают, просто поддались общему азартному настроению и общей радости, а местные уже в этих бесформенных для стороннего взгляда точках признают победителей, выкрикивают имена. Под вопли восторга, приплясывания первая упряжка пересекла мету.

Победителям и передовикам выдают грамоты, кубки, какие обычно закупает школа, и призы: транзистор, электрочайник, бинокль, что-то завернутое в бумагу.

Упряжки, участвовавшие в гонках, разъезжаются по домам, а оставшиеся еще долго катают желающих. Пьяненькие эвенки усаживают на нарты упитанных и крупных женщин из Мостового, и те визжат для поднятия настроения.

А вообще-то хозяева и гости чуть разочарованы друг другом. За свои подарки — автолавки и выездные прилавки — бамовцы надеялись получить больше экзотики. Хозяева «подарками» как раз и недовольны: торты есть, конфеты есть, ткани есть, да и много чего есть, а вина и водки не привезли, видно, забыли или пожадничали. Но те и другие свое разочарование скрывают.

Валентин Федорович временами испытывал чувство нереальности происходящего. Казалось, что все это ему лишь снится, и стоит только покрепче ущипнуть себя, и он окажется в прежней привычной жизни. А она, эта жизнь, кончилась чуть ли не три года назад.

* * *

По-настоящему подумать о своем прошлом и будущем Валентин Федорович смог тогда в самолете. Пожалуй этот самолет и был рубежом, который резко отделял его старую жизнь от новой. Какая она будет будущая жизнь, он еще не знал, знал лишь, что она будет иной. Пять часов лета на самолете с несколькими посадками, в том числе и в Иркутске, удобное самолетное кресло, ровный гул моторов, да и сам момент, грань эта между прошлым и будущим, располагали к размышлениям.

А поразмыслить было над чем. Ведь не в командировку, не в отпуск ехал — на поиски новой работы, новой жизни. Ехал на БАМ, о котором взахлеб писали все газеты, который называли магистралью века и который должен преобразовать экономику страны и сделать жизнь людей зажиточной и счастливой. БАМ звал к себе патриотов.

Жена, провожая в дорогу, по женской умудренности наказывала:

— Внимательнее там смотри, не донкихотствуй. Смотри, как бы не получилось: бам на бам и с бама бам. Вот тогда действительно некуда будет деваться.

Валентин Федорович тоже отдавал себе отчет в происходящем: уже за чертой середины своей жизни пришлось сломать и повернуть ее естественный ход, сломать то, что уже, казалось, вошло в русло, приобрело отлаженность и надежность. И теперь приходится делать немолодую попытку начать жизнь совершенно новую, по новым правилам, в новой обстановке и среди новых людей, которые, определенно, и живут и работают совсем не так, как он сам работал до недавнего времени, с которым он только что расстался.

В порту Иркутска попытался себя ощутить двадцатидвухлетним, когда улетал отсюда после окончания университета. Все было так же, или почти так же — людская толчея, спешка, объявления о прибывающих рейсах и о регистрации на рейс, ожидание неизвестной и новой жизни, меньше было только оптимизма у самого Валентина, ставшего еще и Федоровичем.

По-разному, думалось ему, на разных фундаментах строят люди свою жизнь. Многие главным в своей жизни считают успехи в работе, служебную карьеру. Основываясь на этих успехах, получают и житейские блага. Воздается им за неординарный труд. Что тут скажешь? Солидная жизненная основа. Красиво, уважительно живут, удачно распорядились собой, всей своей жизнью. Всего-то и нужно, кажется, для этого: образованность, трудолюбие и хоть немножко таланта. Ну и еще кое-чего. Или счастья-везухи,

или крепких связей. Чтобы, при случае, голову не сломать.

Другие строят свою жизнь на базе уже имеющейся квартиры. Если есть квартира, то работа всегда найдется. У нас в стране нет безработицы. Любой дурак, любой разгильдяй работу имеет. Благо это или нет — вопрос другой. Словом, при желании любой работу имеет, а при особом желании и умении только демонстрировать видимость работы — сразу не одну, а две и даже несколько. Так что человеку с квартирой в этой жизни не так уж плохо, если не сказать хорошо: всех и делов-то — ищи работу повыгоднее.

В трудные минуты жизни Федорович остро завидовал этим людям. Вот их игра-то беспроигрышная. Любые неприятности на работе, если ты, конечно, не рвешься все к большей и большей власти или успеху, не затрагивают главную базу, крепость их жизни — квартиру. Квартира от производственных неурядиц не пострадает. А работа? Работу и сменить можно! А некоторые в этом и даже прямую выгоду находят: меняй раз в два-три года работу и можно прожить жизнь, ни за что не отвечая.

Вон кто это в соседнем ряду сидит? С усами. Вполне может быть из подобных людей, с прочной основой — квартирой. Квартиру он забронировал, или там осталась его семья, а сам бросился на новостройку сливочки собрать, деньгу зашибить. Такого народа прошло немало и через Братскую ГЭС и через другие стройки века.

Так вот об ответственности и безответственности. У нас в отечестве, как водится, наказывают обычно лишь тех, кто берет на себя инициативу, а значит, и ответственность. Да и на службе никто особенно за того или иного работника не держится. Будь ты хоть золотой работник, или серебряный, или просто разгильдяй — в их положении разницы немного, а у кассового окошечка их и вообще не различишь. Всем одинаково, все трудящиеся. Так что надежно живут обладатели квартир, беспроигрышно. Не говоря уже о тех, у кого есть и квартира, а к этому еще и талант, и связи. Такую везуху, по размышлению Валентина Федоровича, и представить трудно.

Валентин прикидывал все это и к себе: ну а мы, то есть я и Светлана, как распорядились собственными жизнями с самого начала? Университет, студенческая жизнь не в счет, там еще не сама жизнь, а восторг от жизни. И восторг от себя самого: какой я умный, какой я правильный! Присутствие на празднике собственной жизни. Но, как и всякий праздник, студенчество быстро кончается.

Ну а дальше?

Наши отцы и матери, если по человеческим меркам подходить, жизни не видели. Честные советские труженики, как их называли в газетах. Но их жизнь выпала на тяжкие, голодные и кровавые годы революции, борьбу с кулачеством, когда им пришлось оказаться за тридевять земель от родовых мест, на строительстве колхозной жизни, когда крестьяне еще помнили и глухо завидовали угнетенной дореволюционной жизни, на непрерывные освободительные походы, на Великую войну, на репрессии, на годы доносительства и слежки и одновременно песен типа «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Любя нас, они учили нас не высовываться, таиться, не болтать, но и одновременно десятку великих заповедей: не убий, не укради, не возжелай... Кто виноват, кого винить в том, что наши родители только во вчерашние годы, наконец-то, свели концы с концами, вдоволь наелись и ничего, кроме любви своей и благословения, отправляя нас в жизнь, дать нам не могли.

Таким, как мы, считал Федорович, после окончания университета было одно надежное место — деревня, тут и к бабке не надо ходить гадать. Там тебе и зарплата и квартира без всякой очереди. С удобствами на огороде и баней. Тут тебе сразу и дом и дача. Голубая мечта.

Валентин многие годы с особым удовольствием читал статьи спецкоров и собкоров из-за рубежа, в которых они с надрывом вздыхали над судьбой, к примеру, некоторых американских трудящихся, вынужденных жить в квартирах без коммунальных удобств. Думалось: эти корреспонденты явно из тех счастливчиков, у которых есть и талант и квартира хорошая и богатые связи. Иногда он сомневался, в том ли порядке расставил эти достоинства, быть может, вперед надо было поставить связи? По крайней мере,

дочки и жены этих пишущих не выскакивают за нуждой в прокаленный сорокаградусной стужей нужник, и это при шестимесячной сибирской зиме. И поэтому Валентину было искренне жаль американских бедных бедняг.

— Ну да ладно,— остановил себя Валентин и мысленно поиронизировал: что-то меня, как женщину, при размышлениях в сторону занесло.

Как бы там ни было, а позади двадцать лет деревенской жизни. Не малый срок — дети уже выросли. Кто скажет, что в деревне жить тяжело, погрешит против истины — в деревне жить легко. Легко, если ты здоров и не законченный лентяй и можешь ворочать в день по десять-четырнадцать часов. Хорошо сказано: отдых — это смена работы. В деревне масса такого отдыха, сплошной простор. Можешь отдыхать хоть по двадцать четыре часа в сутки, все равно еще какая-нибудь работа найдется. Легко в деревне детей на ноги ставить. Лучше им тут, естественнее...

Главная забота в деревне — не опуститься, не отупеть. Очень уж она к этому располагает. В деревне быстро формируется главный симптом поглупления — начинаешь сам себя уважать, считать себя очень умным, а потом и самым умным. К счастью, это и надежный сигнал, что пора принимать меры. Как только зауважал себя умного и хорошего — спасайся, брат! Если у тебя к этому времени не пропало желание спасаться.

Вот на эту-то борьбу с убаюкивающей интеллект силой деревенского быта и ушли все годы, много сил и... и все деньги. До поры до времени спасали книги, журналы, дальние поездки в летние отпуска, старые друзья, удивительная природа, чудодейственная сила возделанной земли.

И все же наступил в безбедной и временами даже удобной жизни момент, когда Валентин почувствовал, что, как пишут в газетах и излагают в докладах, развития больше нет, нет внутреннего обогащения. Наступил кризис в работе. «Прогресс не сходя с места» больше не получался.

И вот теперь реактивный самолет уносил его из этого уютного и теплого блага. Только куда? Да хоть куда!

Когда-то Валентин Федорович читал сентиментальные книжки об учителях-подвижниках, которые всю свою жизнь посвятили одной деревне, безвыездно прожили жизнь на одном месте. Мило написано, считал он, красиво звучит. Но, поднабравшись опыту, перезнакомившись почти со всеми учителями района, и с подобными или похожими на них подвижниками, на это дело он уже смотрел совершенно другими глазами. Ему было жаль этих учителей, а особенно детей, которых они учили. Любой быт засасывает, тем более деревенский, отнимающий массу времени, чаще всего все свободное от уроков время. И человек не замечает, как упрощаются вначале бытовые нужды, а за ними желания и интересы, а там и мысли.

Быт бытом — дрова, печка, огород, куры, собаки, поросята — но еще и круг людей, узкий, до автоматизма привычный. За короткое время с каждым побеседуешь-пообщаешься по сотне раз, как говорится, обменяешься всеми своими взглядами, привыкнешь, притрешься друг к другу. А дальше что? Взаимного обогащения нет, по кругу гоняются одни и те же разговоры, интересы, мыслишки, интрижки. Тоска.

Тебе хорошо — ты дурак! Вроде издевка, ан не совсем. Если кто думает, что человеку глупому, с неразвитыми интересами, упрощенными потребностями плохо живется, он глубоко ошибается. Оглянись вокруг. Сколько счастливых самоуверенных, влюбленных в себя лиц. Деньги есть, вещи есть, пища есть и много, здоровье есть. Все есть. Проблем в вопросах секса и тех нет. Подобные особи чуют друг друга издалека и уважают друг друга, правда, уважение это измеряется по особой шкале, шкале материальных ценностей и возможностями их иметь.

Чувствовать себя счастливым —это же и есть счастье. И вот что важно: государству с такими людьми удобнее, надежнее, спокойнее, понятнее. Всегда точно известно, чего можно ждать от этих людей и чего они, в свою очередь, хотят от государства, от власть имущих. А хотят они, как и в давние времена: хлеба и зрелищ. Хлеба, читай, материальных благ, побольше, чтоб от пуза, и зрелищ, которые сквозь крепенькую кожу по нервам как наждачком прошлись.

Пришло время, когда Валентин вдруг остро почувствовал, что изжил себя на этом месте и, поговорив с женой, решил удирать из деревни и удирать в первую очередь от самого себя.

Но куда? Вот в этом-то и весь вопрос. Там, где получше, ну хотя бы с тем же бытом, никто его не ждет, и прибиться к тем местам без сторонней помощи для сельского учителя почти невозможно, а там, где хуже... Но бежать все одно надо.

По правилам деревенской хитрости, когда опасаются расстаться с сегодняшним рублем даже ради будущих ста, Валентин Федорович написал письма во все стороны страны с предложением своих услуг. Но если быть точным, признавался Федорович себе, то написал он письма на все окраины страны, так как боялся, что после деревни в середке ему не удержаться.

Но пока он мог пытался править свою судьбу, в стране разворачивались события, в которых ему, оказывается, было уготовлено и место и роль: из всех источников официальной информации настойчиво и многоголосо ударило слово «БАМ». На стройку века, как ее тут же окрестила услужливая пропаганда, ехали люди, много людей. Значит, там нужны будут школы. Школы, созданные на некогда пустом месте. И мы, думал Валентин Федорович, деревенские, умеющие суп из топора варить, там просто необходимы. И вот он летит на стройку века.

Мысленно возвращаясь в те дни и часы, Валентин с иронической усмешкой вспоминал свою тайную, но распирающую душу гордость и раздувшееся самоуважение, основанные только на одном: я молодец — я еду строить БАМ, я буду причастен к стройке века, ко всем этим телерадиопередачам, победным газетным статьям.

Много позднее Федорович запишет в своем дневнике:

«Пообтершись на БАМе, крепко поработав и уже действительно став бамовцем, я наблюдал в людях, недавно прибывших на стройку, это же с трудом скрываемое самоуважение, гордость за самого себя: вот, мол, какой я молодец, герой я! Милое наивное чувство распирало людей. До чего же хочется каждому из нас хоть на немного, но стать значительнее и одновременно приподняться над обыденной жизнью. Хотя бы в собственных глазах.

И как далеки были мы все в своих наивных мечтах от той неумолимой действительности, которая нас ожидала. Нам мерещились романтические трудности и подвиги их преодоления, самопожертвование и всенародная моральная и материальная признательность. Подогретые репортажами и сценариями, мы рвались в бой.

А боя не было. Не было боя. Как потом выяснилось, БАМ держался не на энтузиазме и подвигах, а на инженерных решениях. Вся масштабно-головоломная работа строительства была поделена на множество простых работ, порою даже примитивных, и каждый из нас просто должен был делать доставшееся ему по жизненной жеребьевке дело и по возможности делать его честно».

* * *

Автобус был старый, обшарпанный, пропитанный пылью. На неровностях дороги автобус кривобоко и ревматически приседал, и изо всех щелей в салоне подпимался серый туманец сухой и мельчайшей пыли.

Автобуса долго не было, и Валентин с трудом затолкался в его нутро и даже сумел пробиться к окну, чтобы увидеть новые края и знаменитую Тынду, столицу БАМа, как именовали ее газетчики в своих репортажах.

А пока по сторонам пробегала замореннная, мелкостойная, сырая и какая-то расхристанная тайга да проплешины марей. И, странное дело, среди этой малорадостной природы экзотично смотрелось лишь асфальтированное шоссе. Мимо проскакивали, обдавая автобус спрессованным гулом, мощные грузовики. В кузовах грузы чаще всего укрыты брезентом, стянуты крепкими веревками, по всему видно: машины идут в дальний путь.

Слышал разговор за спиной.

— Куда идет этот тракт?

— До Якутска.

— Так далеко?

— Это АЯМ. Амуро-якутская магистраль. Длина более двух тысяч километров. По нему через Якутск можно попасть на Магадан.

— На Магадан можно попасть и другими путями. Это я так, шучу. Живу вот в Сибири, а не знал, что такие дороги проложены. Срам, да и только. Грамотным, бывалым себя считаю.

Из дневниковых записей Валентина Федоровича.

«Тында не едина — их целых три. И совершенно разных. Есть Тында старая. Привычная сибирскому глазу картина, обычный райцентровский городок. Запыленные, рубленные из дерева, чаще одноэтажные дома и домишки, черемуховые палисадники и глухие ворота. Центр, освоенный различными конторами, большей частью двухэтажный, но строения какой-то неопределенной архитектуры, сляпаны местной стройконторой по принципу «абы как» и оцененные людской молвой бессильно-привычно: руки бы этим строителям пообрывать. Видны попытки облагородить центр с помощью затирки-покраски-обшивки, принарядить нищету, но вышле еще хуже: бесхозяйственность и нищета стали видны еще больше, как обнаженно видны морщины и пергаментность кожи при ярко накрашенных губах на иссохших от старости лицах. Здесь же — коровы на тротуарах, тракторы и грузовики возле домов: хозяин на обед приехал.

А чуть в стороне, на возвышенности, Тында будущая — десятка полтора очень многоэтажных домов довольно приемлемой архитектуры. Эдакие ухоженные, мощные красавицы, забредшие на свалку.

Есть еще и третья Тында, самая могучая, необъятная, Тында сегодняшнего дня, забравшая в плен Тынду вчерашнюю и будущую. Тында сегодняшняя — это огромное, хаотичное, бесконечное скопище вагончиков, неряшливых времянок и развалюх, слепленных из чего попало. И в довершение всей срамной картины этой Тынде грозит быть погребенной под толщей мусора. Море мусора! Да что там — океан мусора! Кажется, что сюда спецпоездами, большетонными машинами свозили и свозят хлам со всех ближних и дальних сторон: банки, склянки, щепье, корье, тряпки, бумага, старые бытовые приборы, игрушки, мебель, машины. И все это пропылено, заляпано, прокопчено.

И всюду заборы из кое-как, сикось-накось, пахоруко прибитого горбыля. И из него же построено все, что можно построить. Такое ощущение, что всю тайгу в округе до дальних до окраин перевели на горбыль. И где только набрали столько горбыля!? Это, похоже, такая же непостижимая тайна тайн, как торговля суповыми наборами. Неделями магазины торгуют наборами костей, вызывая недоуменный вопрос: а где же тогда то, что росло на этих костях, где же мясо?

Вся эта Тында-три возводилась как временная, чтобы перебиться какой-то момент, прикрыв чье-то высокопоставленное разгильдяйство, но не зря говорят умудренные житейским опытом люди: нет ничего более постоянного, чем временные постройки.

Тында не исключение, Тында, скорее, правило. Так всюду, так по всей стране. Кое-где сохранились, избежали «модернизации» патриархальные уголки, поднимаются новостройки, всякие супергиганты, а между ними широко раскинулась остальная часть страны, из сколоченных на скорую руку, на время всяких бидонвилей, копайгородов, шанхаев и нахаловок. И все это служит многими десятилетиями, оскорбляя глаз и калеча душу. Так и живем из поколения в поколение среди полупостоянного и полуразрушенного, но с грандиозными планами на будущее.

Гляжу на все это и кричать хочется: «Люди, да давайте же остановимся в своих великих стройках, хватит губить себя и жить в сраме. Давайте сначала приберемся в стране, как это делают аккуратные хозяйки в своем доме, доведем до ума то, что уже имеем. Ведь и того, что у нас есть, на всех хватит».

Но не зря я грамотный, с высшим образованием, знаю, что никто меня не услышит. Все мы имеем право громко говорить, да вот только некому нас слушать».

Позднее Валентин сделает и еще одну запись, но им, этим записям, следовало бы стоять рядом.

«Как и сам город, его жители распадаются тоже на три категории. Первая — это старожилы, местные жители, сибиряки. Они пытаются еще жить по старым привычным меркам. Нетребовательные, привыкшие добывать свой прожиточный минимум большим трудом, они едва скрывают растерянность под натиском, размахом стройки, всемогуществом техники,

подавляющей огромности сделанного и столь же неохватными размерами походя погубленного: природы, техники и всего прочего.

Вторая — это строители-профессионалы. Опытные, деловые, решительные, привыкшие к масштабным делам и... масштабным потерям.

А между ними — третья категория, наиболее многочисленная, но активность их роли нулевая или почти нулевая. Это все те, кто приехал то ли за туманом, то ли за деньгами. То ли за коктейлем из того и другого. По моим наблюдениям все эти люди, где-то там, дома, не совсем смогли устроить свою жизнь, с проколами в биографии. К этим людям отношусь и я. Те, у кого все в порядке, дома сидят».

* * *

В кабинет заведующего районным образованием, выждав немалую очередь, Валентин Федорович вошел так, как было предопределено сложившейся общественной жизнью: неуверенным просителем, обреченно чувствуя полную зависимость своей судьбы от решения хозяина кабинета, на которую могут повлиять многие причины, даже его сиюминутное настроение.

Как бы там ни было, а уволился-то он «по собственному желанию», формулировочка, вроде бы и не плохая, приятная во всех отношениях, любимое дитя нашего уклончиво-бюрократического естества, и каждый администратор знает, что за нее многие грехи, часто бывает, прячутся. И потому доверия к ней ни у кого нет. Вот и сейчас эта запись сразу же насторожила заведующего, едва он глянул документы.

— Почему уволился с прежнего места?

Валентин Федорович знает, что чем больше он будет объяснять причины, заставившие его тронуться с места, тем больше работодатель будет проникаться к нему недоверием, и ответил коротко и уклончиво:

— Так уж жизнь сложилась.

Заведующий неопределенно вздохнул, то ли соглашаясь, то ли иронизируя.

— На романтику потянуло? Староват уже вроде для этого. За большими деньгами?

По тону чувствуется, что на эти вопросы ответа он не ждет, а как бы думает вслух, нимало не заботясь о собеседнике.

Валентин Федорович обижаться себе не позволял, чувствуя, что сейчас решается его судьба.

Заведующий внимательно вчитывался в трудовую книжку, читал все записи подряд, рассуждал вслух:

— Не летун вроде... Все годы в одном районе...

Вот здесь что-то надо сказать, Валентин это нутром почувствовал.

— Да я, понимаете...

— Я все понимаю.

И здесь не положено обижаться, знать надо, что игра идет в одни ворота. А не хочешь играть по таким правилам, не играй, вон дверь.

— Я просто на прежнем месте доработался до тупика. И сам остановился в своем развитии и школу остановил. Для пользы школы нужно было сменить директора.

— Бывает.

— А для моей пользы сменить обстановку.

— Ишь ты, философ. Развалил, наверное, школу...

— Да нет. Вот характеристика. Заврайоно и председатель райкома союза подписали, — Валентин Федорович выбросил на стол один из немногих своих козырей.

— Ну-ка подай сюда.

Столоначальник читает медленно, шевеля губами. Поднял испытывающие глаза.

— Что ж это они тебя, такого хорошего, отпустили?

— Да я правду говорю. Заработался. Тупеть начал. Перспективу потерял.

— Ну добро, — заведующий мял подбородок. Молчал, смотрел в окно, тянул душу. Сказал неожиданно: — Ну добро. Возьму тебя. Пойдешь директором средней школы в поселке Мостовом. Я сегодня телеграмму из облоно получил, приказывают открыть новую школу к первому сентября. Это километров четыреста отсюда.

Душа Валентина возликовала — берут, жизнь продолжается, он уже не бездомный, не перекати-поле — но тут же полыхнул испуг:

— Но сегодня уже двадцать восьмое августа. Три дня осталось!

— Не беспокойся, — заведующий, теперь уже как прямой начальник, поощрительно улыбнулся, — Не беспокойся. Здание там есть, даже кое-какая мебель завезена. А учителей иди в коридор и сам подбирай. Сейчас я сделаю... — заведующий вдруг резко наклонился к столу, коснулся его щекой, а левую руку с акробатическим вывертом вытянул куда-то назад и одновременно вверх, — на тебя приказ, — договорил он фразу и на секунду замер в таком неудобном положении.

В приемной раздался звонок.

Ах вон оно в чем дело, приходит Валентин в себя, это у него так неудобно, позади на стене, расположена кнопка для вызова секретаря.

Вошла секретарь, милая девчушка игрушечного размера. В кримпленовом брючном костюме, лишь подчеркивающем ее игрушечность, с замысловатой прической. На мордашке — смесь юмора, испуга, лукавства и послушания. Черные живые глазки веселы и подвижны.

Как быстро кидает человека от состояния близкого к прострации к чувству самоуверенности. Валентин Федорович с внутренней усмешкой отметил в себе этот переход: услышав слова «я издам приказ», он почувствовал, как тотчас исчез, будто его никогда не было, легкий туманец расслабляющего тело и душу страха. И он уже был готов воспринимать мир таким, каков он есть. Миленькая, кукольного роста секретарша своим появлением даже настроила на не совсем серьезное восприятие действительности, чуть-чуть напомнив действо в кукольном театре.

Он уже ощутил в себе силы критически рассмотреть своего нового начальника. И должен сразу же сказать себе — новый начальник не нравится. Напыщен, мелковат телом, вертляв, одет по требованиям бюрократии среднего ранга. Тщится быть значительным, но вертлявость все портит. Легко срывается на резкости. Мелочно требователен, уже успел объяснить, что, если использовать для оформления документов развернутый тетрадный лист, нужно отрезать семь клеточек. Чтобы в папку помещался и края листочка не высовывались.

Но Валентин Федорович воспитан на других отношениях, привык быть преданным своему заврайоно, как бывают преданы своему вожаку все собаки из собачьей упряжки. Там, где он работал прежде, для этого не приходилось прилагать больших усилий, он и без того был очень расположен к своему заврайоно, огромному ростом, доброжелательному и гуманному, улыбчивому, преданному делу Дроздову Гавриле Терентьевичу.

А здесь явно все не так. В коридоре он видел расстроенных после разговора с заведующим и даже плачущих учителей, да и сам ощутил чиновничий прием, потом этот дурацкий звонок с кнопкой в дурацком месте. Да и сам звонок — обыкновенная квартирная «Мелодия».

Но, к счастью для себя, за долгие годы работы он научился принимать людей такими, какие они есть. И помог своей привычке рассуждением: да мне ли, сельскому директору, здесь судить?

А может, так и надо?

А может, так и правильно?

А может, он не фафарон, а истинно деловой человек? И если даже сам рекомендует, сколько клеточек срезать от листа бумаги, так это делу не мешает, и папки с документами выглядят приличнее. Ведь это как-никак тот самый заведующий районо Иван Самойлович Березовский, делегат съезда учителей. «Учительская газета» с его речью и портретом лежит в кармане.

Валентин Федорович чувствовал, что его тренированная воля подавляет неприязнь к Березовскому, но что вся его суть все еще колеблется принятием и неприятием этого человека, между раздражением и желанием понять, что «так и надо».

Сделав над собой еще усилие, Валентин пришел к выводу, что его-то новый руководитель вполне устраивает. Работу он, Федорович, знает, а бюрократизм Березовского не даст ему расслабиться, заставит быть всегда начеку. А это-то как раз и нужно в новой, совершенно незнакомой обстановке.

И за те пять минут, пока Березовский диктовал приказ, Валентин Федорович его принял, понял, полюбил и подчинился. И похвалил себя: да здравствует превращение человеческих недостатков в сильные качества — при необходимости!

Правда, в ближайшие несколько дней любовь и уважение не просто подверглись испытанию, а рухнули, но потом столь же быстро поднялись вновь на сияющую высоту. Это когда Валентин узнал, что по количеству школ и учеников районо крошечное, просто карликовое, всего восемнадцать школ всех типов и три тысячи учеников, он запрезирал Березовского. Да это же синекура! И при этом еще вести себя, будто под началом у тебя не педагогический Лихтенштейн, а, по крайней мере, соседняя с ним Австрия — секретарша, квартирный звонок «Мелодия».

Но затем и увидел, что в районо практически нет штатов. И на Березовском масса обязанностей. Почти всю черновую работу он делает сам. Работает как лошадь, с восьми утра до семи вечера. День загружен очень плотно, масса людей, которым всем есть до него дело. Масса бумаг, бумаги приходится прихватывать и домой. Достойны уважения те, кто работает.

Секретарь отпечатала и вручила Валентину Федоровичу копию приказа о его новом назначении, и уже в качестве директора будущей школы в Мостовом он вышел в коридор формировать свой будущий коллектив.

Коридор полон учителей. По их виду, по их настроению понятно, кто приехал искать работу и новую жизнь, но еще не побывал в кабинете заведующего, кто уже принят на работу и теперь лишь поделовому озабочен и кто, а таких немало, получил отказ.

Валентин Федорович мужик хитрый и поэтому своих карт никому не открывал, закрутился по коридору, приглядываясь к людям, прислушиваясь к разговорам, собирая привычную информацию. Первый свой вывод сделал о том, что здешнее районо кадрами дорожит не очень. Но это и понятно: «стройка века» — сделали рекламу на всю страну, по громкости равную, быть может, только прорыву в космос. И на районо, прежде захудалое, заштатное, сыплются многочисленные просьбы о работе, в приемной заведующего — очередь. Знай выбирай! Много, даже очень много расстроенных лиц. Есть плачущие. Это, значит, уже побывали в кабинете у Березовского. С учителями здесь разговаривают свысока, никакие условия с их стороны не принимаются и не учитываются.

В уголке коридора горюют супруги средних лет. Она — литератор, он — историк. Ох уж эта нерациональная студенческая любовь. Валентину Федоровичу это очень даже понятно: сам географ и женился на географичке. По этой причине немало помыкался за свою жизнь, особенно в первые годы после окончания университета. Ни в одну сельскую школу не надо сразу двух географов. Вот и пришлось ему в свое время самоучкой одолевать физику, черчение и труд — на безрыбье и рак рыба. Надо было жениться на математичке или на физичке, запоздало посоветовал Валентин себе, всем гуманитариям и этому историку, сидящему в уголке. Вот теперь их и не принимают в таком сочетании, редко в какую школу сразу нужны историк и литератор. Но им еще, можно сказать, повезло, предложили хоть какой-то компромисс: ей быть завучем, ему учителем труда. Теперь они сидят и горюют, прикидывают: соглашаться ли на хомут завуча или уезжать. А уехать тоже не просто, тылы, скорее всего, порушены.

Валентин Федорович мысленно примерился к этой паре, стоило бы их взять, похоже, дельные люди, интеллигентность свою еще не развеяли, приятные люди, нужны в новую школу и историк и литератор. Но нельзя! Существует такое негласное правило: если кого-то сватают на должность завуча или директора школы, то или помогай свату, или же не встревай. Профессиональная этика, черт бы ее побрал.

Рядом в кресле ревет навзрыд полная крошечная блондинка — учитель химии. Школы в районе маленькие, учителя, преподающие только химию, не нужны. Примерился Федорович к ней, но и ему такая не нужна: похоже по всему, и по одежде, и по боевой раскраске, смываемой сейчас слезами, что дамочка с претензиями. А вот культуры, даже внешней, нет. Не подходит! Как бы ни было жаль человека.

А вот на следующий день он встретил существо, не так уж и часто появляющееся в сельских учительских коллективах. Со своим новым положением Валентин Федорович освоился быстро и стал довольно просто заходить по текущим де-

лам к заведующему и в один из заходов застал у Березовского учительницу физики. А учитель физики даже в ином городе — богатство. А эта москвичка — чего ее дернуло в эту тьмутаракань забираться? — модно одетая, судя по речи и манерам, развитая и интеллигентная. Молодая, несколько изнеженная, красивая. Для любой провинциальной школы ее столичный лоск сам по себе уже находка, материальная ценность. За ней бы тянулись, подражали ей ученицы, и учительницам при ней опроститься было бы сложнее. Но инфантильна, изнежена. Эту особу, пригласи ее в сельскую школу, пришлось бы опекать и обрабатывать в самых элементарных житейских нуждах. И все же Валентин ни на минуту не сомневался, что в прежней своей деревне он пригласил бы ее в школу с радостью, отбил бы ее у других директоров, оценив ее внутреннее богатство, о котором она и сама не подозревает.

Физичка начала манерничать с заведующим, выдвигать какие-то условия, осознавая, что она фигура вообще-то ценная.

Но Березовский не дослушал ее до конца и просто-напросто заявил, что в ее услугах районо не нуждается.

Да-а-а!

Из дневника.

«Вспоминаю свои недавние тайные мыслишки, от которых не избавился полностью до сих пор, что я еду чуть ли не на подвиг. Очень себя уважал, мол, какой я молодец! Думается, что все едущие сюда тайно надеялись, что их здесь будут принимать как героев. А здесь, оказывается, не герои нужны, а просто работники, и то далеко не всякие.

Холодный душ на честолюбие. Вот и плачут от обиды и разочарования.

Первый урок. И хорошо, что не на мне его преподали. Нужно срочно менять позу. Особенно перед самим собой. Пора кончать восторгаться собой.

По разным причинам приехали сюда учителя. Но любая из причин — это какая-то жизненная неурядица, чаще всего старательно скрываемая... у кого все в порядке, те сидят дома. Это когда человеку на родном месте становится почему-либо плохо — а причин может быть миллион, от неприятностей по службе до личных трагедий и драм,— то он сразу же начинает собираться в дальние страны или на край света, в экспедицию, на стройку, за голубым туманом.

И, к сожалению, не дает себе труда задуматься: а нужен ли он там таким, каков есть? а будет ли от него от самого на новом месте толк? Уж если он дома не сумел выстоять, то каких уж побед ждать от него здесь. Дальние края нуждаются в сильных, умелых людях, а не в жертвах бытовых неурядиц и житейских катастроф.

Настоящее дело держится не на энтузиазме, а на организаторском таланте и умении работать, на умении в голых краях наладить сносный быт. И всякие поиски себя в таких местах не только неуместны, но и опасны для окружающих и для дела.

Каждый человек, едущий в новые края, на новые стройки, должен обладать мощным запасом энергии, жизненных сил, профессионализма, бытовых навыков. Иначе он — обуза. Здесь каждый должен не только выстоять сам, но и быть опорой другим, тем, кто рядом. Здесь нужно не просто уметь просуществовать, протянув время от срока до срока, а прожить с величайшей пользой для дела, ради которого приехал. Содержать здесь людей очень дорого, накладно. И лишние здесь не нужны.

Я думаю, что Соединенные Штаты Америки процветают, в первую очередь, потому, что народы Европы в свое время отдали этой стране своих наиболее предприимчивых, деловых, сильных духом, крепких телом.

Туда, конечно, тоже ехали за туманом, но эти навряд ли дотянули до собственного потомства.

...В районо никого не интересует, что многие из учителей, приехав сюда, пошли в своей жизни, как говорится, ва-банк, истратили на этот поступок все свои душевные ресурсы. Где-то там они, под давлением обстоятельств, оставили более-менее удобную и комфортабельную жизнь, гарантию надежности личной жизни, рискнули всем созданным ранее благополучием, благосостоянием».

Перелет, беспокойство о собственной судьбе, неожиданное назначение директором еще не существующей школы, расположенной за четыреста километров и до открытия которой оставалось несколь-

ко дней, как-то не сразу дали возможность Валентину Федоровичу осознать, что он попал в ситуацию, о которой директор школы может только мечтать: самому подобрать учительский коллектив. А когда осознал, воспарил в восторге: я!.. сам!.. могу!.. по своему усмотрению!.. Рационализм крепко тертого жизнью директора усмотрел в этой ситуации такую привлекательность, что он немедленно убедил себя, что ради этого стоило вырваться из прежней теплой жизни. Сбылась голубая мечта: работать с теми, кого сам выберу, исходя из своего понимания, что такое хороший учитель.

А это, оказывается, как говорится, «две большие разницы», когда тебя выбирают, присматриваются к тебе, колеблются, брать тебя на работу или не брать, и тем, когда ты сам выбираешь. Ситуация, несколько сходная с трамвайной. Одно дело, когда ты рвешься в трамвай, а тебя не пускают. И совсем по-другому мир окрашен, когда ты в трамвае, тебе и так тесно, а снаружи рвутся еще какие-то нахалы.

Хорошо, очень хорошо, но... плохо. Нет времени на подбор учителей. А потому эту работу следует провести предельно тактично, осторожно, не раскрывая, по возможности, истинной цели своих разговоров-расспросов. А так хочется подобрать отличных учителей, неужто не воспользоваться единственной, в этом можно не сомневаться, возможностью. Дурацкая напряженная ситуация. А выбор есть, богатый выбор. Только одно неуютно: выбираешь одного за счет другого, а тот другой, быть может, судьбой рискнул, приехав сюда, а теперь останется без работы. Но надо дело делать, время не ждет.

К вечеру у Валентина Федоровича было пять учителей...

Первой он приметил учительницу начальных классов. Быть может, прошел бы мимо, но внимание привлекла легкая братсковатость, как говорят в Сибири, в лице учительницы — этакий отсвет местных восточный кровей, — и он безошибочно признал в ней землячку, и уже одно это вызвало сочувствие. Валентин Федорович несколько раз не спеша прошел мимо, приглядываясь, прислушиваясь. Средних лет, полная, с добрыми глазами, спокойная, спокойная даже в этом неуютном коридоре, полном нервного, взвинченного люда. Есть люди, которым безоговорочно веришь.

Валентин заговорил с землячкой. Познакомились. Лидия Васильевна. Замужем. Двое детей. Дочь в техникуме. Сын третьеклассник. Муж столяр-плотник, поедет туда, куда направят, если направят жену. Он рабочий класс, ему везде есть работа.

Валентин Федорович понял, что в доброте он не ошибся, доброта от нее так и лучилась. Но наметанным глазом понял, что и характер в бабе проглядывает, только жизнь научила ее этот характер поглубже припрятывать, защищаться добротой. По всему видно, хорошая будет наседка, заботница для желторотиков-малышей из начальных классов. Надежная.

Валентин решил не таиться, и они с Лидией Васильевной моментально поняли, а главное, приняли друг друга.

Следующего учителя они уже искали вместе. Им обоим очень и сразу понравилась волоокая, вся из себя сдобная украинка. Красивая, все прелести дочерей Евы при ней, только по современным понятиям в несколько преувеличенных размерах. Она легко и со вкусом и безостановочно болтала с соседями, а сама успевала стрелять во все стороны глазами. Огромными, карими, влажными и с хитринкой. И еще — постоянно улыбалась. Оказалось — литератор. Лариса Витальевна или позднее, с легкой руки, или, вернее, языка, физрука Славы между своими — Лариса Патрикеевна. С Украины, из Запорожья. Стаж пять лет. Преподавала в русской школе.

Коллектив преподавателей будущей мостовской школы стал уже три человека.

Лариса оказалась женщиной любопытства невероятного, которой до всего есть интерес и дело, и все готовой с жаром обсудить. Медовая. Другого слова и не подберешь. Молодые парни возле нее лишались языка, но она этого не замечала, вдохновенно болтала не за двоих даже, куда там! — за пятерых. А вот мужички в годах возле нее хорошели, подтягивали животы, расправляли плечи.

Четвертым членом коллектива стала математик Вера Иннокентьевна, или просто Верочка. Так звали ее впоследствии не только учителя, но и старшеклас-

сники и все жители поселка. Из Уссурийска. Маленькая, сухонькая, некрасивая, но на удивление милейшее создание. Неумолчный звоночек и средоточие оптимизма и любви ко всему живущему на земле. Обладает величайшим желанием быть дисциплинированной. Но это ей всегда плохо удается.

Татьяна Михайловна — физик — сама остановила Валентина Федоровича.

— Вы, я слышала, ведете подпольную работу по подбору кадров? Так вот, я хочу с вами работать.

Перед ним стояла сухая, подтянутая черноволосая женщина, чуть за тридцать, с жестковатым лицом, уже сформированным педагогической профессией. Представилась по-деловому, но все-таки не без женских подробностей. Педстаж девять лет. Из города Луги, что где-то под Ленинградом. Но по информации Татьяны Михайловны Луга получалась где-то рядом с Невским проспектом, а сама она, естественно, коренной ленинградкой. Не замужем.

Узнав, что эта решительная особа — физик, Валентин Федорович, уже не колебался и, как вскорости оказалось, школе с Татьяной Михайловной крупно повезло. Дело свое она знала прекрасно. И именно Татьяна Михайловна пробудила в учительском коллективе необоримое преклонение перед кабинетной системой школы. И, удивительное дело, учителя без понуканий, а лишь глядя на ее работу, за три-четыре месяца сделали то, чего в прежней школе у Валентина не смогли завершить и за многие годы.

Ко всем своим достоинствам Татьяна Михайловна оказалась особой, отлично вышколенной жизнью, но и полная чертей, которых она держит на крепкой привязи. И палец ей в рот не клади.

Физрука-военрука назначили по распределению, молодого специалиста из Благовещенского института. По своей еще вчерашней мальчишестости он первые недели с некоторой отчужденностью и испугом прислушивался, когда его окликали по имени-отчеству: Вячеслав Витальевич.

Полный молодой открытости, он моментально перезнакомился со всеми, проникся ко всем полным доверием, сдружился с Верочкой, а с Ларисой затеял веселую пикировку, затянувшуюся на все годы совместной работы.

— Как вы сказали вас зовут? Лариса Патрикеевна? Очень приятно.

И пошло. Если они оказывались вместе — серьезные разговоры уже было трудно вести. Роста Вячеслав невысокого, подвижностью, кудрявостью и крепкой смуглостью напоминал, что в его предки когда-то затесался цыган. Быстрый в движениях и смене настроения. От обиды ярко вспыхивает. Но, успокоившись, обиду забывает навсегда. Женат. Его жена химик-биолог пока дома у родителей, ждет от мужа телеграммы с адресом, по которому приедет. Они бы сразу поехали вместе, но у них полуторагодовалый ребенок.

Слава влюблен в свою жену и никак не может, да и не хочет, этого скрыть, чем и пользуется Лариса в своих то ли шутках, то ли подкусываниях.

Слава возмущается.

— Да ты не знаешь мою жену. Увидишь — сама в нее влюбишься.

— Зато я тебе знаю, Славочка. А мы с твоей женой обе Евины дочери. Ты веришь, что все женщины пошли от Евы? Или ты атеист?

Итак, подвел итог тогда Валентин Федорович, нас уже восемь учителей, если считать жену Вячеслава, себя самого и свою жену Светлану, которая тоже сидит на чемоданах и ждет телеграммы с указанием адреса. Так что вполне можно открывать микрошколу, где в первой четверти, как предупредил заврайоно, будет где-то всего около ста учеников. И не хватает лишь преподавателя английского языка.

Коллектив есть, ну а дальше что? А дальше крутиться надо. Валентин Федорович по устоявшемуся убеждению знал, что в стране никому нет дела ни до учительских проблем, ни до их бед, да и сами они никого вроде бы тоже не интересовали. И привык к этому. Привык и к тому, что об учителях вспоминают лишь тогда, когда появляется необходимость выругать кого-то, найти крайнего за плохое обучение, за плохое воспитание подрастающего поколения, за возросшую преступность и еще за многое. А потому учителя притерпелись жить без еще чьей-либо помощи, опираясь лишь на свои возможности и умение

За ужином, прямо в столовой, когда бамовцы приели бифштексы и котлеты и столовая чуть опустела, устроили свой первый педсовет с одним вопросом: как жить дальше?

Но разговориться-то слишком не пришлось, зычная тетя в директивной форме потребовала освободить помещение, так как столовая закрывается, и, хотя учителя послушно поднялись из-за стола, тетя все шла следом до выхода и с надеждой на скандальчик продолжала покрикивать. Пришлось педсовет продолжить в тесном гостиничном номере Верочки.

Для дальней дороги, еще никому не известной, по которой еще никогда не ходили рейсовые автобусы, нужно было, хотя бы для начала, прикинуть общий багаж.

У Верочки был лишь один чемодан-бегемот, ростом, если его поставить на попа, чуть ниже хозяйки, а весом, пожалуй, чуть поболе. Слава пришел в восторг.

— Верочка, ты зачем в гостиницу устроилась? Отдай номер мне, пожалей бездомного, я на вокзале маюсь. Я тебе куплю большой замок. Висячий. И ты будешь жить прямо в чемодане около районо. В нем тебе просторно. И уходить по делам можешь спокойно: у него такой вес, что его никто не возьмет. Разве что только трактором утащит.

— В чемодане я спать еще не пробовала, а вот на чемодане я две ночи на вокзале спала, пока в гостинице место не выплакала.

— Или давай к нему колеса сделаем, за попутный «Магирус» привяжемся, и все на нем уедем.

— Вячеслав Витальевич,— на правах директора Федорович внес уточнение,— ГАИ категорически запрещает перевозить людей на прицепах.

— Ну тогда в нем хоть багаж отправим. А сами уж как-нибудь. Автотранспортом. Первой, я думаю, уедет Лариса Патрикеевна. С ее тактико-техническими данными это сделать нетрудно. Даже космонавты и те, если в бинокль ее разглядят, и то притормозят, перейдут на более низкую орбиту. И хоть на Марс увезут.

— Слава, ты насчет меня одной не суетись. Я как прикинула — на БАМе женщины дефицит. Всех нас увезут. А вот как ты четыреста верст одолеешь?

— А у меня первый разряд по спортивной ходьбе. Как раз к авансу приду.

— Ладно, коллеги, утром идем докладываться заведующему,— Валентин Федорович перевел разговор на деловой лад.— Быть может, он что-нибудь присоветует. И как-нибудь доберемся до Мостового. Действительно, хоть автостопом. И, главное, на сегодняшний день — у нас нет ни учебников, ни программ, ни журналов. Как без всего этого начнем работать?

— А у меня все есть,— спокойно и буднично сказала Татьяна Михайловна.

На нее посмотрели удивленно и недоверчиво. Люди еще только приглядывались друг к другу, изучали характеры и еще не знали, кто и как умеет шутить.

— Как это — все? — спросил директор.

— Ну так. У меня восемь больших ящиков и чемоданов. Все это пока хранится в камере хранения на вокзале. Ума не приложу, как мне этот груз везти.

— Слушай, Татмихайловна,— обрадовался Слава возможности пошутить,— ты что, весь дом с собой везешь или у тебя приданое такое большое?

Валентин Федорович видел, что люди, вырванные из привычной жизни, оказавшись здесь в практическом одиночестве, спешат как можно скорее стать друг другу добрыми приятелями, своими людьми, а среди по-настоящему своих и добрых людей шутка — первое дело.

— А здесь замуж не берут,— доложила Лариса, которая собирала сведения, где только можно и какие только можно и, конечно, которые нельзя — тоже.— Жен себе с запада привозят. А на бамовках не женятся — боятся.

— А как же Верочка? Она же за женихом приехала!

— Не переживай, Славочка,— колокольчиком прозвенела Верочка.— У меня жених есть. Он после армии техникум заканчивает. В апреле приедет.

— Значит, весной на свадьбе выпьем.

— Кваску. На БАМе сухой закон,— проинформировала Лариса.

— Ларочка Патрикеевна, ты же украинка! — веселился Слава.— У вас на Украине на уроках домоводства учат, как самогон гнать. Так что с твоей помощью выкрутимся. Ведь не бывает украинки,

которая не умеет самогон гнать. Да у Татьяны в куче ящиков, надеюсь, найдется кой-чего.

— Не найдется,— деловито ответила Татьяна Михайловна.— У меня там только учебники, карточки по всем классам, раздаточный материал, диафильмы, фильмоскоп, проигрыватель...

— А может, еще что-то есть?

— Есть. Клей, картон, ножницы, скрепки, кнопки, цветной мел, инструменты разные и прочая мелочь для оформления кабинета.

— Ого! А ты, случаем, не в Антарктиду собралась?

— А здесь так же пусто, как в Антарктиде. Я со своей знакомой списалась. Вот она мне и поведала, что учителей здесь назначают в совсем пустые школы. И спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Вот я все и собрала, с чем начать учебный год. Сказала в своей школе, что на БАМ еду, вот мне и помогли, кто чем мог.

— Молодец, Татьяна,— похвалил ее Валентин Федорович, а себя мысленно обругал: строю из себя опытного директора, а до такого важного дела сам не додумался. Нужно срочно написать жене, пусть даже на несколько дней задержится, но добудет все, что только можно. Дело стоящее. Да и срам лицом в грязь ударить. А эта Татьяна Михайловна, похоже, очень опытный педагог. Солидно собралась. Не комплексами мучилась, не за туманами рвалась, а работать ехала. И в наших условиях, и пока они не изменились к лучшему, учитель должен ехать на новые места, как говорится, во всеоружии, иметь с собой для работы все необходимое. Это и есть профессионализм.

— Так решим, коллеги... Думаю всем нам к заведующему идти не столько незачем, сколько некогда. Я завтра один к нему иду. Возьму программу, журналы, учебники. Конечно, если они есть и если их нам дадут. А вам отдаю на целый день город на разграбление. Купите все необходимые личные вещи и, главное, все что понадобится для оборудования и оформления кабинетов. Татьяна Михайловна, думаю, поможет советом. Решайте на месте.

— А у меня список необходимого есть,— деловито сказала Татьяна Михайловна.— Могу прочитать.

«Ну и баба,— мысленно восхитился Валентин Федорович.— Вот бы кому следовало стать директором. Если бы от директора для того, чтобы школа более-менее жила, не требовалось умения ловчить, доставать, выворачиваться, клянчить, побираться — здесь она не потянет». А вслух сказал:

— Кстати, нужно без заначек и зажиливания разобраться, у кого сколько денег...

Оказалось, все не с пустыми руками. У Верочки почти восемьдесят рублей, у Славы более ста, у Татьяны и Лидии Васильевны почти по двести, а у Ларисы — целых восемьсот, она уже готова закупать бамовские дефициты.

— Товарищи, где-то скоро мы получим зарплату за половину августа, подъемные и нам оплатят проездные билеты. Так что деньги будут. И потому сейчас не экономьте. Купите все необходимое для работы. Говорят, что магазины здесь богатые. Лариса... (чуть не сказал Патрикеевна) Витальевна, у меня к вам просьба: забыть пока о дефицитах и дать Верочке и Славе, если понадобится, рублей по пятьдесят-сто. Они к концу октября вернут. Да и вы к тому времени рынок изучите. Самые нужные покупки сделаете, а то сейчас схватите что-нибудь неудачное...

— Валентин Федорович, а что мне написать мужу? Может, уже вызывать его?

Заботы Лидии Васильевны понятны, но что ей ответить? Сами еще на чемоданах и на обочине незнакомой дороги сидим. Но отвечать надо: директором назвался...

— Не стоит пока, Лидия Васильевна. Но телеграмму дать следует, что на работу устроились, выезжаете на место, а подробности через неделю. Вот доберемся до Мостового, оглядитесь немного, о работе для мужа узнаете, с жильем решите, вот тогда и вызывайте.

— Соскучилась я без них,— вздыхает Лидия Васильевна.— Первый раз вот так надолго расстались.

— Вот ради них и потерпите. Пусть им хоть пока спокойнее живется.

— Ну да, спокойнее... Целую зиму места себе не находили. Искали, куда

бы поехать. Мужа везде берут, а мне даже не отвечали. Ведь я сюда сама, на свой страх и риск насмелилась, никто меня не приглашал. А по коридору районо походила, посмотрела, что тут делается...

Лидия Васильевна по-крестьянски горестно и многострадально вздохнула и с дальней зарождающейся слезой добавила:

— Спасибо вам, что взяли меня. Век не забуду... доброты вашей.

И Валентин Федорович всколыхнулся ответной жалостью, почувствовал, как тепло стало глазам и внутренне взъярился: а чтоб тебе! ну и жизнь! как же это она — жизнь проклятая — людей мордует, если они вынуждены за такое благодарить?

На следующее утро директор мостовской школы постарался попасть на глаза заведующему еще на подходе к районо. Он выбрал себе пост наблюдения на углу улиц, потомился минут двадцать всего, еще издали приметил Березовского и сам себя похвалил за находчивость: теперь-то он уже никому не даст перехватить любимое начальство, раньше других постарается решить свои дела.

— Ну что у тебя? Как дела? — начальник был полон утреннего благожелательства.

— Все в порядке, — с ефрейторской бодростью ответил Валентин Федорович, зная, что начальство любит, когда в их епархии все хорошо, — учителя, кроме англичанки, есть. А как ехать — ума не приложу. — Надо же дать начальству почувствовать свою нужность да умность и отпустить по заявке ценный совет — оно, начальство, тогда добрее и щедрее. — Да еще нужны учебники, программы, журналы...

— На все это оставь заявку — я подпишу.

— Заявка есть,— шевельнул бумагами Валентин Федорович. — Только я в ней количество не поставил. Не знаю, из чего исходить.

— Исходи вот из чего... Поселку нет еще и года. Он только начал строиться. В такие необжитые места родители с маленькими детьми приезжают редко. Опять же и старшеклассников стараются не срывать из школы, если только есть возможность. Оставляют у родни. Вот и бери в первом, втором, третьем, девятом, десятом по десять учеников, а в остальных по пятнадцать. Вот тебе и цифры. Всего сто двадцать пять. Больше и не будет в этом учебном году.

— Микрошкола, значит, у меня намечается? Карлик какой-то, — не скрыл разочарования Валентин Федорович.

— Ты очень-то не балуй, — построжал начальник. — Тебе этот год для разгона дается. Через год в мостовской школе может быть и триста и пятьсот учеников. Никто сейчас точнее не скажет. И всех — сколько бы их ни оказалось — ты должен будешь разместить в одну смену. И наладить нормальный рабочий процесс.

— Ну, я думаю, здесь сложностей нет, ведь там уже есть, вы говорили, здание школы. А учителей — найдем.

— Здание школы, здание школы! — Березовский посмотрел куда-то поверх головы собеседника.— Это просто щитовой дом, общежитие на шестнадцать комнат. Вот в нем в этом году и перебьешься. А потом сам себе строй. Что построишь, в том и жить-работать будешь.

— По-ня-я-тно! — Валентин Федорович постарался как мог скривить тоскливую обреченность: что такое строиться он знает — легче два пожара перемочь.

— Ничего тебе не понятно. На месте разберешься. И если ума хватит да спать не будешь — богато жить будешь. Ну а иначе — не обессудь... А сейчас получай все и уезжай поскорее.

— А как ехать? Быстрее всего, пожалуй, на перекладных?

— Это четыреста-то километров? Не пори горячку. Вот сейчас все получишь и поторопись на автостанцию. Сядешь на четвертый автобус. Езжай до конечной остановки. Там спросишь Мостотрест. Доложишься заместителю начальника по кадрам и быту. Он вас ждет с нетерпением. Сделает все, чтобы вы немедленно попали в школу.

«Ждет и сделает,— без особого раздражения подумал Валентин.— Знаем мы это — ждет. Вначале досыта наунижаешься в приемной, а потом в кабинете, а потом, ежели позволит начальственное настроение, глядишь, кроха и отвалится просителю. Да и Березовский, по всему, спешит лишь отделаться от просителя, проявляет свои способности в спихотехнике».

В райцентрах почти всегда главные

его службы бывают рядом. Так и здесь. Автостанция почти рядом с неуклюжим зданием районо. Гостиница — через дорогу. Магазин тоже в ближайшей округе. В хлопотах день прошел быстро: что-то торопливо покупали, что-то получали, забили гостиничный номер покупками и лишь к вечеру, не дав себе передыху, поехали искать Мостострой. Нашли сразу. Очень уж он был приметен — богатый терем-теремок.

Валентину Федоровичу приходилось видеть умельцев, которые из колоды карт строили удивительные домики. Здесь было то же самое. В распоряжении строителей всего несколько видов щитов — щит стенной, щит оконный, щит перекрытия, своим однообразием так напоминавшие игральные карты,— а вот же сумели сорудить красоту. Как это им удалось? Но и в помине нет барачной унылости крупнопонельных домов, заполонивших наши города. Увидишь — не забудешь. А ведь все те же щиты.

...В кабинет Валентин Федорович, оберегая учителей от возможного чиновничьего хамства, зашел один. Удобное дело, когда на дверях есть фамилия и имя с отчеством.

— Иван Федорович, я к вам. Я директор мостовской средней школы. Нам с учителями надо срочно доехать до места работы.

— Добрый день, добрый день, рад, очень рад вашему приходу,— из-за стола выбрался моложавый ловкий мужик.— А где остальные учителя?

— Ожидают в коридоре...

Он тут же кинулся к дверям, пригласил всех в кабинет и не успокоился, пока всех, словно долгожданных гостей, не усадил на стулья.

Очень обрадованно засыпал всех вопросами, а женщин и комплиментами. С Ларочкой у них с первых же минут установилось полное взаимопонимание, как между старыми друзьями. Они и были в чем-то похожи,. неуловимом поначалу. И как потом узнали — Иван Федорович коренной киевлянин. Понятно — земляки.

Но коллектив будущей мостовской школы, уже забитый прежним опытом, угрюмым приемом в районо, многодневным мытарством в дороге и теперешним житьем-бытьем где попадя, не спешил оттаивать. Оглядывали дорогую мебель, стены из дорогих панелей (лишь позднее узнали, что это просто качественная декоративная бумага под дерево, что-то вроде обоев), оглядывали столичный светлый костюм Ивана Федоровича, отмечали его холеный, пышущий здоровьем, уверенный вид (тогда еще не догадывались, что не пройдет и двух лет и он умрет от инфаркта), заметили и его великолепный галстук. Разглядывали его ухоженных, подтянутых, раскованных подчиненных, часто заходящих в кабинет.

Смотрели — и не верили. Не верили, что весь этот бурный прием всерьез, что они действительно кому-то на этом свете нужны.

А Иван Федорович именно в этом и убеждал. Но веры ему не было. По крайней мере, Валентин Федорович именно так ощущал эту ситуацию. Трудно теперь сказать, как бы и дальше шел разговор, да выручила святая Славина простота. Молодой, небитый, искренний еще, он взял да и поверил, что все здесь — правда.

— Иван Федорович, я физрук, по у меня совсем нет спортинвентаря. Необходимо его покупать. Мостострой не смог бы нам подбросить денег?

— Конечно, какой разговор. Выписывайте, приносите счет, я подпишу на бухгалтерию. Оплатим и сами все вывезем.

«Милый ты мой Славочка, простота драгоценная,— отмяк в душе Валентин Федорович.— А я, старый хитрый директор, и в сорок с гаком лет не могу привыкнуть, что самая тонкая политика в нашем изголодавшемся по доброте обществе — это искренность, простота!»

Слава в один момент и даже сам этого не заметив сломал сразу десяток преград, которые Валентин Федорович мысленно нагородил между собой и Иваном Федоровичем — этим удачливым жизнелюбцем, который успевал и несколько дел делать и Ларису из виду не выпускать.

Дальше все пошло проще и легче...

Валентин Федорович почувствовал, что везуха идет ему прямо в руки и как директор школы он просто не имел права не развивать успех.

— Иван Федорович, а наглядные пособия вы сможете оплачивать?

— Безусловно. Не просто можем, а

считаем это своей обязанностью.

— А на какую сумму я могу рассчитывать? — затаился в ожидании Валентин Федорович.

— Давайте о размерах суммы не говорить. Вы, главное, ищите, что купить и где купить. Не думаю, что вы сумеете выписать на сумму большую, чем мы в состоянии оплатить.

??!! Это был второй урок, полученный на БАМе: здесь люди серьезные и решают проблемы на серьезной основе. И не суетись, делай дело добротно. Делаешь — делай.

Из дневника Валентина Федоровича.

«...Лишь мой коллега-директор школы, который много лет проработал на этой должности и овладел трудным искусством выбивать отовсюду копейку, поймет мою ошарашенность. Для меня это равносильно тому, что если бы я посреди пустыни, после многих лет жажды, вдруг за соседним барханом увидел огромное прохладное озеро!

Вдруг оказалось ненужным одно из моих важнейших умений, таких необходимых директору нашей школы, умения, которое приобретается в великих нравственных муках за много лет — выжимать деньги из шефов. Здесь, оказывается, шефы сами, без всяких отмашек и уверток, или устав от канючения директора-попрошайки, выделяют школе деньги; здесь, оказывается, действует постановление Совета Министров о шефской помощи школам. Невероятно! Бери деньги, рационально используй! Просто, до глупости!»

...Между разговорами с учителями и посетителями, то и дело заходящими в кабинет, между телефонными звонками и шутками, как бы сам собой сформировался план отъезда. Волшебная сказка продолжалась: завтра — в двенадцать дня полетит вертолет в Мостовой, выделенный специально — неужели такое может быть не в сказке? — для учителей. Иван Федорович летит тоже и сам будет передавать школу. Сегодня же — на положительные эмоции у сельского директора уже не оставалось душевных сил — по рации сообщает в Мостовой о прилете учителей.

— А куда мы все должны завтра приехать? Сюда или на аэродром? — у Валентина Федоровича нашлась все же отдушина для вопросов и беспокойства.

— А кстати, где вы остановились? — спохватился Иван Федорович.

— Кто где. В гостинице, в комнате при районо, у знакомых, а вот Вячеслав так на вокзале.

— А где багаж ваш?

— Тоже везде помаленьку. Основной — учебники — в районо, много в камере хранения, много в гостинице.

— Так дело не пойдет. Я вас завтра и до вечера не соберу. Перебирайтесь-ка в нашу трестовскую гостиницу. Я туда позвоню, чтобы вас приняли. А сейчас вот что решим: прикомандирую я к вам автобус, и вы весь свой багаж свезите туда же, в гостиницу. А завтра, как только начнет рассеиваться туман над сопками, поедем на аэродром.

Черт возьми, оказывается, забота о трудящихся не только на трибунах да по телевизору бывает!.. Если, конечно, сказанное Иваном Федоровичем окажется правдой. Автобус может оказаться сломанным, гостиница переполненной, а вертолет вообще улетел и неизвестно когда будет.

Но к окончанию разговора, пожалуй, именно в тот момент, когда, казалось, все вопросы были решены, в кабинет заглянул парень и тотчас исчез.

— Автобус у крыльца,— сказал Иван Федорович.

И вертолет оказался взаправду...

Весь почти двухчасовой перелет прошел в грохоте двигателей и жадном разглядывании пейзажей через иллюминаторы. Благо — погода была идеальная.

Вначале летели над равниной. Земля стелилась далеко внизу и виделась как хорошая географическая карта. Но потом подошли к невысоким горным хребтам и земля приподнялась, приблизилась. Мощные увалы, плоские вершины... Лес только в распадках. А все остальные — мари, тундра, худосочные деревца, какие-то огромные пышные кусты (потом узнали, что это кедровые стланики). И камни. Камни. Масса камней. То скалы-останцы, то огромные поля — россыпи камней. Даже сверху видно, что почва истончена, едва прикрывает каменную суть этих мест. Деревья с трудом цепляются за разные трещины и расщелины. И лишь в распадках, куда вода принесла немно-

го почвы, деревья растут сплошным лесом.

Но вот выбрались в долину и пошли вдоль реки. Горы по сторонам поднимались иногда выше вертолета, а река поблескивала далеко-далеко внизу. Разглядели тянущиеся вдоль реки две серо-желтые ленточки-трассы. Одна сплошная, более смелая — автодорога. Вторая пока прерывистая. Ну точно как на карте, где показывают перспективы развития. Это железнодорожная насыпь. Автодорога не старается держаться за реку. На прямых местах она бежит дружненько рядом с железной дорогой. Но стоит железной дороге увильнуть за извилиной реки, как автодорога кидается через отроги хребтов, срезая, укорачивая свой путь. Она уже во всю работает. На перевалах видны крошечные квадратики машин, бегущие в обе стороны.

Железнодорожная насыпь только создается... Через каждые десяток-другой километров на склонах проплешины карьеров и от каждого из них — на запад и восток — отросточки насыпей. В некоторых местах встречные отросточки скоро сольются... А когда высота уменьшилась, стало видно, что в каждом карьере работают экскаватор, бульдозеры и десятка полтора оранжевых машин,— конечно, «Магирусы». Машины буквально мечутся между карьером и концами насыпей. И даже возникло такое ощущение, что насыпи медленно, но заметно, на глазах, растут, удлиняются. Но во многих местах насыпи не растут, жизнь на них замерла. Что-то остановило живое их развитие. Это или речные прижимы-скалы, или многочисленные, пока не достроенные мосты или пока еще не прорубленные возвышенности.

Чем дальше летели, тем реже и короче куски готового железнодорожного полотна. Но вот кончилась и автодорога, уперлась в большую реку. За рекой лишь две просечки через мари и хилую тайгу — будущее шоссе и рельсовый путь.

Вертолет пошел на посадку. Внизу большая река, рядом расширенный участок долины, а по бокам — горы с округлыми вершинами. В долине — две группки домиков и еще каких-то сооружений, склады, много техники. Поближе к реке — россыпь вагончиков, поставленных как бог на душу положил. А на краешке горы, рассеченной отсыпными дорогами на аккуратные квадраты, большой участок. В десятке квадратиков стоят уже щитовые сооружения, в другом десятке квадратиков — только пачки щитов. Но большая часть квадратиков пока не заполнена.

— Это будущий поселок,— Иван Федорович перекричал шум вертолета.— А вагончики и прочее у реки — промбаза.

А между промбазой и поселком, на самой середине мари, одинокий, как перст, дом-сирота. Иван Федорович взмахнул рукой, призывая всех к вниманию.

— Ваша школа! — прокричал он напрягаясь.

Рядом со школой — пятачок ничем не занятой отсыпки. На него вертолет и сел.

Быстро — так заранее было обговорено—выгрузили свой громоздкий багаж, и огромная стрекоза подпрыгнула и со стрекотом и раскачкой из стороны в сторону, будто подвешенная на невидимую нить, улетела.

Валентин Федорович сразу же, с молодым азартным нетерпением, которого он и сам в себе не ожидал, рванул к школе, но через десяток метров уткнулся в непроходимую марь.

— Погодь,— остановил его Иван Федорович,— хоть до школы и не больше ста метров, да прямо дороги нет. Ходить здесь можно только по отсыпкам. Сейчас подскочет машина и увезет багаж на место. А пока даю вам некоторую информацию. Посмотрите вон там, у реки — промбаза. На склоне горы — поселок. Марь между ними по перспективному плану будет постепенно засыпаться и на этом месте будут ставить электростанцию, кочегарку, магазины. Запланирован даже стадион.

— А сейчас магазин есть? — это Лариса.

— А столовая есть? — это молодой Слава.

— А баня есть? — это Валентин Федорович.

— Магазин продовольственный есть, пока расположен в вагончике, но очень богатый. Столовой нет, но есть котлопункт, о вас там уже знают, будут кормить. Банька есть на промбазе. Кто хочет мыться, тот и топит. Баню к зиме должны сделать настоящую...— Иван Фе-

дорович все такой же, как и в своем кабинете, доброжелательный, подтянутый и деловой.

* * *

Школа и вправду оказалась обычным щитовым общежитием, которое в местных условиях, по мере надобности, можно превратить во что угодно: любые перегородки легко убираются и переставляются. В обычном виде — это общежитие для холостых парней, по два-три или пять-шесть душ на комнату, в зависимости от возможностей поселка. Но можно эту щитовку, с небольшими доделками-переделками, превратить в контору, магазин, котлопункт, клуб, дом для семейных на шесть-восемь квартир, детсад. Можно и в школу, как оказывается. И первый год придется работать в этом помещении, пока не удастся построить новое.

Кстати, новое помещение так и не построили. Проще оказалось, выражаясь языком строителей, действовать модульным методом — удлинять и пристраивать. Сначала сделали пристройку буквой «Г», а на следующий год «П», потом «Ш». А потом и вообще невообразимым иероглифом! — надежным, удобным, самими изобретенным и любимым.

Жизнь не оставила времени на раздумья и отдых, требовала одного — работы. Вторая половина дня ушла на знакомство с местным руководством, молодыми энергичными ребятами, на разбор багажа, поход в котлопункт и магазин. Писали и развешивали, где только можно, объявления об открытии школы. Сортировали учебники, разворачивали упаковки и мыли парты, убирали из будущих классов строительный мусор. Обменивались первыми впечатлениями.

— Слушайте, девочки, я насчитала в магазине девять видов тушенки,—вспоминала Лариса,— нам нужно договориться покупать ее так, чтобы всю перепробовать. И остановиться на самой хорошей. И там четыре вида колбасы. Даже не верится.

— А конфеты какие,— щебетала Верочка,— и все московские, свежие. Я уже и забыла, когда ела московские. Все деньги на конфеты переведу!

— Золотухой заболеешь. Жених от тебя откажется.

— Не заболею. У меня сережки золотые.

Так и прошел остаток дня. О себе вспомнили поздно.

— Слушайте, народ, а сколько времени?

— Ты, Верочка, даже часов себе не купила. Деньги на конфетах проела. Уже девятый час.

— Интересно, а где мы будем ночевать?

— Тебе-то что беспокоиться? Ты в своем чемодане проспишь. А вот мы-то и вправду где?

— В котлопункте говорили, что в поселке нет ни одного свободного квадратного метра...

— Кстати, Лариса, Вера, вы обратили внимание, с каким недовольством на нас косились поварихи? — вспомнила Татьяна Михайловна.

— Им что, еды жалко? — забеспокоилась Верочка.

Но Лариса сообразила и, похоже, была права.

— Тут дело совсем в ином. До нашего приезда они были единственными невестами в поселке. А теперь мы им станем конкурентами и будем у них женихов отбивать. Если раньше на одну повариху приходилось по пятьдесят женихов, то теперь только по двадцать пять будет. Двадцать пять и одна... Интересно...

— Неужто от этого они бесятся? — удивился Слава.

— Славочка, а ты, оказывается, женщин совсем не знаешь.

— А со мной уже один кавалер разговаривал. На рыбалку звал и за шишками,— смущенно сообщила Верочка.

— А какой он из себя? — женщинам интересно.

— Он такой огромный, черный, с бородой. В штормовке.

— Прекрасные приметы. Да при твоем росте все мужчины огромные.

— Да он больше Ларисы.

— Такой огромный? Да я на каблуках всего сто семьдесят.

— Так он же без каблуков. В резиновых сапогах.

— Слушайте, а я рыжего грузина видела. Умора. Никогда не думала, что бывают грузины рыжие. Грузин — и вдруг рыжий.

— А почему ты решила, что он грузин?

— По акценту, конечно,

Валентин Федорович до сих пор удивлялся логике женских светских разговоров и самим женщинам, умевшим так талантливо напрочь забывать, с чего этот разговор начался.

А ведь и правда — жить-ночевать где-то надо. На жилье, самое маломалишное, самое непритязательное, в поселке особенно девчатам нет надежды. Все общежития мужские. Туда учителей не подселишь — не та атмосфера. Семейные ютятся в курятниковой тесноте вагончиков. Валентин Федорович уже знал, что поварихи из котлопункта, старожилы поселка, так и спят в котлопункте, втиснув меж столов раскладушки.

Да и не хотелось вот так сразу отпускать своих девок в стихию личностных проблем. Рано им пока. Пусть вначале в обстановке разберутся, оглядятся своими глазами, без чужого нажима поймут, кто есть кто. А то налетят женихи-петухи, закружат голову красивой расцветкой. Самые первые и самые шустрые — далеко не самые лучшие. Нужно эти наскоки пересидеть, перетерпеть всем вместе, а там со временем и толковые обнаружатся. Те-то как раз и нужны. И это будет хорошо. Не призябать же бабенкам не выданье в одиночку, если не мужа, так хоть кавалера приличного сыскать нужно.

— Послушайте, коллеги, — Валентин Федорович громким голосом постарался привлечь к себе внимание,— а ведь это, так называемое школьное здание — наша полная собственность. В нем шестнадцать больших, по целых восемнадцать метров, комнат. Да в придачу две маленькие. Давайте-ка распланируем нашу будущую школу.

— Правильно, вычертим план и по нему все распределим! — Татьяна Михайловна отреагировала немедленно.

— Нужно сразу же юг отметить, чтобы знать, где самые веселые комнаты. Для малышни.

— Начнем с Лидии Васильевны. Самое лучшее — для ее спиногрызиков. Эти молекулы только на солнышке веселые. Им вначале придется учиться всем вместе, по принципу малокомплектной школы: с первого по третий — вместе. Нужен большой светлый класс. Выделим две смежные комнаты, а строители уберут перегородку. На первое полугодие, надеюсь, хватит — класс почти в сорок метров. А там поживем — увидим. Трудно пока вперед заглядывать.

— А предметные кабинеты? Если так комнаты разгораживать, на всех не хватит,— забеспокоилась Лариса.

— А мы этого делать больше не станем. В старших классах детей поначалу будет всего ничего.

— Я мерила. В класс хорошо входит шесть парт,— четко сказала Татьяна, и Валентин Федорович который раз подивился ее деловитости и хватке.— Да еще останется место для учительского стола и для шкафов. И если в классах будет не больше чем по двенадцать учеников, из комнаты получится хороший кабинет.

— Тогда хватит комнат для всех кабинетов! Еще и останутся свободные.

Голос у Верочки тихий и мечтательный, но услышали его все.

— Мне всегда хотелось иметь собственный кабинет. Чтобы он был только мой. Чтобы я одна в нем была хозяйка. Весь день бы могла в нем работать. Сама бы и красила и мыла. Все-все сама!

— Ну вот и давайте возьмем каждый себе по кабинету,— подытожил директор.

— Вот это да,— восхищенно воскликнула Верочка.— Вот это БАМ! Свой собственный кабинет. Да я в нем жить буду...

— Ага,— подхватил Слава,— в нижнем ящике стола. Он как раз тебе по росту. А вот как Лариса с ее формами устраиваться будет?

— Не переживай, Славочка! Да она при помощи своих форм хоть где устроится. Только глазом моргнет! — Татьяна легко перешла с делового тона на подначивание.— Вон Иван Федорович хоть сегодня ее в Тынду увезет. По глазам видно.

— Ты, Татьяна, не развращай ребеночка,— демонстративно-томно потянулась Лариса.— Пусть подольше в неведении живет. Так ему жить легче.

— А у меня, Лиса-Лариса, дочке второй годик. Так что я, наверное, кое-что понимаю...

— Это не твоя заслуга, а твоей Галочки,— отмахнулась Лариса.

Слава возмущен и слегка ошарашен.

— При чем, при чем, не нервничай,—

нашла нужным успокоить его Лариса.— Мальчик ты славненький, сладенький. Жаль вот — необученный.

— Ну погоди, я тебе покажу обученый я или необученный.

— Ты только, Славочка, без пряников ко мне не подходи.

Слава удивленно:

— А зачем пряники?

— Ох и святая простота. Аж поцеловать хочется, да Галю твою жалко... Да и тебя тревожить страшно...

Распределили комнаты легко и быстро, без взаимных обид, и каждый получил в свою полную собственность отдельный кабинет. Зарезервировали кабинеты и для будущих учителей с расчетом на полную школьную программу. Выделили под бибилиотеку, пионерскую, учительскую, кабинет директора. И еще остались три больших и одна маленькая комната.

— В больших комнатах потом сделаем буфет, — вслух мечтала явно практичная Лариса. — Будем в нем питаться. И не надо будет ходить к тем мегерам в котлопункт.

— А зачем на потом откладывать? — дождался нужной минуты Валентин Федорович. — Давайте сделаем в одной комнате кают-компанию. Соберем в нее продукты и посуду, у кого какая есть... Ну а в остальных комнатах жить будем. И не надо нам никаких общежитий.

— Правильно. Маленькую — директору, а большие—для мужчин и женщин, — Татьяна Михайловна высказалась быстро и четко.

— А мне будет скучно, — подал голос Слава. — Я же в таком случае только один — мужчина. Давайте еще Ларису временно в мужчины переведем и со мной поселим.

— Обойдешься, Славик...

— Тогда Татьяну. У нее характер мужской.

— А где взять постели? На чем спать?

Тут и все спохватились: а в самом деле на чем спать? В перелете, в эйфории познания новых мест все как-то забыли и о такой «мелочи».

У Татьяны и Ларисы кое-какие постели нашлись. У остальных — ничегошеньки. Валентин Федорович посмотрел на Славу.

— Ну что, Вячеслав... Мужик он по своей природе добытчик, и в этом его предназначение. Идем добывать. Да будет удача с нами.

Добывать ничего не пришлось. Комендант общежития, едва узнав о нужде, без лишних слов выдал все, что требовалось! — от кроватей до полотенец. И, мало того, пообещал менять постели каждые десять дней.

Хорошо, когда хорошо. Не прошло и полчаса, как мужчины вернулись на раздобытой все тем же комендантом автомашине и выгрузили на крылечке целый ворох матрацев, белья и разобранных кроватей.

Привезли даже кое-что из посуды, но она пока и не потребовалась, не на чем было варить. Даже чай не могли приготовить. Электроплитки, оказывается, были в Мостовом, пожалуй, даже большим дефицитом, чем в стране простые трикотажные колготки.

Проблему с чаем удалось решить через несколько дней. К тому времени в коллективчике образовались уже микрокомпании по интересам, по душевной приязни. Татьяна и Лариса соперничали, возможно, даже сами не осознавая этого: эдакая борьба лидеров. Зато Лариса и Верочка стали, что называется, не разлей-вода. И очень быстро определилось, что на любой контакт с местным людом лучше всего их было отправлять вдвоем. Роли у них были распределены четко. Лариса только молча демонстрировала себя, а Верочка ласково трещала без умолку, излагая просьбу. И одичавшие местные мужчины, слегка раскрыв рот, не спуская глаз с Ларочки, в каком-то полусне, почти механически, подавали Верочке все требуемое: гвозди и гвоздики, молотки и плоскогубцы, обои и рейки и прочее строительное богатство, которое школа, приводя себя в должный вид, просто пожирала.

А Татьяна и Слава объединились, кажется, лишь для того, чтобы ерничать над всеми остальными. Правда, Слава иногда нарушал конвенцию и «кусал» Татьяну. Но она не мстила. Татьяна и Слава взяли себе в покровители Лидию Васильевну, и вот уже на ней они никогда не оттачивали свое остроумие.

А хитрющая Лариса и откровенная Верочка потянулись к Валентину Федоровичу, признав в нем советчика и третейского судью.

Так вот в один из вечеров Лариса с Верочкой зашли в директорский кабинет. Конечно, разговор завела Верочка.

— Отпустите нас на один день — посмотреть, как в других поселках живут. В школы зайдем. В магазины. Может, электроплитки купим, утюги, чайную посуду. А вы уж как-нибудь сделайте без нас расписание. Продержитесь один день. Мы к ночи вернемся.

На следующее утро они оделись попарадному, получив свободный доступ не только к своим, но и к чужим гардеробам, старательно нанесли на лицо яркую раскраску и вышли на большую дорогу. Голосовать автомашинам. Весь учительский коллектив прильнул к окнам кают-компании в ожидании небольшого спектакля.

Первым проскочил «КРАЗ», машина громоздкая, не очень интеллигентная, и «барышни» его проигнорировали, просто отвернулись. Но шофер все ж остановил машину, спятил назад и, видимо, предлагал увезти куда угодно, потому что очень выразительно размахивал руками. Уехал ни с чем.

Комфортабельному «Магирусу» Лариса небрежно сделала ручкой, и машина судорожно затормозила всеми четырьмя колесами, заскрипев от перегрузок. Разряженные девицы впорхнули в кабину — и только пыль завилась им во след.

Привезли девушки мешок новостей и два электросамовара в сувенирном исполнении. Других нагревательных приборов не было и там.

По этому поводу Валентин Федорович произнес монолог.

Великая это сила — наша торговля. Нет ей равных по силе в отечестве, и нет на нее управы. У нее сейчас сила не меньшая, чем у НКВД при Сталине. Хорошо живет торговля. Что хочет — то и делает. Чего не захочет — никто не заставит!

Монолог был внутренним. Валентин Федорович, воспитанник своего времени, вслух его высказывать поопасался хотя бы из педагогических соображений.

Как приложение к самоварам Лариса с Верочкой привезли прекрасного качества фарфоровые пиалы. Истратили на все — целое состояние. Кто-то даже покряхтел от таких трат. Но зато потом, все годы, наслаждались редкостной красоты пиалами и горячем чаем из этих пиал, отпаивали горячим чаем продрогших ребят и производили впечатление на заезжих гостей — с размахом живем!

Но все это было потом.

А тридцать первого августа коллектив вновь созданной школы лихорадочно готовил первую школьную линейку — сценарий, речи; мели и мыли классные комнаты. Директор сидел в своем кабинете и мысленно проверял, все ли сделано для открытия школы. И тут зашла Лидия Васильевна и сказала:

— А ведь у нас звонка нет. Мы о нем совсем забыли. А как же без звонка?

И почти следом ворвалась Татьяна.

— Валентин Федорович, а ведь в классах нет классных досок. Как мы могли о них забыть?

Привет! Как говорится, приехали. Как же уроки теперь вести? Сидели, вздыхали, горевали. И не видели никакого просвета.

Иван Федорович, мотавшийся в поселке по своим неотложным делам, заглянул в школу.

— Чего скучаете?

Ему объяснили.

— Господи, — вздохнул Иван Федорович. — Мне бы такие заботы. Дорогие мои, я уже шестую школу сдаю. Опыт есть. Звонок вам сделали. Пожалуйста.

Иван Федорович как фокусник развернул газетный сверток, и глазам ошарашенной публики явился солидный, чуть странной замысловатой формы звонок. Взяли в руки — тяжелый, прохладный. Позвонили — звон чистый, мелодичный, громкий. То, что надо.

— Откуда он у вас?

— А вы присмотритесь повнимательнее.. Это мне первую свою школу трудно было сдавать. Тогда тоже звонка не было. А потом кто-то из умельцев сообразил, что колпак от кислородного баллона сделан из звонкой стали. Вот с тех пор я и ношу в своей записной книжке чертежик этого звонка. Вчера его токарь почти до двенадцати ночи точил...

— Спасибо вам, Иван Федорович, — директор расстрогался. — Низкий вам поклон за эту красоту. Ведь школа без звонка как король без флага. У меня в деревенской школе был звонок еще тысяча восемьсот какого-то года. Так от меня был наказ всем уборщицам: в случае

пожара чтобы вначале звонок спасали, а уж потом пожарных вызывали. После устройства электрического звонка я старый рядом с печатью в сейфе держал.

Иван Федорович был доволен.

— Меня вы не очень-то благодарите. Я за школу не меньше вашего отвечаю. Эта школа там, — Иван Федорович многозначительно показал пальцем на потолок, — на контроле.

— Звонок теперь есть, а как быть с классными досками?

— А вы дойдите до поселка. Найдите на стройке мастера или бригадира. От своего и моего имени растолкуйте, что вам нужно. Выход найдется.

— Слава, — крикнул Валентин Федорович, — пойдем со мной. — И, когда Слава появился в дверях, сказал уже спокойным голосом, может быть, даже еще тише: — Пойдем для поддержки. Заодно поучишься, как попрошайничать. Вдруг директором школы станешь.

В поселке строились три дома. Странная, непривычная для повидавших глаз стройка: строится большой дом, а народу около него работает два-три человека. Возле каждого дома стоит-крутится красавец кран «Като», который, кажется, сам угадывает желания людей и тут же подает куда надо любую маломальскую тяжесть: щит, пачку шифера. Работа идет почти бесшумно, без крика и мата, но, главное, в чем и удивление, споро. В одном доме еще только выставляли щиты, в другом крыли крышу, а в третьем уже вели отделочные работы. Здесь и народу было побольше.

— Ребята, нам нужен строительный мастер.

— Да вон он. Володя! Ключанский! Тебя директор школы зовет!

Валентин Федорович взбодрился: хорошо, что тебя уже знают. Легче разговаривать будет.

В проеме двери появился спортивный паренек.

— Слушаю вас.

— В школе нет классных досок. А без них, сами понимаете... Иван Федорович послал к вам в надежде, что вы как-то сможете помочь.

— Попробую... — паренек призадумался. — Классные доски... Классные доски, если я не ошибаюсь, делают из линолеума, точнее, из релина... Релин у нас есть. А какой размер доски?

— Ну примерно два с половиной на метр.

— А если точнее?

— И точнее будет так же. Просто возможны допуски. Плюс — минус. Шесть досок нужно.

— Хорошо. Нет проблем. — Паренек повернулся и ушел.

Валентин Федорович остался в растерянности. Как же так: повернулся и ушел. Он, призвав весь свой прошлый опыт, приготовился к длинным переговорам-уговорам, к возможным компромиссам — завтра хоть одну плохонькую доску, на следующей неделе другую — к заискиванию и запугиванию. А он, молодой наглец, взял и ушел. И даже договариваться не стал. Хоть бы сказал, как положено, что некогда, нет свободных рабочих, нет материала или, на худой конец, что склад закрыт, а кладовщик на неделю в Тынду уехал. А он как-то буркнул неопределенно — нет проблем — и все! У него нет проблем, а у школы нет досок, на которых буквы и цифры надо ребятишкам учиться писать, задачи решать.

Валентин Федорович присел на свежевыструганное крыльцо собраться с мыслями, прикинуть, как дальше поступить. Наливался тяжелой мужичьей решительностью: ну, мальчик, ты от меня так просто не отвертишься, мы, сельские, привязчивые. И, ко всему, он чувствовал за спиной крепкую поддержку Ивана Федоровича, который, в случае чего, сумеет показать этому молокососу «нет проблем». И лучше всего, прикидывал, к строительному мастеру применить на этот раз бульдожью тактику: отбросить интеллигентные просьбы, а жестко и неотвязно, с элементами запугивания и нахрапистости, потребовать хоть что-то сделать.

Пока Валентин Федорович размышлял таким образом, из дома стали выходить ребята-строители с рулонами линолеума на плечах. И физрук Слава уже с ними с пачкой реек. И мастер — тоже с рейками.

— Мы пошли. Слава нам там все покажет...

И они двинулись в сторону школы.

Идти с ними Валентин Федорович не мог. Он почувствовал необходимость по-

быть одному, перетерпеть то состояние, в котором он только что был.

Как опытный и битый руководитель народного просвещения, он заодно решил сделать и маленькую экскуртию по стройкам. На стройках, как он ожидал, было много нужного и полезного для школы: и рейки, и фанера, и доски. Примечал и запоминал. Конечно, все это придется клянчить, покупать за рублики, а то и просто самим тащить, особенно то, что плохо лежит. Экскурсией директор остался доволен: всегда хорошо заранее знать, где и что и как лежит...

В школу он вернулся часа через полтора. Строителей уже и след простыл. А довольные женщины в своих классах намывали новехонькие доски в сосновом обрамлении, сделанном с большим мастерством. Три доски коричневые и три — зеленые.

Валентин Федорович тогда сделал себе маленькое поучение. Так вот, оказывается, что значат слова «нет проблем», они, оказывается, означают, что проблем нет и на самом деле. Век живи — век учись, старый дурень. И не заводись, не раздувайся пузырем, не разобравшись. В здешних местах, наверное, долго будет подводить моя хитрость и моя многоопытность. Здесь люди, похоже, не мудрят, а работают... Придется заново русский язык изучать, истинный смысл слов для себя восстанавливать.

* * *

Прошла ровно неделя с тех пор, как работала школа. Валентин Федорович сидел на ступеньках школьного крыльца и занимался привычным делом российского интеллигента: созерцанием, размышлением над жизнью и самобичеванием. Дети разошлись по домам, учителя разбежались по самым разным надобностям, одиночество как раз и ведет к созерцанию и размышлению. Он с глубокой заинтересованностью, чего он и сам от себя не ожидал, следил за пестрой толпой, которая только что выбралась из чрева прибывшего вертолета.

Вертолет — хоть и интересное событие, но привычное. Если он прилетает в первую половину дня, то в школе на время прерываются уроки — до тех пор пока вертолет не улетит и не разойдутся люди. Мальчишки уже разыскали замысловатую тропинку через марь к вертолетной площадке и бегают встречать новичков-учеников. Если такие есть — сразу же приводят в школу или докладывают директору, кто и в какой класс прилетел.

Толпа движется стороной по дороге, растекаясь на два ручейка — кто на промбазу, кто в поселок. И все проходили мимо своротка в школу, а сегодня почему-то очень хотелось, чтобы хоть кто-то повернул к школе.

А думалось грустное. Директор размышлял о том, что у него в школе царит во всей своей неприкрытости нищета. Школа бедна, как церковная мышь! Шестьдесят парт, четыре бачка, восемь самодельных мусорниц, шесть самодельных швабр, три ведра, два самовара. Да вот сегодня комендант общежитий выделил от своих щедрот два кипятильника. Вот и все имущество.

Отопление в школе смонтировано, но вводные трубы торчат из бока школы в пустоту: котельная не готова. На носу зима. Вот вершины гор уже побелели! В школе с утра промозглый холод. Да и школа ли это? Один физрук да еще четыре учительницы. Да к ним тридцать шесть учеников. Вот и вся школа. Средняя школа!

Валентин Федорович не может забыть ошарашенного лица Ивана Федоровича, когда он узнал об этих тридцати шести учениках с первого по десятый класс. Со школой-то поторопились. Дети еще не приехали. И нужно бы было тех, что есть, возить на учебу в соседний поселок за семнадцать километров. Выделить автобус на два часа в сутки для поселка не проблема. И расходов — всего ничего.

Но вот тут-то, наконец, и Валентину Федоровичу представился случай поддержать, успокоить Ивана Федоровича.

— Не стоит переживать. Школу открыли не напрасно. Пройдет три-четыре месяца — и дети будут.

— Нарожаете, что ли? — горько пошутил Иван Федорович.

— Будут, будут. А пока стоит умалчивать истинное количество учащихся. Хуже было бы, если к декабрю набралась сотня детей. В Юкжу их не навозишь, а школу в середине учебного года непросто открыть. Даже на БАМе. Начнем с учи-

телей... Где бы мы, а вернее вы, их брали. Хорошие уже при месте сидят. Набрали бы целый коллектив перекати-поле. Перетерпим, станем на ноги. Со своим начальством я столкуюсь — стреляный воробей. Информация «наверх» пойдет та, которую ждут!

Иван Федорович был тоже не новичок. Подумал, прикинул. И успокоился. С тем и уехал.

Невесело думалось. Что он еще имеет. Вот это общежитие, которое он должен считать за школу, да уличный туалет с двумя дверями. На одной курочка нарисована, на другой — петушок. Кругом гравийная отсыпка на десять метров от стен. А дальше — марь метров на сто. За марью дорога, по которой сломя голову носятся «КРАЗы» и «Магирусы» — с рейса деньги получают. Не на окладе. Дремать некогда.

Школу с дорогой, а значит, и со всем миром, связывает узкая насыпь, эдакий гравийный аппендицит.

В своих невеселых думах добрался Валентин Федорович и до своих личных качеств. Кто я? Чем я, сельский директор, раньше жил? Что умел? Умел перетерпеть, вынести любую невзгоду, сохранить оптимизм и не потерять главной цели в суете и сутолоке. Умел идти на компромиссы, часто довольно, как бы это сказать, двусмысленные — жизнь так велела. Умел приспосабливаться, мимикрировать, не отступая при этом от своей основной внутренней сути. Умел выгадать в любых обстоятельствах. Умел приспособить для себя человека и сам приспособиться к любому.

Но ведь все это здесь не нужно!

В здешних прямых, честных деловых отношениях все его прежние таланты выглядят пошло, жалковато. И себя ощущал таким же: мелким и скользким, с которым нормальному человеку и общаться-то неприятно.

Здесь просто жить надо. Жми, рви работу. Теряй по дороге, если уж так случилось. Но не крохоборствуй. Все ради дела, ради главной цели. Казнил себя, что в здешних условиях он оказался со своим опытом трусоват, мелковат, жалковат. Худо мне, думал Валентин Федорович, а значит, и всей моей школе худо со мной. Учиться мне надо. У тех же своих учителей. Вон Славу взять. Небитый, нетертый. А каким золотым мужиком оказался. Ни инвентаря у него нет, ни спортзала, даже нормальной ровной площадки у него нет, а как закрутил ребят спортивными играми-забавами. Он этих игр, наверное, сотни знает.

А остальные учителя. Да они просто в эйфории от всей обстановки, в которую попали, в восторге от того, что у них есть собственные кабинеты. И совершенно забыли счет своему времени, потеряв понятие, где кончается рабочее время и где начинается время личное. Время стало для них единым, как жизнь. С трудом удается кого-нибудь выгнать в котлопункт за едой или в магазин за чем-нибудь к чаю. Чаще всего приходится сидеть на тушенке. Кто ест тушенку номер один, кто номер пять, а он сам с Ларисой номер девять — китайская свиная тушенка «Стена», вполне подходящая для бутербродов: сплошное сало...

Общие выходы в котлопункт, поесть горячего, делали крайне редко. Жаль было отнимать от работы тридцать-сорок минут. И потому самовары кипят-пыхтят по пятнадцать и более часов в сутки. Чаю выпивали неимоверное количество.

* * *

В первые четыре месяца своей жизни школа пережила настоящий строительно-оформительский бум. Вообще-то, можно сказать, что строительство в школе никогда не прекращалось, но это были особые четыре месяца. С тех пор прошли хоть и не великие, но годы, в судьбах произошли события подчас важные, но Валентин Федорович не сомневался, что эти четыре месяца остались в памяти каждого ощущением многих своих сил и возможностей. А ведь каждый из них прежней своей отмеренной «от и до» жизни, за указаниями, параграфами, инструкциями и прочими уздами и шорами даже не подозревал о своей радостной работоспособности.

Из дневника.

«Лично я теперь знаю, что при необходимости сверну горы (не могу избавиться от годами впитываемых штампов). Смогу сделать столько, сколько в обычных условиях не делают и пятеро. Я наконец-то поверил в огромные возможности, заложенные в каждом человеке. И не

понимаю людей, у которых не ладится дело. Оглядываясь назад, знаю, уверен, что просто этот человек, у которого что-то не ладится, не взялся толком за дело или ему просто не дают этого сделать. Да возьмись же ты, наконец. Секрет лишь в том, как взяться.

До работы на БАМе я понимал всех людей всех без исключения. Я был идеально уживчивым человеком. Уживался даже с врагами и с теми из друзей, кто потихоньку и безостановочно пакостил мне за моей спиною.

Теперь я стал до удивления неуживчивым человеком. Боюсь, что не смогу ужиться с большинством из тех, кто когда-то был со мной рядом. Не могу понять тех людей, у кого не ладится работа. Ну, кажется, чего проще: делаешь — делай! Делай!!! А ведь не делают. Или делают кое-как. И чего стоит страна, в которой столько людей работают кое-как».

Строительный бум в школе начался без всякого ажиотажа, без речей и планов, без принятия обязательств и встречных планов. А как-то естественно и тихомирно.

Дня два женщины все вместе разбирали учительское хозяйство, что привезла в огромных ящиках Татьяна Михайловна. И все пришли в восторг от красоты и полезности его. И кинулись писать, чертить, клеить — оформлять свои кабинеты. Начали мараковать какие-то умные стенды. А Татьяна вычертила особо замысловатый проект стеллажей и носилась с идеей его изготовить. Оставалось только решить, из каких материалов делать и кто будет делать — в привычной прошлой жизни вопрос чаще всего неразрешимый. По старой привычке оставалось одно: как-то самому выкручиваться.

В поисках подручных материалов педагоги начали наведываться на промбазу, на поселковые стройки. А строились везде, и все в поселке были строителями.

Перестеснявшись и переломив себя, учительницы выпрашивали все, что видели. Однажды под их конвоем привезли целую бочку клея, которым в поселке клеили обои. Заметив недоуменный взгляд коллег, Татьяна объяснила, что это идеальный клей для всех работ с бумагой. И что ему цены нет.

Она оказалась права. Клей разлили по банкам — с банками проблем не было, в поселке их скопилось к тому времени, наверное, уже около миллиона. И пользовались этим запасом более двух лет.

Уже на второй-третий день строительного бума пальчики учительниц украсились бинтами: кто поранил, кто отшиб, а некоторые, как подозревал директор, из кокетства.

Эти травмы взволновали обитателей поселка, парней-мужиков, временно или постоянно неженатых, и подсказали пути к знакомству.

— Зачем вам молоток? Возьмите и меня в придачу к нему.

— Вам нужна доска? Я сам ее сегодня обстругаю, принесу и приколочу!

И если в первое время, проходя вечером по коридору, Валентин Федорович лишь слышал тихую мышиную возню женщин с бумагой да робкое неумелое постукивание, то теперь из-за дверей раздавался самоуверенный грохот молотка (а то и не одного), шипение рубанка и ширканье пилы. У добровольных помощников оказались и инструменты, и материалы, и умение, и фантазия. Они были готовы под восторженные комплименты хитрых женщин помогать хоть до утра. И на работу бы, дай им волю, не ходили бы вовсе.

Удивительно, что может сделать способный человек, когда он работает с душой, когда у него есть под рукой все необходимые материалы и инструменты. И особенно, если рядом есть женщина, которой он хочет понравиться.

Главный материал — дерево. Поэтому свойства дерева, его возможности были одной из тем разговоров с друзьями-строителями за вечерним чаем в кают-компании.

— Хорошо сосна обрабатывается. Пилить и строгать ее приятно. И под лаком она красивая.

— Нет, береза под лаком лучше.

— А я не люблю ни сосну, ни березу. Вид у них какой-то белый, голый.

— Тебе что голое, так уж и неприятно? — повел кто-то разговор на скользкий путь.

— Конечно! Когда много голого, то некрасиво. Шарма нет. Но я не о том. Мне несколько раз попадались здесь тополевые доски. У них благородный сероватый, с голубизной оттенок.

— Так в чем дело? Тополя здесь в пойме реки попадаются такие — будь здоров! Притащим, распилим, сделаем.

Валентин Федорович ощущал, что живет непривычной, будто даже чужой жизнью, но жизнью правильной и человеческой, где слова «решить» и «сделать» ходят друг с дружкой рядом. И прошлая жизнь, где нужно было решать, согласовывать, утрясать, доставать, выбивать — дело трудное и требующее много душевных и физических сил — и в конце концов почти ничего не получать, показалась теперь жалкой и потерянной.

А уже через день знатоки древесины снарядили трелевочные трактора на поиски особо хороших тополей. Скупая и трудная природа этого северного края порой подбрасывала необычные и щедрые подарки. И один из самых удивительных — среди нежилых камней, марей, истерзанных нуждой и холодом чахлых лиственниц оазисы, где растут могутные, высотой в поднебесье холеные тополя. Несколько таких красавцев были доставлены в поселок, раскряжены, распилены, и из них получились доски полуметровой ширины. И этих досок, которые сложили на особое хранение, хватило на мебель в школе и красному уголку и конторе. Мебель из тополя восхищала даже ценителей и знатоков, им нравились и ширина доски, и ее цвет.

В самом лучшем положении оказалась Лидия Васильевна: ее муж и взаправду оказался отличным плотником и столяром.

Едва огляделись на новом месте, как Лидия Васильевна вызвала свое семейство и теперь цвела — все при ней: и дети, и муж. Мужу мостоотрядовское начальство официально разрешило иногда выполнять школьные заказы. Вот так они работали всей семьей: Лидия Васильевна, муж и сын третьеклассник.

И все бы хорошо, да только, забегая вперед, месяца через два Валентин Федорович примечать стал: заскучала Лидия Васильевна, а то и слезы недавние, уже высохшие, скрывает. Да и муж стал появляться в школе реже, а если и приходил, то вроде как с крепкого похмелья, хотя мысль эту Валентин Федорович отгонял: на трассе зона сплошной трезвости, в магазине ни за какие деньги бутылку не купишь. Но уж сильно мужик на похмельного пошибал, и Валентин Федорович не нашел ничего лучшего, как обратиться за разъяснениями к всезнающей Ларисе.

— Да он же алкаш, каких свет не видывал, — доложила Лариса. — Пьет не просыхает.

— Алкаш-то он, может, и алкаш, — согласился директор, — только в наших условиях ведь не запьешь. Нечего пить.

— А-а, свинья грязь найдет.

Дело оказалось более чем простым. В условиях Мостового дефицитом были не только электроплитки и электрочайники, но и кровати, самые обыкновенные, без которых и сон не в сон. И несколько столяров, объединившись, наладили их выпуск. Да не каких-нибудь там «тяп-ляп», а хорошей работы, деревянных, украшенных художественной резьбой и выжиганием. Плату брали сверхумеренную, но зато не деньгами. а исключительно продукцией в стеклянной упаковке.

Жаждущие приобрести кровать подступались к умельцам порою с немалыми деньгами, но алкаши твердо стояли на своем, и мостовцы вынуждены были заказывать сивуху на материк с оказией или посылками.

— Она ведь, Лидия Васильевна,— излагала Лариса,— и сюда-то поехала, прослышав, что здесь не пьют, надеялась уберечь мужа.

Было обидно за Лидию Васильевну. Вон, оказывается, в чем дело: пьяная беда сорвала ее с привычного места, но догнала ее и здесь.

Месяца через три упорной работы школа преобразилась. В каждом классе стояли просторные удобные стеллажи под стеклом, хорошие столы для учителей, висели хорошей работы стенды. И каждый учитель мог проявлять свой индивидуальный вкус. Татьяна Михайловна, человек организованный и четкий, была сторонницей темной полировки, и потому у нее вся мебель была оклеена декоративной бумагой под дорогую древесину и тщательно отлакирована.

Лариса и Верочка предпочитали чистое дерево, и их классы сияли светлой древесиной разных пород, лишь кое-где тонированной обжигом. Ко всему проныра Лариса подружилась с электриком и обзавелась шикарными светильниками. Впоследствии конторские работники силь-

но интересовались, куда девалась со склада часть светильников. Интересовались с пристрастием, и лишь то, что светильники были обнаружены именно в школе, спасло электрика от неприятностей.

Стены щитового дома, приспособленного под школу, были оклеены обоями, и тоже каждый клеил на свой вкус: и с розами и под ситец. Татьяна Михайловна вместо обоев оклеила стены миллиметровкой, благо этой бумаги у строителей море.

Лариса долго копалась на складе, нашла обои в ярких мелких цветочках, как она сама утверждала, в стиле начала девятнадцатого века. Валентин Федорович, по-сельски не избалованный, не мудрил. Просто перевернул первые попавшиеся обои на левую сторону — так и приклеил.

Появились и магнитные доски, и переносные — на дермантине, и разные подвесные системы для карт и таблиц. Все самодельное, все уникальное, в разовом исполнении.

Энтузиазма парней-холостяков хватило месяца на два, и постепенно их количество на школьных работах пошло на убыль. Им, конечно, нравилась работа, но еще больше им нравилось нравиться женщинам. И когда они обнаружили, что ни Лариса, ни Верочка, ни Татьяна, ни другие, к тому времени приехавшие учительницы не торопятся к особым отношениям, они начали скучать и менять увлечения. Но механизм всего оформительского дела в школе был уже так отлажен, что отход парней прошел почти незаметно и безболезненно. А за дело взялись ученики.

С первых же дней работы школы директор заметил, что ребята после уроков не очень-то спешат домой. Причину тому он нашел просто: у ребят и дома-то по-настоящему не было. Не звала до времени к себе и природа: непривычная, тревожная, она поначалу отпугивала. В общем, в школе было интереснее всего. Работали со старанием. Все простейшие работы — отпилить, приколотить — делали сами, а вот на добрую столярную работу их умений не хватало. Просили отцов помочь им вначале хоть консультацией или доделать самую трудную часть работы. Незаметно для себя отцы, втянувшись в круг школьных интересов, затевали дела посложнее и уже привычно приходили в школу поработать вечером часок-другой. Следом появились и мамы, обеспокоенные исчезновением дорогой половины. Нашлось дело и им: как раз пришла пора мыть окна и утепляться на зиму. Всем работа нашлась. Школа вечерами бывала более многолюдной и шумной, чем во время уроков. Добрые надежные самовары в эти часы работали с полной, порою непомерной нагрузкой. Как-то быстро все приохотились к чаю, по-сибирски крепко заваренному, чаю шло уймища, и на закупку заварки пришлось даже создавать в складчину специальный фонд.

А мамы не зря беспокоились... В декабре, в самый глухой и темный зимний месяц, вокруг школы возник первый скандальчик. Один из пап, помогавший Татьяне, стал задерживаться у нее дольше положенного. И уже без включенного света.

А так как семья была с Украины, то, по заведенной на родине традиции, его жена, женщина крепкая, прихватив двух подружек, пришла к школе кричать и бить в окна. Правда, окна, которые сама не так давно мыла да красила да конопатила, бить не стала, а вот постучала по гулким стенам и покричала вволю.

И стало понятно, что эксперимент «живу и работаю в одном месте» завершен. И пора его кончать: появились побочные и нежелательные явления.

Срочно пришлось искать квартиры для учительниц. Благо напряженка с жильем поослабла. Но удалось найти не квартиры — до этого было еще далеко, а комнаты, по одной комнате на двоих. Но и это уже было благом: у женщин начала образовываться своя личная жизнь. Тяжело людям без нее, противоестественно. А учительницам — вдвойне тяжелее.

Из внутреннего монолога Валентина Федоровича.

«И так наше общество в придуманных строгостях живет. За революциями да войнами, за стройками да коллективизациями, за поисками врагов народа, за лагерями и геноцидом мы не сделали — а скорее всего, и не могли? — важнейшего дела, не создали морали социалистического общества. А свято место не бывает пусто. Старую мораль, как и все и вся,

разрушили и из ее обломков на скорую руку слепили нечто, подмодернизировали, украсили кумачовыми лозунгами да звонкими, но не имеющими под собой почвы декларациями. Вот и живем всем миром на запретах. Страшна мораль, в которой все требования начинаются с «не».

А с учительницы эта мораль вдвойне требует. Другому простят или вовсе не заметят, а учительнице — ни-ни! Она примером должна быть! А она молодая, сильная, здоровая!

Из множества профессий больше всего одиноких среди учительниц... Потому что чаще всего ищут пару в своей же среде. А где их в школе наберешь, если в нашей профессии на пять-десять женщин один мужик. Да и тот порой с каким-либо изъяном. Как говорит мой друг экскаваторщик — «недоделанный».

Из дневника.

«В декабре наш поселок посетило высокое строительное начальство, чтобы лично ознакомиться, как выглядит и чувствует временный поселочек накануне своей первой годовщины.

Среди прочего начальство сочло нужным заглянуть и в школу... Я оказался в свите. И здесь впервые в жизни мне преподали урок, как находить свое место в свите. Мне, сельскому. Целый ритуал. Совершенно серьезно мне объяснили, что раз я принимаю, то должен быть у плеча проверяющего, на одну восьмую шага (какую голову надо иметь, чтобы знать все это!) позади, чтобы меня было удобно спросить, дать мне ценное указание и я бы мог вовремя открыть дверь, показать направление куда идти, дать информацию.

Но я не об этом. Это уж так, к слову.

Школа произвела хорошее впечатление. И я, как потом выяснилось, этим самым оказал услугу своим прямым руководителям. Меня запомнили. А школу сделали обязательным объектом осмотра всеми проверяющими.

Так мы выбились в люди. Нас признали... Многие нам умилялись. Надо же! В такой глуши! И все как у людей! Нам улыбались. Мы улыбались в ответ. Даже иногда от этих улыбок побаливало за ушами.

Но хороша же система образования, если процесс обучения и качество знаний зависит от многих случайностей и даже от умения учительского коллектива воровать и клянчить».

* * *

Школа росла. Постепенно появлялись новые ученики и новые учителя. О них, учителях, тоже стоит вспомнить. Завуча, историка из Молдавии, Кубрака Юрия Романовича, прислал завроно. В первый же вечер он громогласно объявил, что сбежал от мегеры жены. Но очень скоро, узнав его ближе, все были крепко уверены, что это жена, страдалица, не выдержала и дала муженьку отставку. Педант, который любое доброе начинание умел мастерски довести до абсурда. Поэтому к концу учебного года Валентин Федорович постарался с ним расстаться самым надежным способом: порекомендовал его на повышение; было, конечно, жаль учителей той школы, куда его направили директором, но он рассудил житейски — своя рубашка ближе к телу.

Странное впечатление гражданин Кубрак оставил после себя. Методика его работы, научность преподавания, умение вести урок были доведены до такого казенного автоматизма, что напрочь исчезли и намеки на человеческие отношения между учителем и учеником.

Не сошелся он и с коллективом. Если в целом охарактеризовать его манеру взаимоотношений с людьми, то это был хорошо обученный, наглый трус. Учителя даже сомневались, понимает ли он, что такое добрые взаимоотношения между людьми. Где он жил, где воспитывался и были ли у него отец и мать?

В середине сентября появилась учительница английского языка — Наденька Шишлянникова. Она на полном серьезе утверждала, что у нее самая длинная фамилия. И Валентин Федорович, чтобы доказать, что это не так, несколько месяцев искал и копался в памяти, пока не нашел фамилию на одну букву длиннее.

Английский Наденька знала неплохо, но была такая рохля и размазня, что Лидия Васильевна была вынуждена взять ее под постоянную опеку. Из-за своей растяпистости она даже не сумела скрыть, что приехала с целью выйти замуж. За это ее остальные учительницы слегка презирали. Уж они-то свое желание скрывали предельно умело. По край-

ней мере, они так считали и были в том уверены.

Выдали Наденьку замуж уже через полгода. Да за такого же размазню, как и она. Недаром говорят: черт черта в потемках найдет. Победовали они, победовали да и разбежались.

Наденька светлая, высокая, слегка сутулая, бледненькая, неброская. Но обладала какой-то притягательной женской силой. На Ларису парни постоянно пялили глаза, но опасались ее, как коты горячую кашу. С Верочкой разливались соловьями, но всерьез отчего-то не принимали. Татьяна сама всех держала на расстоянии умелым словом и взглядом. А вот вокруг Наденьки парни просто роились. В ее кабинете вечерами стучало враз иногда и по три молотка. И она, вступив в гонку за оборудованием кабинета, привела его в порядок, пожалуй, раньше всех. Цепкая в этом случае оказалась девочка. А в остальном во всем — размазня.

Однажды вечером на школьный огонек зашла девушка прибалтийского типа. Высокая, с крепкой костью, очень светлая, миловидная. Объяснила, что муж в ночной смене, а ей, видите ли, скучно. Походила по школе, поболтала, выпила в кают-компании чаю. Оказалось — немка из Казахстана. Месяц назад вышла замуж. Вышла, почти не зная своего мужа — на третий день знакомства. А неделю назад они с мужем приехали сюда.

На второй день опять пришла. Уже со своими конфетами.

А на третий приволокла с собой аккордеон. Да не какой-нибудь простой, а штучного, просто уникального изготовления. И оказалась великой мастерицей петь и играть. Хоть частушки, хоть романсы, хоть арии. Ох уж и попели женщины в тот вечер!

Тут же, несомненно, ее хором стали уговаривать идти в школу учительницей музыки.

— Да я не умею обращаться с детьми, я их боюсь. Что я с ними буду делать? Да я к ним никогда не привыкну.

И ведь не врала Клара Генриховна! Она так и не сумела пристроиться к детям. Ей бы старшиной родиться да солдатами командовать, причем самыми отпетыми. Но она восторженно любила музыку, была влюблена в свой аккордеон, охотно и с удовольствием пела. И дети сами к ней пристроились и стоически выносили ее характер.

Выручал ее и учителей от крупных конфликтов неистощимый юмор Клары Генриховны. Например, по поводу того, что у нее при весьма крупной фигуре почти не было бюста, она говорила так: производственная травма, очень тяжелый аккордеон; забеременею — куплю гармошку. Вот такая уж она была Клара Генриховна. Великая Клара, как звали ее дети.

...В конце ноября в директорский кабинет зашла женщина с вопросом, нет ли какой для нее работы? Визит обычный. В условиях стройки женщинам трудно найти подходящую работу, не их это дело — стройка мостов и железной дороги в краю холода. И потому они готовы работать хоть кем-нибудь, лишь бы не сидеть дома, лишь бы хоть какую зарплату получать.

И потому просительнице не ответишь сразу «нет», категорический ответ в такой ситуации звучит как грубость. В тот момент Валентин Федорович даже и не предполагал, какая ему выпала удача.

Разговорились.

Приехала из Новосибирска. Зовут ее Нелли Ивановна. Сын учится в пятом классе. Приехали потому, что мужу очень хотелось иметь машину. Муж работал на одном из заводов инженером, и с его зарплатой машины бы ему никогда не видать. Вот и приехал сюда подработать. Нет-нет, не инженером. Шофером. Шоферам неизмеримо больше платят. Да-да, чтобы хорошо зарабатывать, надо меньше учиться. Посмеялись даже: быть двоечником и еще лучше отчисленным за неспособность к учебе из класса девятого — гарантия хорошей материальной жизни, высоких заработков. Вот и у нее высшее образование, и потому она будет рада любой, пусть даже небольшой зарплате.

— А вы где в Новосибирске работали?

— В областном Дворце пионеров.

— А кем, разрешите спросить?

— Преподавала ритмику на основе бальных танцев.

После этого ответа у Валентина Федоровича, как он сам говорил, глаза не сделались квадратными лишь потому, что к сорока пяти годам люди теряют способ-

ность быть искренними. Ритмика! Богиня ритмика!

Валентин Федорович так высказал учителям свое отношение к ритмике и о сложившейся ситуации.

— Я не могу скрыть телячий восторг, если где-нибудь вижу выступления ритмических групп... Как я радуюсь за тех девочек и мальчиков, которым удается посещать кружок ритмики. Я верю во всеочищающую силу ритмики, как язычник верит в божественность огня и солнца. А тут передо мной сидит живой учитель ритмики, учитель высшей квалификации, и просит любую работу.

Мысленно директор тут же решил: подниму на ноги шефов, пойду на финансовые нарушения, буду платить из своего кармана, но Нелли Ивановна работать в школе будет.

— А где вы учились этой специальности?

— Да как-то непрямым путем... С детства танцевала во Дворце пионеров. Потом закончила двухгодичную платную школу бальных танцев. Потом институт культуры. В прошлом году была в Москве на курсах повышения квалификации. Курсы у нас Поповы вели.

— Какие Поповы? Наши короли вальса?

— Они самые. Хорошо учили. Умеют они работать.

— Нелли Ивановна, да вам цены нет,— Валентин Федорович пришел в искреннее волнение,— у вас такая специальность!

— А что с нее толку в здешних условиях? Вы ведь и права такого не имеете — взять меня по специальности. Я знаю. Нет такой должности в школе.

— Что верно, то верно. Но вы будете работать у нас. Вот кем — сразу не разберусь... Есть у меня полставки библиотекаря. Гроши, конечно... Пойдете?

— С радостью.

— Есть у меня еще доплата — двадцать рублей за делопроизводство... Но все это, понятно, копейки. А нам с вами надо найти способ вести постоянные уроки и во всех классах. Учить ритмике всю школу.

— Ну и ситуация, — тысячный раз за годы своей работы загрустил Валентин Федорович: не имею права и все тут. Как в колонии усиленного режима: шаг влево, шаг вправо — считается побег. Все заранее верхами расписано. Все про все там, наверху, знают. Знают, что можно, что нельзя... Но если вот эту Нелли Ивановну не взять в школу — равнозначно преступлению против детей.

— Пойдемте в нашу кают-компанию,— предложил директор.— Сейчас будет звонок с урока, придут учителя, вместе будем что-нибудь придумывать.

Узнав о сложностях, мучивших директора, Лариса удивилась.

— Да это же проще простого. Собрать с каждого ученика в месяц по рублю и на эти деньги вести уроки. Все так делают.

— Все это кто? Кто и где так делает?

— Да у нас на Украине. Секретарь собирает деньги, по ведомости выдает. Все по закону.

— Первый раз о таком слышу. Что-то, по-моему, рискованное, малозаконное.

— Да вы не беспокойтесь,— цвела Лариса медовой улыбкой,— люди поймут. Ведь наш мостопоезд киевский. Значит, народ, в основном, с Украины. А им это дело привычное. Все будут считать, что так и положено, так и нужно. У нас в Запорожье мы делали так. И финансисты проверяли нас. Ничего не сказали. Я ведь завучем была, сама табеля вела.

Валентин Федорович чертыхнулся в душе: ну и баба, три месяца помалкивала, что была завучем большой средней школы. Ну и Лариса! Да... не зря мы тут собрались со всей страны. На любую проблему у кого-нибудь да найдется ответ.

В школьном расписании появились обязательные уроки ритмики. И любопытное дело — этими уроками заинтересовались мамы учеников. Поодиночке, а потом и группами, под разными благовидными предлогами они проникали на эти занятия и вначале бы вроде шутя, а потом все увереннее становились рядом с детьми.

— И-ии р-раз!..

Есть старая истина-перевертыш: один плохой учитель может испортить работу целого коллектива. Но, к счастью, бывает и наоборот: талантливый учитель может преобразить работу целой школы и придать ей собственное лицо. Занятия ритмикой уже через год перекроили мостовских ребят: исчезли, будто их и не было,

шаркающие, сутулые, неуклюжие. Новичков узнавали еще издали по неумелой осанке и неловкой походке.

Пожалуй, явные успехи ритмики привели и к тому, что не только учеба, но и забота о здоровье ребят стали одной из главных обязанностей учительского коллектива. Утром каждого, входящего в школьные двери, оглядывали: не замерз ли, здоров ли. Особенно много беспокойства стало с наступлением морозов. Дети из теплых краев были к ним непривычны да и одевались часто неумело.

На одной из общешкольных линеек Валентин Федорович сказал:

— Почему ребята из сибирских краев, ваши же товарищи, редко простывают, редко болеют? Мы — сибиряки — такие же люди, так же мерзнем. И дело, по большей части, не в особой закалке. А в умении одеваться и применять правила предосторожности.

На этой же линейке, посвященной приближающимся свирепым морозам, старшеклассникам было вменено в обязанность не выпускать из вида малышей на улице, а при входных дверях установить дежурство и обязательно проверять, одет ли малыш в рукавицы, нет ли снега в рукавах, хорошо ли сидит на нем обувь, шапка. Не подморозился ли он, не выпустил ли сопли.

А всем мамам настоятельно посоветовали, чтобы утрами давали детям горячий сладкий чай и хлеб с маслом.

А потом пошли еще дальше: время от времени каждому предлагалось поцарапать ногтями свои коленки. Способ проверенный. И если на коленях появляются широкие белые полосы слегка шелушащейся кожи, тут же писали в дневник, что у ребенка начался авитаминоз. Нужны соки и поливитамины.

А все, пожалуй, началось с ритмики.

* * *

У человека, уехавшего в новые места, всегда появляется потребность писать письма, успокоить родственников, друзей, оправдаться за этот решительный шаг, который обеспокоил всех, кому ты не безразличен. И оправдаться перед самим собой.

Писать, конечно, хочется интересно, значимо, передать новизну, экзотику новых мест. Чего-чего, а экзотики в этих местах гораздо больше, чем в состоянии переварить.

Своим деревенским друзьям Валентин Федорович писал о главном, привлекающем их внимание, о том, что у здешних строителей есть все, чего всегда так не хватает в деревне. И стройматериалы, и всякие железные изделия, и трубы, и... Да разве все перечислишь, за что зацепились изголодавшиеся и жадные крестьянские глаза. А ниже приписал: нет зато того, имеющегося в избытке у вас в деревне — нет ухоженной земли, нет бестолкового, но обжитого и уютного двора. Нет вообще всего того, что называлось бы хозяйством... Здесь нет картошки. Гурманы получают ее посылками. А возвращающиеся из отпусков почти всегда привозят в чемоданах, порою за неимением места среди белья хоть по нескольку десятков хорошо промытых картофелин. И те картофелины ценятся здесь выше яблок и апельсинов, которыми торговля снабжает иной раз совсем не плохо. Они, эти яблоки и апельсины, в шесть-десять раз дороже картошки, а значит, и рентабельнее для торговли. То есть как везде: вначале план, а потом уж человек, хорошая отчетность важнее благосостояния.

И еще он писал: там, у себя дома, вы ходите по земле, копаете землю, сидите на земле и, умирая, уходите в землю. И не можете себе представить, что может быть иначе. А у нас и земли, как таковой, нет. Есть лишь болота, в которых, правда, не утонешь, да камни. И прямо из камней растут деревья и кусты...

Перводесантники рассказывали о своих первых неделях-месяцах жизни на этой реке. Пришли они к месту будущего поселка восьмого декабря. Пришли большим поездом из самых разных тракторов, тракторных саней, вагончиков, на полозьях. Было немало и автомашин. Пришли по реке, по льду. И три дня стояли на реке, нигде не могли подняться на берег — высоко, круто! И нигде — хоть вверх по реке, хоть вниз — подступа нет. Пришлось гнать машину назад и привозить взрывников. Те небольшим взрывом снесли часть берега, а уж потом бульдозером расчистили подъем. Вылезли на марь. Но стоять здесь до весны, не принимая мер будущей безопасности, было

нельзя: весною вся бы эта техника и жилые вагончики огрузли в марь.

И началась постоянная, никогда не прекращающаяся работа по созданию жизненного пространства. Под каждое сооружение — будь то котельная, склад, щитовой дом — прежде всего создавалась мощная, из сотен тонн скального камня и гравия подушка. Этой же каменной отсыпкой заполнялись и площадки между новостройками. И постепенно крошечные разрозненные островки сливались в острова, образовывались архипелаги, а со временем образуется и континент. Вот так и идет: прежде чем строить что-либо — насыпают огромную кучу гравия, прежде чем сделать шаг вперед — высыпают перед собою хотя бы самосвал того же гравия. И теперь на этом каменном плато, похоронившем частичку мари, стоят бетонный завод, механические мастерские, многочисленные гаражи, склады. И во все стороны от каменного острова как щупальцы спрута потянулись насыпи-дороги.

Север диктует свои условия. Если житель других районов, строя жилье, старается покрепче привязать его к земле, роет траншею под фундамент, роет подвал, то здесь делается все возможное, чтобы изолировать дом от земи. Строить жилой дом начинают с сооружения пола, двойного, теплого, надежного. И уже потом ставят стены.

Из давних далей люди принесли инстинкт закапывать любые отходы, останки в землю. На этом и построены наши этические, а за ними и эстетические нормы, бытовые правила.

Но в Мостовом это невозможно. Не дают скалы и вечная мерзлота. И потому бытовые проблемы возникают на каждом шагу.

Например, туалет. Чтобы его сделать — вначале рубят сруб. На пакле, плотно, надежно. Изнутри сруб обивают рубероидом. Стелют сверху мощное перекрытие. И уже потом сколачивают собственно туалет. Сруб со всех сторон засыпают гравием. И очередная господствующая над поселком высота готова. С порога туалета далеко все видно. Ну, конечно, и тебя все видят. Для молодых девчат — очередное мучение.

Мусор в этом климате не гниет десятилетиями. Пачка из-под папирос, брошенная в тайге, будет белеть не один год. Даже вода-помои не впитываются в землю. Поэтому по поселку ходит самосвал с глухим кузовом, куда и сливают помои. Маленьких машин в поселке нет — ходит огромный «КРАЗ». Край его кузова метрах в трех от земли. И потому на всех перекрестках для хозяек устроены высокие трибуны. К ним и подъезжает самосвал. А потом рявкает своим мощным клаксоном. А так как немало людей работает в ночные смены, то самосвалу вскоре запретили реветь, чтобы он не будил людей, и повесили около кабины колокол — все потише.

На этой машине работает шофер, редкий мальчик и его за дефицит речи прозвали Муму. А машину за колокольчик прозвали «коровой». Так и бытует в разговоре:

— «Корова» сегодня ходила?

— Вынеси ведро на «корову».

— «Коровы» сегодня не будет — послали за цементом.

Но «корова» работала только летом. Зимой же у этих трибун установили большие ящики из щитов без дна. И все в них сливали. На морозе замерзало все моментально. Ящик наполнится — щиты снимали и огромный трактор «Интер» сбивал сосулю. Приходил трелевочник, взваливал сосулю себе на плечи и, кряхтя, утаскивал ее далеко на соседнюю марь.

И удивительно — писал Валентин Федорович друзьям-охотникам — весной и в самом начале лета, когда все уже понемногу подтаяло, а в тайге самая бескормица, сюда на свалку собиралась масса птиц и животных. Приходили даже медведи. И много соболей. Соболи быстро потеряли страх перед металлом и копались в выброшенных банках. Причем некоторые, видимо, из близ живущих, настолько привыкли к свалке, что посещали ее круглый год. А по осени какой-то местный охотник наладился здесь ловить соболей капканами.

Поселок выглядит несколько неуютно и непривычно из-за труб центрального отопления. Мерзлота и марь не дают закопать трубы в землю, и поэтому от кочегарки ко всем домам протянулись огромные короба, в которые эти трубы и спрятаны, укутанные от морозов в стекловату, рубероид и опилки. Эти короба

пересекают поселок во всех направлениях, их целые километры. Там, где короба пересекают дорогу — построены мостики. А для пешеходов — трапики. Но все же ходить по поселку — проблема. А ночью и более того.

II

Часам к четырем все устали от долгого пребывания на улице, от катания на оленьих упряжках, проголодались, и женщины запросились домой. Многие из них купили тайных соболей и унтики, от местной власти покупки прячут — дело это может грозить большими неприятностями покупателю, но особенно продавцу.

Лиса-Лариса, Лариса Патрикеевна, похоже, очень даже неплохо разжилась, небрежно придерживала пухлый рюкзачок, хотя Валентин Федорович помнил, что ехала она сюда всего лишь с подручной сумочкой. Похоже, этот рюкзачок в той сумочке лежал. Откровенная Верочка купила, скорее всего, только унтики и уже переобулась в них, а старые валенки держала под мышкой.

Верочка давно не заморыш подросток, как-никак уже два года мужняя жена, но все равно еще худенькая, ну и, конечно, не подросла. Дождалась она своего Васеньку. Вася оказался парнем огромного роста, в два раза выше Верочки. Вот с Кларой Генриховной они бы составили богатырскую пару. Через год родили они с Верочкой сына, да и сейчас, перешептываются учителя, ждут для своего сына братика или сестричку.

Это довольно-таки распространенная хитрость практичных молодых семей на БАМе: устроить жену на работу и, используя все бамовские льготы — в том числе более приличную, чем где-либо, зарплату, а отсюда и повесомее декретные — за три года, а по возможности еще более плотному графику, родить троих.

Свадьбу Верочки и Васи играли прямо в школе. И по этому случаю внимательный Иван Федорович прислал из Тынды две бутылки очень приличного коньяка.

— Красивые, да? — потянулась Верочка за моральной поддержкой к Валентину Федоровичу.— А теплые-то какие! И удобные, нога в них просто спит.

Валентин Федорович посмотрел на своего приятеля Баира Тумуновича, приглашая взглядом к разговору.

— Это очень хорошие унты,— подтвердил он.— Такие теперь редко шьют. Вся выделка старинным способом. Не ошибусь — стариковская работа. Скоро таких нигде не найдешь.

— Почему? — враз вскинулись Верочка и Лариса.

— Да так...— неопределенно ответил женщинам Баир Тумунович, но посмотрел, главным образом, на Ларису.

— Некому будет шить,— уточнила Татьяна Михайловна.— Оленей поубавилось. Да и пастбища мы своими пожарами повыжгли.

— А мы-то при чем? — испугалась Верочка.— Мы не жгли. Мы, наоборот, тушили.

— Ты ни при чем. И все мы ни при чем. И все мы только и делали, что спасали природу. Но до нашего прихода здесь пожары не полыхали.

— Были пожары, были,— успокоил Баир Тумунович.— Но редко.

— Любишь ты, Татьяна Михайловна, тень на плетень наводить,— кольнула Ларису.

Татьяна Михайловна, вполне возможно, тоже отоварилась, но с определенностью сказать это трудно: если и купила что-то, то без афишировки, хотя и не прячась совсем, но без жадности купила, без видимого азарта и не для запаса.

Шофера завели автобусы, громко просигналили, извещая всех о скором отъезде, и народ поспешил на посадку.

Баир Тумунович тронул приятеля за рукав.

— Не спеши уезжать. Вечером уедешь. Мы ж с тобой не все еще пельмени съели, да и еще кое-что дефицитное осталось. А потом, земляк, мы, быть может, последний раз вот так посидим-поговорим.

— Ну как последний? Разве ты завтра в Мостовой не приедешь? Завтра ведь у нас праздник. Не забыл?

— Не забыл. И приеду. Но ведь если даже три дня подряд гулять, это будет не три праздника, а все вроде как один.

— Это верно.

Да, завтра, на следующий день после праздника Солнца, поселок Мостовой будет сдавать свой мост через реку под путеукладку, всем селением отчитывается

сразу за все те деньги, за всю зарплату, которую получали три долгих года.

Мостовой — рядовой поселок, каких много на строящейся трассе. Его нет даже на картах — потому что он неплановый и временный. На его месте не будет города и даже маленькой станциешки. Как только сдадут мост, строители разберут свои щитовые дома, свяжут их в пачки, разберут кочегарку, спасавшую их от морозов, погрузят на тракторные сани электростанции и двинутся на новое место. Все это называется военным словом — передислокация. И так каждые три-четыре года.

Есть хорошее, выработанное человеческим опытом правило: чтобы успешно выполнить большую и сложную работу, нужно разделить ее на ряд простых операций и сделать все по очереди. Именно так и поступают строители трасс: взрывники пробиваются сквозь скалы и убирают разного рода препятствия, мехколонны отсыпают железнодорожное полотно, мостоотряды строят мосты и прочие переходы. А потом уже, по готовой отсыпке путеукладчик стелет рельсы. Это как утюг завершает все усилия швейной мастерской, так и путеукладчик ставит точку при строительстве трассы.

Мосты строятся долго. Малый мост через какой-нибудь ручей, исчезающий в засуху — три-четыре месяца, большой — и три года. И потому мостоотряды уходят далеко вперед, пробиваясь к новым местам без всяких дорог по зимникам, а то и на вертолетах. Это и называется десант. Расчет таков — к моменту прихода медленно, но почти безостановочно ползущего путеукладчика мост должен быть готов.

Вот потому и возник когда-то у черта на куличках этот поселок, который должен в скором времени исчезнуть. Место для жительства, по мнению местного народа, выбрали пришельцы без всякого ума: эта долина с незапамятных времен пользуется худой славой. Название урочища, в вольном переводе с эвенкийского, несет мрачноватый и тревожный оттенок: черная долина. Недобрая долина. Эвенки никогда не останавливались здесь на ночевку, никогда не пасли оленей.

На противоположном берегу реки, у скального прижима, всего в сотне метров от строящегося моста стоит древняя писаница — плоский вертикальный камень, изрисованный красными охряными значками. Это рассказ о чьей-то судьбе — горький или радостный, как нам знать? судьбе одного человека, а может быть, целого племени. Но строители, приехавшие совсем из другого времени и мира, видят в них лишь наивные рисунки оленей, охотников, людей в лодках и людей, отправляющихся куда-то организованным строем. Смысл писаницы для приезжих распадался на отдельные символы, и к камню относились как к экзотике, а на его фоне очень престижно было сфотографироваться, чтобы послать фотокарточку в иные края с гордым сознанием первопроходца, прибывшего покорять дикие неизведанные края. А иным людям вид наивной писаницы прибавлял самомнения, делал их, по крайней мере, в своем микроощущении, значительнее и уж несомненно умнее, эдакими носителями высокой культуры.

Валентин Федорович ощущал рядом с камнем какую-то свою смутную вину, быть может, потому, что не мог проникнуть в смысл рисунков. Ощущал себя подкидышем, найденным на крыльце чужого дома. Именно здесь, у молчащей писаницы он впервые почувствовал, что проломились они сюда и поселились вопреки этой природе, вопреки ее законам, отвоевав себе место среди марей и скал лишь неодолимой мощью всепобеждающей и всесокрушающей техники.

Они постарались как можно надежнее отгородиться от в общем-то враждебной природы. Отвоевали себе место для жизни, свою зону — отсыпали в болотистую марь тысячи тысяч кубометров гравия и на этих «подушках» поставили свои щитовые дома — и живут только в зоне, только в ней. Конец отсыпок — пограничный рубеж. А дальше враждебная природа. И из этого своеобразного острога-зоны бамовцы делают набеги за дарами природы: собирают кедровые шишки, грибы, ягоды, вооружившись до зубов разной техникой рвут скалы, берут гравий и песок в реке для отсыпок, берут лес для пилорам, в свободное от работы время ловят в реке хариуса, собирают по берегам дикий лук.

И, видимо, поэтому лагерь-поселочек живет в постоянном ожидании очередного чрезвычайного происшествия. И глав-

ная задача — не дать этому ЧП превратиться в катастрофу. Работа мозга постоянно направлена на поиски решения проблем, которые предлагает местная жизнь. Даже во сне.

* * *

Завершать праздник — неприлично как-то всем сразу уехать — оставили парторга (ему сегодня вечером в клубе речь произносить о приходе цивилизации в эти края) да еще четырех человек из начальства для представительства. Остались и молодые парни на танцы с надеждой на знакомство с местными девушками. Остался и Валентин Федорович.

— Ну вот и спасибо тебе,— сказал Баир Тумунович.— Народ-то еще гуляет. А мы что, рыжие? Идем сейчас домой, а то жена заждалась. А вечером в клуб, послушаем умные речи.

Валентин Федорович придержал приятеля за рукав.

— Слушай, мне тут со своими мыслями надо разобраться... Через два-три месяца наш поселок перестанет существовать, народ уйдет дальше. Хорошо это для Юкжи или... очень плохо.

Баир Тумунович задумался лишь на короткое мгновение.

— В сложившейся жизни — плохо.

— Но я ведь вижу, не та стала Юкжа за последние три года, не тот народ.

— Сейчас-то этот народ полегче живет. Однако...

— Не крути, не на собрании.

Приятели договорили уже за столом, и через некоторое время вырисовалась картина, которую оба директора признали правильно отражающей действительность. И выглядело это так.

Волею судеб рядом сосуществующие мирно и даже дружественно два поселка, два образа жизни — Юкжа и Мостовой. Каждый со своей правдой.

Правда Мостового в том, чтобы проломиться через тайгу, скалы и мари. И построить мост, большой мост через большую реку. В общем, сделать для страны огромное важное дело. И каждый бамовец работал с чувством, что он не зря живет на этой планете.

«Мы мостовики, мостостроители,— говорили они.— Мы строим самый большой мост на этом участке. И мы его построим. Мы не просто строители БАМа, мы его лучшая часть, его косточка. Мостовик — значит работник лучшей квалификации, высшей честности и ответственности. Ответственности! У нас есть старая традиция: когда сдаем мост под движение, то мы все стоим под мостом. И это не испытание судьбы, не отчаянная готовность ответить за свой брак, да и не глупая бравада. Это просто демонстрация своей уверенности, что работа сделана на совесть. И вот завтра мост сдается. И не важно, кто где работает — непосредственно на строительстве, в магазине или на почте. Вот он, Валентин Федорович, учитель, но он тоже считает, что его труд вложен в мост. И называет себя мостовиком из шестого мостоотряда. И уже мысленно видит, как завтра будет стоять под опорами, а по мосту медленно будет идти путеукладчик. И будут речи и овации, и будет стрекот кинокамер. Но мостовики уже заранее обижаются: потом на экране — как всегда — покажут как бы самое главное действие, работу путеукладчика. Класть рельсы, считают мостовики, дело эффектное, красивое даже, и убедительно показывает успехи строителей дороги, но ведь до прихода путеукладчика мы уже здесь вкалывали целых три года. А кинохроника отдает все овации, все признание народа лишь тем, кто забивает серебряные костыли и кладет золотые звенья. А мы как статисты на чужом празднике, и три года нашей напряженной работы тускнеют рядом с теми часами, когда путеукладчик стелет рельсы. И потому мостовики любят говорить: БАМ — это вначале шумиха, потом неразбериха, потом наказание невиновных, потом награждение непричастных.

Но зато все предыдущие три года поселок исповедовал истину: магистраль — это мосты, связанные рельсами.

А теперь о Юкже. На фоне бамовской мощи, ее всепобедительности старая деревня выглядит наивно, неконкурентоспособно, и даже не жизнестойко, хотя именно это впечатление и обманчиво.

Как зависимый и робкий человек отступает под натиском богатого и власть имущего, знающего только о своих интересах, так и Юкжа отходила, отступала перед Мостовым.

Вначале Юкжа отдала землепроходцам свое единственное картофельное по-

ле. Кругом на многие десятки километров каменистая тайга, скалы, мари, а тут в удобной лощинке, как подарок судьбы, небольшенькое, в пятнадцать гектаров поле. Из года в год юкжанцы выращивали на этом поле картошку, и хоть урожай был не ахти какой, но это была своя, не привозная картошка. К слову сказать, картошку в эти края и прежде не завозили: дорога сюда лишь по зимникам, картошку можно было привозить только мороженую. Но бамовцам понадобился аэродром, и поле отдали Мостовому, объяснив это высшими государственными соображениями, пообещав снабжение картошкой с этих пор возложить на бамовцев.

В мостовских магазинах картошка не продавалась, не завозили ее сюда простонапросто, но зато других, более морозоустойчивых продуктов и нередко для других мест дефицитных, было — по нашим привычным, без запросов, меркам — изобилие. Юкжанцам это нравилось. Даже яйца юкжанцы покупали в Мостовом, прирезав своих кур, найдя такое решение удобным и выгодным.

Юкжа, как и сама природа, не сумела себя защитить, отстоять от пришельцев, которые вовсе не хотели ей зла, а скорее, даже наоборот, готовы были всегда прийти на помощь. Юкжа, видимо, даже и не заметила, как сдавала свои позиции, превращаясь в бедную родственницу, даже в приживалку Мостового.

А трасса все дальше и дальше уходила в малохоженые и тихие края, расчищая себе дорогу взрывами, победным ревом машин, разгоняя живность окрестной тайги, баламутила и разоряла реки, вычерпывала с их дна миллионы тонн ничейного гравия. И каждый год горела ничейная тайга, и гаревая мгла застилала землю на тысячи верст, и самолеты уныло сидели на своих аэродромах.

* * *

В тот первый год осень управилась со своими делами по-сибирски быстро, в один месяц. Когда приехали, горы еще были зелеными и лишь местами, где проглядывали осины да березы, чуть желтели, краснели. Но в два-три дня горы из зеленых стали золотыми и светлыми, словно пропитались солнцем. Это лиственницы, прихваченные утренними заморозками, приготовились сбросить хвою. А еще через сутки-другие пришла пасмурная холодная погода, хвоя опала под сильным ветром, и сопки в одну ночь почернели. Стояли угрюмые, тяжелые. Небо безрадостное, с низко бегущими серыми мокрыми облаками, цепляющимися за горы. Погода промозглая, холодная. И школа вся застыла, сжалась. Стояла возле подошвы горы крошечная и беззащитная.

Прошло еще несколько дней, и вершины гор побелели. И каждое утро эта белая линия опускалась вниз на несколько десятков метров, поглощая серо-черную безрадостность гор. В конце сентября снег покрыл весь видимый мир.

Зима стала хозяйкой жизни. Она поступила благородно, приходила постепенно, спускаясь с гор, делая каждый день один большой предупредительный шаг ближе к домам. Нужно было лишь понимать эти предупреждения.

Увы нам! Во главе дела стояли киевляне, москвичи, кавказцы. Зимы и морозов они не боялись, встречали их бесстрашно. Есть два вида смелости. Одна от необходимости, вторая от незнания. В данном случае это был второй вид смелости. Прикинули, что морозы в тридцать-тридцать пять градусов бывают и в Москве, не беда, если грянут и больше. Эка невидаль! Вся наша страна северная, и всем зима знакома. Вот и решили, что особых сюрпризов зима не принесет, а период сильных морозов уж как-нибудь перетерпят.

Но сибирская зима не сильными морозами страшна, а своей бесконечной продолжительностью. Одно дело в районе Москвы восемь месяцев готовиться к зиме, а четыре месяца зимовать. И совсем другое дело — все наоборот! Из-за такого непривычного соотношения тепла и холода приходили все беды. Оказалось, что здесь зиму нельзя перекантоваться, перетерпеть, а летом все наверстать: зима пришла в конце сентября, а ушла в середине мая.

И дорогой ценой в первую зимовку досталась истина, что основное время работы в Сибири — это зима, а основная форма жизни в Сибири — зимовка. А лето — лишь короткий отпуск, и рассчитывать на него не очень стоит.

К непривычно длинной зиме морально не был готов никто: ни высокое, ни прочее начальство, ни рабочие. За исключением, конечно, небольшой прослойки сибиряков.

В зиму входили с высоко поднятой гордой головой, не пугаясь никаких предупреждений, не слушая их. Первые три месяца зимы перенесли бодренько. «Это и есть зима? И чего это нас пугали?» — спрашивали все друг друга, прожив пару зимних месяцев — октябрь и ноябрь.

Ну а потом... потом вдруг стало не хватать самого элементарного: солярки, угля. Выходили из строя электростанции, не выдерживали холодов всякие временные сооружения, в том числе и жилье...

Когда-то, много лет назад, на Валентина Федоровича произвела впечатление одна научно-фантастическая повесть. В ней рассказывалось о далеком времени человечества, когда оно достигло всеобщего благоденствия и единственным богатством, номиналом благосостояния была лишь энергия. Денежным эквивалентом стали единицы энергии. Ей придали такую форму, что энергию можно было получить в банке, получать ею плату за работу, накапливать, как копят деньги на сберкнижке или в чулке. Хочешь ехать,— пожалуйста, транспорт вокруг. Используй имеющуюся у тебя долю энергии и поезжай. Захотел кофе — закажи по единой системе снабжения — тут же получишь. Но разогревай своими запасами энергии.

Все это давно прочитано и, казалось, забыто. Но в условиях Мостового вдруг приобрело осмысленность. Из фантастики стало чуть ли не реалией. Конечно, не на уровне отдельной личности, но на уровне жизнеобеспеченности да и самого существования поселка.

В условиях Севера, вдали от цивилизации, где надеяться можно лишь на себя, энергия стала основой жизни. И количество вырабатываемой энергии, вернее, одним из ее видов — электроэнергии, было показателем жизнеспособности поселка. Электричество, вырабатываемое местными передвижными станциями, светило, грело, двигало, обеспечивало... Если бы поселок в зимнее время хоть на сутки лишился бы электричества, он погиб бы. И для людей единственным спасением была бы немедленная эвакуация назад по трассе в ближайшие поселки.

Самая значимая фигура в поселке — главный энергетик, инженер, в чьем ведении были все электростанции и кочегарки, все электролинии и теплосети. От его умения и разворотливости зависели жизнь и работа. Он мог бы захватить власть в поселке, сделаться диктатором, создать застенки и лагеря — какой же он диктатор без этих привычных миру атрибутов,— потребовать себе божественных почестей и объявить себя самым умным, самым прозорливым. Но он был демократ и добрый — Леонид Ефимович Постышев.

Главный энергетик копил энергию, как скупой рыцарь — золото. Уже с первым десантом он пригнал две «сотки» — электростанции достаточной мощности для обеспечения всех нужд в энергии. Одну в работу, другую в резерв, в готовности номер один. Но страх аварии точил его непрерывно, страх гибели поселка, и он не успокоился, пока не пригнал «трехсотку». Этих станций теперь хватало с избытком. При необходимости они могли снабжать энергией поселок гораздо больший, чем Мостовой. Но мечтал Ефимыч о «тысячнике» — прекрасной, огромной, мощной и, главное, надежной машине, которая накормит поселок энергией вдоволь. И надо сказать, что Леонид Ефимович в реальной жизни превзошел свою мечту. Через год, после первой тяжкой зимы, возле поселка стояли три «тысячника». Один снабжал поселок энергией, другой включался, когда шли крупные работы на промбазе, на бетонном заводе, на строительстве моста. А третий был в резерве, обеспечивал, гарантировал надежность жизни.

Но все равно сосущее беспокойство не оставляло Ефимыча. Валентин Федорович об этом хорошо знал: Постышевы были соседями, жили за тонкой стенкой и жизнь друг друга была для соседей хоть и невидимой, но зато хорошо слышимой. Главный энергетик убегал из дома рано, приходил поздно, и ночью его будили, и порою просто приходилось лишь догадываться, когда же сосед спит.

Когда на Мостовой навалилась настоящая зима и изо всех углов стали выглядывать последствия лозунга «а-а, на БАМе и так сойдет», поселок продержался, и ни одна авария не приобрела ха-

рактера катастрофы, по мнению директора школы, лишь потому, что в поселке был Ефимыч. Для Ефимыча — Фигаро здесь, Фигаро там — было слишком слабо, а слуга двух господ ему и в подметки не годился. Он успевал навкалываться на ночных авралах, выбить в Тынде, которая за четыреста верст, сверхлимитный уголь, провести на промбазе профилактический ремонт электростанции, подготовить необходимое энергообеспечение уходящему вперед десанту.

Если Валентину Федоровичу нужно было заманить энергетика в школу или выпросить для школы какие-то блага, он не мудрил и не искал Ефимыча, а останавливался на хорошо просматриваемом перекрестке и терпеливо крутил головой. Не проходило и четверти часа, как Ефимыч появлялся на одной из улиц. Говорить с ним лучше всегда было на ходу, приноровившись к его скорости. К концу стометровки Валентин Федорович уже выдыхался, сходил с дистанции, но и дело, с которым шел к энергетику, уже, как правило, было обговорено. А значит, и решено. Напоминать больше не было нужды. Если имеешь согласие Ефимыча, — считай, что дело сделано.

Но с наступлением самых первых морозов все равно в поселке стало сложно с самым обыкновенным теплом: согреться, сварить еду, обсушиться после работы.

Первые два человека, погибшие в поселке, погибли, в конечном итоге, из-за нехватки тепла. Шофер и грузчик поехали за дровами еще по не окрепшему льду реки. Подождать бы им еще несколько дней, но холод в домах лез изо всех углов, и они рискнули. Туда, за реку порожняком проскочили и поверили в свою удачу и надежность переправы, а груженые — провалились. Грузчик даже не выбросился на лед, подумали даже, что он не успел открыть и дверку кабины. Но, когда через два месяца машину вытащили, в кабине его не было. И первый памятник, поставленный на берегу утонувшему человеку, был символическим — под памятником никого не было. Шофер выскочил, но промок. И, пока бежал около двух километров до ближайшего тепла, обмерз так, что умер по дороге в больницу.

Поселок сплошь состоял из щитовых домов, обогреваемых центральным отоплением, но было и несколько рубленных домов из бруса, как образчик светлого, но недостижимого будущего. В этих домах стояли простые кирпичные печи. Те, кому достались квартиры с печами, считались самыми удачливыми и богатыми людьми. Они не зависели ни от каких случайностей, их жизнь была надежда и обеспечена.

Дружить с владельцами печей считалось престижным и нужным делом. Их мужчины ходили на работу всегда в сухих валенках и одежде. Их женщины могли регулярно стирать! Они могли ходить у себя в комнате в домашних халатах и тапочках. Они... Они были элита, они были небожителями. И их дома были тем спасательным кругом, на который посматривает новичок, впервые выходя в море. Леонид Ефимович, которого с наступлением морозов преследовал неотступный кошмар аварии всей энергосистемы поселка, во сне выработал план спасения людей: на какое-то время народ можно будет расселять по этим домам. И даже подсчитал, по сколько человек нужно расселять по этим домам. И даже подсчитал, по сколько человек нужно расселять на одну квартиру — по сорок два человека. Днем вспомнил, пересчитал — точно. Получилось по три четверти квадратного метра на человека. Вполне можно спать сидя.

В щитовых домах — жизнь другая. В поселке было несколько крошечных кочегарок, от них-то и шло тепло к щитовым домам. Дома строились, множились, тепло делилось на всех, хотя его не хватало и прежде. О восемнадцати-двадцати градусах тепла в квартирах и не мечталось. Если в комнате было десять градусов, то считалось, что ее обитателям повезло. Если четыре-шесть — жить можно.

У Валентина Федоровича в доме температура крутилась вокруг цифры десять, и это был очень хороший дом. Семья могла себе позволить ходить по дому даже иногда без меховых безрукавок, в одних рубашках. Но обязательно в меховых чулках или унтах. На полу — хоть волков морозь.

Зимой полы не мыли. Пролитую воду не вытирали, а переждав некоторое время лед собирали в совок. Постирушки подвешивали под самый потолок, через

пару суток белье высыхало. Кровать, чтобы хоть как-то защититься от холода, обшили фанерой в форме ящика и обили войлоком. Жители щитовых домов за все годы так и не смогли завести комнатные цветы и аквариумы — все вымерзало.

Со временем была выстроена большая кочегарка, а малые закрылись. Ждали этого события с нетерпением, но стоически. И дождались. Но тепла прибавилось отчего-то не так уж и много.

За стенами трещали многомесячные морозы, и потому главной задачей было удержать в помещениях хоть какое-то подобие тепла.

Все, кто хоть как-то отвечал за жизнь поселка, спали касаясь радиатора отопления рукой или ногой. Валентин Федорович, конечно, тоже. Его школа могла жить лишь до тех пор, пока жива кочегарка. О кочегарке он знал все: знал кочегаров по имени-отчеству, знал, кто в какую смену работает, чья смена лучше работает. Работа в кочегарке адова. Шесть больших угольных котлов непрерывно пожирали топливо: помимо тепла требовался пар для бетонного завода, в любые морозы обязанного работать, иначе строительство моста остановится.

Мужчин на эту работу не хватило. Пришлось звать женщин. И они согласились — другой-то работы все равно не найти. Работали добросовестно, на пределе сил. Те, кто пытался себя пожалеть хоть чуть-чуть, в котельной не держались. Уже утром их ожидал непрерывный скандал со всеми женщинами поселка. Особенно доставалось от матерей. Поселок очень чутко реагировал на малейшую потерю тепла.

Однажды поздним вечером бульдозер подгребал уголь около котельной, влез куда-то не туда и сломал водяную трубу. Котлы пришлось потушить, огонь выкинуть. Ремонт рядовой, обычный, занял бы не так уж много времени, и потому Леонид Ефимович не стал информировать руководство об аварии.

Но уже через полчаса в кочегарке стало тесно от прибежавшего народа. Там были и сам начальник мостоотряда, главный инженер, начальники всех участков, мастера, заведующие детсадом и столовой.

Валентин Федорович уже лежал в постели, читал и по привычке держал руку на батарее. Книга была интересной, увлекла, но внезапно он почувствовал неосознанное беспокойство, попытался понять, откуда оно пришло, и со страхом понял — тепло в батарее пошло на убыль. Он в панике вырвался из постели и кинулся в кочегарку. Там застал целую толпу обеспокоенного народа.

Пока шла сварка, мужики, не зная, куда себя деть, лениво и сонно переговаривались, ругали Чаушеску, что опять не туда руль заложил, но не уходили: мало ли что.

Но вот ремонт закончился. Теперь-то дело нашлось всем: нужно срочно затапливать все котлы. А это не просто — растопить и раскочегарить угольный котел. Измаявшиеся бездельем мужики, почувствовав свою нужность, без всяких указаний разбились на бригады и с подначкой друг друга принялись разогревать котлы — кто быстрее. А дело не простое: вначале в чрево печи кидается растопка, потом сухие отборные дрова, потом побольше сырых дров, потом отборные куски угля и лишь затем уголь полными лопатами. И загудели котлы.

Валентин Федорович сказал соседу Ефимычу:

— Наконец-то я увидел то, о чем много лет слышу, много читаю, но никогда не видел. Прямо какая-то легенда о Летучем голландце. И наконец сподобился.

— О чем это ты?

— Да о социалистическом соревновании. Вся наша пропаганда говорит, что оно существует, целые газетные страницы о нем исписываются, а никто не знает, есть ли оно на самом деле и что собой представляет. Будто малые дети в воображаемую игру играют.

И только к четырем часам ночи, когда котлы вышли на нужный режим и температура в батареях быстро пошла вверх, разбрелись досыпать. Даже Ефимыча начальник отряда своим приказом вытурил домой.

Удивительно, что с появлением большой кочегарки в ней поселилась неизвестно откуда взявшаяся стая воробьев. Прежде в поселке этой живности не водилось. Быть может, прилетели из Юкжи?

Из-за плохой вентиляции в кочегарке было копотно и пыльно, и потому воробьи, жившие в тепле под потолком, были особого цвета — черного. Их поначалу и

не признавали за воробьев. И лишь весной, когда они отогрелись, отмылись в лужах и расчирикались, признали за своих, домашних.

С морозами боролись всеми возможными способами, порой иногда крайне дорогими. Застывшие в холоде машины и трактора без долгой муки с кострами и факелами не заведешь, и потому в поселке вошло в обычай двигатели на технике вообще не выключать. Долгими зимними ночами над промерзшим до звона поселком стоял спокойный, вроде бы негромкий, но слитный и мощно-сдержанный гул. Мощные машины — грузовики и тракторы всех марок — тихонько урчали под окнами своих хозяев. Даже стены карточных домиков слегка вибрировали. Хозяева всей этой мощи, даже обнимая своих жен, одним ухом были насторожены на окошко — слушали своего трудягу. И не дай бог чуть-чуть, неуловимо для постороннего уха, изменится звук. Среди десятка других, ворчащих под соседними окошками, определит своего, вырвется из самого глубокого сна и кинется на улицу. Что случилось? А как бы не заглох!

* * *

Однажды проснулся от панического стука в окно и крика «Пожар!». Кричали что-то еще, но в заполошном этом крике трудно было выделить отдельные слова. И первая реакция, первая мысль понять, разобраться: кто, кому, зачем стучат. Стучали, оказывается, в окно соседу, Леониду Ефимычу. Он нынче дома. И слышно, что уже скрипит кроватью — встает.

Значит, есть чуточка времени, чтобы позволить себе еще лежа вникнуть в дело, а уж потом соответственно действовать... Перво-наперво понять, что горит.

Пожары на окрестном БАМе дело хоть и трагичное, но обыденное, если можно считать обыденным потерю того, что с великим трудом строилось. Горят столовые, горят бани, вахтовые избушки. Горит жилье. А это самая тяжелая потеря. Стандартные щитовые дома не удерживают нужного тепла, да и котельные не справляются с обогревом. Поэтому человеческая изобретательность приспособила всякие обогреватели под общим названием «козлы» или «вертолеты». Цель у них одна — превратить электрическую энергию в тепловую, дать в квартиры хоть немного дополнительного тепла.

Но и электричества не всегда хватает — его забирают рабочие бригады. Потому ту же еду варят порой на чем придется. Да хоть на паяльных лампах.

А домики из сухой фанеры, линолеума, обоев. Вот и горят. Жизнь неоднократно продемонстрировала, что стандартный щитовой дом на шестнадцать комнат сгорает за восемнадцать минут. Потому тушить пожар есть смысл лишь в самом начале, в зародыше. Если огонь ухватился за жилье как следует, то главным образом единственным пожарником становился громадный бульдозер «Катерпиллер». Он просто-напросто отгребает от незагоревшейся части дома то, что успело вспыхнуть. И этим неожиданно эффектным способом теперь удается спасти немалую часть дома. А отодвинутые трактором щиты уже на земле удается потушить. И даже кое-что потом удается отремонтировать. Если в поселке есть запас щитов, то через неделю дом восстанавливают сами погорельцы. И лишь копченые латаные стены напоминают о недавней беде.

У Валентина Федоровича самый большой страх — страх пожара в школе. И потому все ночные сполохи бьют по сердцу. И где-то внутри сердца, в его затаенном, но жизненном уголке, поселилась постоянная тревога, ожидание беды. И это чувство было постоянно во все годы работы на БАМе. Слишком все держалось на нервном усилии, постоянно сосущей заботе, готовности принять меры в любое время и в любом месте. Видимо, от всех перегрузок и впечатлений однажды мозг сработал в неожиданном направлении: выдал сон-фантастику. Настолько яркую и сильно подействовавшую на настроение, что Валентин Федорович проснулся в поту, с бьющимся в боли сердцем и не смог уснуть, пока не записал в дневнике все, что увидел и прочувствовал.

Из дневника.

«Тревожно! Подсознательная тревога охватила все и вся. Даже природа чувствует это и сигнализирует об опасности. Эти сигналы мы воспринимаем если не разумом, но всем своим существом. Мы

знаем, что вот-вот разразится всеобщая катастрофа.

Нас трое мужчин. Только трое сильных в гигантском городе, где мы живем. Все дееспособное население где-то далеко в космосе, на работе. А мы по какому-то случаю ненадолго вернулись на Землю. И лишь мы сейчас можем и должны эвакуировать за пределы Земли всех детей и стариков, исполняющих обязанности нянь и учителей жизни.

Осматриваем верхние этажи единой системы зданий. Заталкиваем всех встречных детей и нянь в их личные скафандры-машины и моментально отправляем в космос. (Откуда-то, из какой-то, видимо, фантастической книжки, а может, и придумалось, всплывает в уме их название — интеграторы.)

Но у многих их нет. Этих мы заталкиваем в проходящие через все этажи и уходящие в высь трубы-эвакуаторы. (Интеграторы общего пользования.)

Но все здесь устарело, давно не обновлялось, и этой системой давно никто не пользовался. Трубы обветшали. Риск огромный. Но другой возможности нет. Мы начинаем осознавать, что не успеваем сделать свое дело. Нужно отправить еще нескольких малышей. Но у них нет своих интеграторов. Отдаем им свои. Наконец-то отправили всех!

До катастрофы несколько мгновений. Нужно попытаться спастись самим. Выбегаем на верхний балкончик — стартовую площадку, чтобы умчаться из обреченного города, лежащего у ног. Интеграторов у нас теперь нет, но мы умеем летать, и нам нужно лишь добраться до космолета и умчаться на нем с Земли.

И в этот момент природа подала последний импульс тревоги. Настолько мощный, что от перенапряжения я потерял способность настроить свое тело на полет. Оба моих товарища подхватили меня под руки, и мы понеслись. На нашем пути встретилась группа силовых — возможно, электрических — не то линий, не то полей, которые питали огромный город или даже всю планету.

Сил и времени набрать высоту у нас не было, и мы заметались, собираясь поднырнуть под эти линии. Эта заминка стала для нас роковой.

Планету покорежило, потрясло. Все вокруг моментально вздыбилось и рухнуло. Мы бросились сквозь рвущиеся энерголинии. Нас обдало напряжением невероятной мощи, и с нами что-то произошло: мы вдруг совершенно изменились. Я ощутил в себе огромную силу и обрел способность летать. Одного моего товарища могучим потоком оторвало от меня, смяло, уничтожило. С другим мы мчались вперед. Вначале вместе, держась друг за друга, потом порознь.

Мы мчались сквозь встречный ураган. Он набирал силу и превратился в сплошной поток энергии. Навстречу нам неслась сама первородная, потерявшая форму материя.

Но нам удавалось выбирать более слабые встречные потоки, и мы рвались, рвались через этот ветер-материю, в которую превратился весь окружающий мир.

Все вокруг резко вдруг стихло. Мы лишь вдвоем. Мы выжили. Но в то же время это уже не те прежние мы; мы не люди, а что-то совершенно другое. Тело огромное, нечеткой, неопределенной формы, сливается с окружающей материей и сильное, невероятно сильное.

Разговариваем друг с другом лишь мысленно. Раскрывать рот надобности нет, говорить не о чем. Лишь подавляет ощущение, что с нами произошло что-то страшное и необратимое.

Мир вокруг необычный. Все окрашено в черно-фиолетово-сиреневые тона, с легкой подсветкой красным. Тверди нет. Вокруг все ненадежно, желеобразно. Что с нами? Неужели мы спаслись одни? Да и спасение ли это? К радости примешивается тоска, горечь. Где мы? Кто мы? Что с нами? И чувствуем, что нам уготована вечность. Нам больше ничего не грозит. Мы живы. Но зачем нам эта вечность? Зачем мы нужны самим себе без Земли, без людей, без близких, без всего привычного?

Пытаемся двинуться по тому, что казалось нам твердью,— и проваливаемся в тревожный, черно-сиреневый с красноватой подсветкой туман».

Через неделю Валентин Федорович слег. Аритмия, боли в сердце. Месяц пролежал, стараясь не двигаться и, насколько это возможно,— не волноваться...

...Валентин Федорович лежал и слушал голоса за стеной и окном. Раз будят в первую очередь Ефимыча, не колотятся

в другие окна — значит, это, в основном, его дело. Старался вернуть в нормальное состояние одернутое и подстегнутое тревогой сердце. Слышимость в домах отличная, и можно разобрать любое, даже негромко сказанное слово. Гораздо хуже, когда орут заполошно. Наконец разобрал — горит трансформаторная. Это совсем недалеко, чуть ниже по склону, у дороги.

Выбрался из постели, приткнулся к окну. Наискосок вправо, за деревьями, среди громоздких камней и пачек щитов, видны отсветы пламени. Прикинул, что гореть там особенно нечему, нечего особенно и тушить. Нужно лишь отключить напряжение, и дежурные электрики без посторонней помощи наведут порядок. Это чисто профессиональная работа, дилетантская помощь не потребуется. Нет надобности собираться людям.

Он полушепотом проинформировал о своих выводах жену, уже проснувшуюся и настороженно прислушивающуюся и взглядом отыскивающую свою одежду и обувь. Уже многоопытная, она до времени молчала и не мешала слушать.

— Отбой. Аврала не будет.

Снова забрался под одеяло. Расслабились, но по-прежнему помалкивали, слушали, как идут дела у соседей. Сейчас все зависит от его расторопности. А он, бедный, мечется между одеждой и молчащим, как назло, телефоном.

— Алло! Алло! Да черт бы вас всех побрал... Подохли там все, что ли?

В поселке нет АТС. На телефонной станции дежурная, обязанная соединять с вызываемым номером. Но она отлучилась куда-то или спит. А сосед мечется и психует. Трансформаторная — его очень чувствительное место.

Одевание что-то затянулось. Валентин Федорович, сочувствуя и переживая за соседа, шепотом ворчал:

— Сразу видно, что в армии не служил. Тоже мне мужик! Одеться быстро не может.

Наконец-то слышны знакомые, привычные за сотни зимних ночей звуки: Ефимыч забил ноги в меховые сапоги, стукнул одной дверью, другой дверью и с грохотом скатился с крыльца.

Через пару минут в поселке погас свет, и в морозном воздухе загомонили голоса. Все! Меры по ликвидации очередного, один бог ведает какого по счету, ЧП в поселке Мостовом принимаются.

В квартире общий вздох облегчения: не надо больше переживать и за дело и за Ефимыча, отзывчивого и приятного соседа.

Загомонили голоса и за стеной. Жена Леонида Ефимовича и двое его маленьких детей, до этого тоже напряженно помалкивающие, разом обрели умение говорить. Удар по нервам был слишком сильным, уснуть сразу никому не удается. Нужно выговориться.

А нервничать было отчего... Всего неделю назад весь дом разбудил вот такой же заполошный стук в окна и отчаянный крик «Пожар!». Загорелся в тот раз от неисправной проводки детский сад — самый дорогой и опекаемый объект поселка. Сторож в панике пробежал за помощью. Леонид Ефимович был в Тынде, в командировке. И Валентину Федоровичу пришлось метаться между молчащим телефоном и одеждой. И паниковать. И все же он быстро оказался в детском саду. И вовремя. Отключил рубильник и вместе со сторожихой мокрыми тряпками стали тушить тлеющий линолеум и стены. А в это время Светлана, жена, перебудила половину поселка: всех, от кого на пожаре могла быть хоть какая-то польза.

К счастью, пожар перехватили в самом что ни на есть начале. И все, перездоровавшись и обменявшись фразами, что слава богу на этот раз обошлось, разбрелись досыпать. И странное бы в прежней жизни дело — ни у кого даже не мелькнула мысль подосадовать, что вот, дескать, зря разбудили. Были претензии, но другого рода. На следующий день начальник промбазы, крепкий еще старик-москвич, высказал неудовольствие, что ночью о нем забыли.

— Я что, уже и к поселку никакого отношения не имею?

Его успокаивали.

— Да народ поднимала заполошная учительница. Не строители. А что с бабы возьмешь...

— Ну если уж так,— смягчился старик.— Ей я могу еще простить такое упущение.

Пожары, пожары, пожары...

...Предметом гордости и зависти дальних и близких поселков была в Мостовом

красавица столовая, удостоившаяся даже собственного названия, а не какого-нибудь там номера — «Тайга». Срубленная по проекту архитектора-прибалта, удачно поставленная на полугоре, она как бы объединяла вокруг себя весь поселок. Главным стал считаться перекресток у столовой. Все остальное строительство стали ориентировать от нее. Но так было до одной из мартовских ночей прошлого года.

В середине ночи поселок взбудоражили два мечущихся по улицам «Магируса», истошно ревущих во всю мощь своих клаксонов. «Сдурели они, что ли? — разъяренно подумал Валентин Федорович на грани сна и яви и тут же понял,— да это ж беда!» И дергающимися руками стал хватать одежду и долго, бесконечно долго не мог попасть ногой в извитую штанину. А через минуту уже был на улице.

Два молодых шофера возвращались в поселок с ночной смены и еще издали, с тракта, увидели в окнах столовой багровые отстветы пламени. И рванулись будить народ.

Привычный к ночным тревогам и пожарам, невыспавшийся народ со всех сторон кинулся к столовой. Но было уже поздно: огонь, таившийся до времени под крышей, набрал силу и остановить его было уже невозможно. Пустить трактор, чтобы отсечь обреченную часть здания от еще живой, поопасались — стены столовой раза в три повыше жилых домов, и трактор и тракториста могло срубить рухнувшей кровлей.

Растерянность и обиду за свое бессилие высвечивали на лицах мужиков вырывающиеся наружу языки пламени. Тяжко это для настоящего мужика, когда ждут от него действий, помощи, защиты, пусть даже от ярой стихии, а он морщится, мнется, сжимает и разжимает кулаки.

Но дело, небольшое, но достойное, нашлось: спасать хоть то, что можно спасти. Кидались в пламя и дым... Валентин Федорович ухватил кассовый аппарат, а в другой нырок выволок целый штабель тарелок. Выносили столы, стулья, котлы и ведра.

Но лучше всех смекнул начальник мостового участка, в обычной жизни болтун и ругатель, а на пожаре вдруг обретший малословную деловитость. Он подогнал трактор, зацепил тросом щит из стены кладовой, вырвал его и тем самым спас почти все продукты. Пламя еще только подбиралось к кладовой, бушевало за соседней стенкой, и жаждущий действия народ успел многое сделать.

Кое-что удалось все-таки спасти. Общей добычи хватило, чтобы уже через пару дней открыть котлопункт для холостяков.

Но немало досталось и огню. Женщин и особенно ребятишек, суетящихся вокруг пожарища, до слез огорчило то, что не удалось спасти большие запасы сгущенного молока. Пятилитровые металлические банки в огне взрывались как гранаты, и молоко белыми сосульками повисало на проводах и прихваченных жарой ветках лиственниц.

* * *

Но все это было так — пожарчики, мелкие тренировки перед большим огнем. А в настоящий оборот пожары взяли новых покорителей Сибири на третий год жизни Мостового. Целый месяц пришлось отстаивать уже весь поселок, и промбазу и ближнюю тайгу от огня. Будто бы сам Хозяин здешних мест. Дух и хранитель всей этой тайги, марей и скал, разгневался на пришельцев и в гневе своем хотел их выжечь.

В Сибири часто бывают очень сухие весны, порою за май и июнь не прольется и малого дождика. И тогда слабой искры порой бывает достаточно, чтобы разгорелся истребительный, охватывающий громадные площади пожар. А уж в тех местах, где много пришлого, равнодушного к чужим местам люду, пожары бушуют вовсю. Так уж повелось. Специалисты считают, что ранимой северной природе потребуется сто-двести лет, чтобы на месте обуглившейся плеши появились прежние леса.

Уже в начале мая по поселку поползли опасливые разговоры, что почти по всей трассе полыхают пожары. И не дай бог, если огонь появится где-то вблизи поселка. Опасно это не только домам, но и людям тоже. И вспоминали смутные истории.

А чуть позднее закаты солнца стали

багровыми, угрожающими, горизонт зыбким и мутным. И луна предсказывала неминуемую беду: налитая кровью, она медленно и неотвратимо всплывала на притихшем небосводе.

Полная луна, ее колдовской восход и раньше вызывал в Валентине Федоровиче необъяснимую тревогу, а теперь и вовсе лишил покоя. Был в его прежней деревенской жизни один, можно бы посчитать, забавно-странный случай. Хотя если посмотреть, то не было в этом ничего ни забавного, ни странного.

Деревня, в которой жил Валентин Федорович прежде, стояла на берегу водохранилища, и все местные мужики ездили рыбачить километров за семь-восемь, как раз напротив своей деревни. Однажды в тихую и очень темную ночь Валентин Федорович по своему рыбацкому обычаю не спал, сидел у костра, грел душу и тело, смотрел на колдовской перепляс пламени. Сидел он так, видимо, долго, и когда поднял голову, то обмер от испуга: над не видимой отсюда деревней быстро разрасталось багровое зарево. И охнуло сердце: пожар. Школа! И кинулся криками будить своих товарищей, сталкивать на воду лодку. Но пока судорожно выгребались от берега, налаживались заводить мотор, над деревней выплыл край багровой луны, а потом показалась и вся она, круглая красавица, тревожная, но и уже привычная.

И не раз потом приходилось видеть эту картину, и знать, что произойдет через несколько минут, но всегда, едва только занималось зарево на горизонте, как в нем оживало смутное беспокойство. И не приходило равновесие до тех пор, пока не выплывала во всей своей яви огромная, подкрашенная кровью луна. Пройдут еще минуты, поднимется луна над горизонтом, обретет свой серебряный свет, и тогда совсем все станет на свои места.

Он давно понял, что дальнее зарево всегда вселяет в него тревогу, страх за близких людей. Быть может, был остаток тех давних страхов, полученных от матери и бабушки, когда в годы фашистского нашествия они ночами стояли на пороге украинской хаты и он, шестилетний, слушал их разговоры.

— На нижнем конце горит. Кто же это?

— Нестеренки, кажись. Нет Опанасенки. Или Салы.

Пульсировало зарево за невысокой горой, и тогда гадали масштабнее.

— В Тростянице? Или в Кадыме?

Хлопнут два-три беспорядочных выстрела в ночной тишине, загоношат голоса, и бабушка начинала плакать: опять кто-то не выдержал и пришел из леса погостить домой, а его теперь полицаи ловят.

Иногда Валентину Федоровичу казалось, что в его тревоге при виде зарева что-то от предков, из давних веков. Мы мало знаем себя, свою суть.

Казацкое село, откуда есть и пошел его корень, в давние времена стояло на рубеже с крымчаками. И не раз, как водилось, на село нападали немирные соседи. Нападали ночью, время для грабежей самое подходящее. По обычаю, для лучшей ориентировки, нападающие поджигали скирды соломы, а заодно и соломенные крыши крайних хат. И в сполохах мечущегося пламени шла потная рубка не на жизнь, а на смерть. И каждый бился, чтобы хоть на время, на мгновение приостановить, сдержать врагов, дождаться помощи от соседей.

И держались, и отбивались, и сами скакали с помощью на зарево. И жили дальше.

И гордились собой. И даже московскому царю до самой революции не платили налогов. Кровью расплачивались. И, быть может, потому, думает Валентин Федорович, у меня, их дальнего потомка, зарево требует судорожной необходимости действовать. Руки ищут что-то важное, необходимое, глаза ни на мгновение не отрываются от зарева. Зарево зовет к себе, и тело наливается силой, злой и рисковой удалью...

А после пожара, когда удавалось сдержать огонь, он всегда испытывал чувство облегчения и удовлетворения от хорошо сделанного дела. И ему нравилось быть в толпе таких же как он, еще только приходящих в себя, обмениваться отрывочными фразами и унимать дрожь рук и сердца. И было хорошо уйти из толпы еще не совсем успокоившись и унести с собой часть только что пережитых чувств и ощущение, что прикоснулся к непрерывности жизни и ко всему тому, что накопили для его души предыдущие поколения.

Долгое время лесные пожары гуляли где-то далеко, обходили Мостовой стороной. Но слухи о бедах, обрушившихся на другие места, становились все настойчивее и тревожнее. Поселок затаился в ожидании большой беды. Насторожились даже дети. Исчезла жизнерадостная возня на переменах, ссоры по пустякам, и физрук Слава никак не мог их втянуть в привычные игры.

В учительской затихли пикировки. Острить не хотелось. Разговоры лишь о пожарах. У кого... где... что... особенно потрясающие случаи вспоминала Лариса... Рассказанные ею истории были частенько лубочно-кошмарные... Она просто панически боялась всех этих пожаров. Но зато стала проще, мягче, стала меньше краситься и одеваться без кокетства. И ни на шаг не отходила от своих пятиклашек. С утра их пересчитывала, кормила обедом в буфете и до вечера держала всех в школе или уводила в лес за поселок. Если кто-то не приходил в школу, она тут же бежала к нему домой.

Ее подопечные и предупредили первый набег огня. Где-то в двадцатых числах мая в контору мостоотряда прибежали три девочки-пятиклашки. Они были испуганы, возбуждены, но одновременно их распирало чувство важности сообщения: на задах поселка, в горе, за старым карьером, горит лес!

В конторе никого, кроме заместителя начальника по быту, не было. Да и поселок почти был пуст: все дееспособное население или на работе, или на рыбалке: не так давно вскрылась река ото льда, отменно ловился хариус, и люд, истосковавшийся за бесконечную зиму по живой бегучей воде, не терял времени даром. Пожарная команда оказалась крайне маломощной — четыре женщины и полтора десятка школьниц одиннадцати-двенадцати лет, — но полная отчаянно смелого желания не допустить огонь в поселок.

А чем тушить-то? Вода далеко. Да и все одно: никакая техника в гору по камням не заберется, не на чем воду завезти. Но к тому времени взрослые уже хоть теоретически, но знали: пламя низового пожара можно сбивать ветками кедрового стланика, а в ветках этих недостатка не было.

И ведь не пустили огонь к поселку, и эти малыши стойко держали огненную линию и дождались, когда им на помощь прибежали от реки мальчишки, учителя и другой взрослый народ.

Через три-четыре часа лихой работы, когда стало ясно, что поселку уже ничего не угрожает, ребятишки и учителя, слегка оборванные, слегка подпаленные, перемазанные сажей, очень довольные собой, вернулись в поселок, но расходиться по домам никак не хотели и собрались в школе. Все пережили испуг, а затем и облегчение. А разговоров хватило до самой ночи.

Девчонки-победительницы долго отмывались в школе, привыкая к похвалам и восторгам, щедро хлынувшим на них, а затем понесли свою гордость по домам. Валентин Федорович застал в опустевшей школе лишь троих. На диване в учительской сидела Лариса Васильевна, и под каждой рукой у нее примостилось по девчонке. Обнявшись, они пели что-то наивно-детское и покачивались в такт песне.

Увидев директора, притихли. Да и Валентин Федорович не стремился заговаривать, чувствуя, что своим появлением спугнул особо душевную, застенчивую минуту.

Первой заговорила Лариса, разглядывая окно.

— Я всегда хотела иметь много детей, — сказала и крепко прижала к себе подружек, и девчоночьи носики вдавились в ее грудь.

— Да вам-то кто мешает их иметь? — попытался перейти на легкий тон Валентин Федорович. Но Лариса Васильевна этот тон не приняла.

— Я еще в школе мечтала выйти замуж... Любить своего мужа крепко-крепко и детей нарожать пять или шесть. Красивых, здоровых. Я бы их холила, учила уму-разуму... А получилось... Ничего не получилось. Замуж-то выскочила. Уже на втором курсе. А он оказался дурак дураком. Оболдуй красивый. Только себя и любил. Дети ему не нужны. А я любила его. Ну дождалась, пока от него забеременею, и ушла от него. Бросила...

Девчушки под крыльями Ларисы затаились, затихли, делают вид, что их здесь нет. Валентин Федорович глянул на них, но тоже вроде как бы не заметил — нельзя их сейчас прогнать, помешать Ларисе выговориться — да и пусть слуша-

ют, учатся жизни, ума-разума набираются. Пригодится.

— Сыну моему сейчас девятый год. Хороший, красивенький. В отца-дурака. У моих стариков живет. А я вот здесь. Доли своей ищу. А какая здесь доля. Третий год я здесь. И хоть бы кто серьезно подошел! Все серьезные при семьях. А мне детей успеть родить надо. А моего времени для родов осталось всего ничего — три-пять лет. И то с натяжкой.

Что уж тут говорить Валентину Федоровичу. Он сидел, молчал и так же, как Лариса, смотрел в окно.

— Сейчас, когда эти страшные пожары обступили нас со всех сторон, я так стала бояться за ребятишек. Всех бы их к себе собрала и не отпускала ни на минуту... Сегодня и тушить никак не могла. Они тушат, а я бегаю вдоль линии, смотрю да считаю — все ли здесь...

Это был первый такой пожар, а потом им не было числа. Постепенно приходил и опыт. Если огонь забрался в куст или под колоду, его уже не трогай — тушить бесполезно. Вода нужна, а не ветка-веник. Но от куста, от колоды, огонь отпускать уже нельзя: все, что вспыхнуло, замести назад в очаг огня, создавая между нетронутой тайгой и огнем полосу уже выгоревшего. Действуя таким методом, один человек может сдерживать фронт огня до двадцати, а то до пятидесяти метров.

Вначале сбивается основное пламя, затем отдельные огоньки. И нужно еще долго следить за крошками-искорками, отдельными дымиками, которые неожиданно могут набрать силу. Большой огонь — следует чуть отступить, дать огню съесть что покрупнее, а затем изолировать все горящие валежины (они будут тлеть долго), а так же и большие кусты, где скопилось много сухой травы, листьев и хвои.

Такой способ борьбы выработал особую повадку людей на пожаре, когда кто-то новый подбегал на помощь, он не кидался на первое замеченное пламя, а бежал вдоль редкой цепочки до ее конца, брал посильный участок и отстаивал его. И если— бывало такое — пожар разрастался, то тем, кто подбегал позднее, приходилось иной раз уходить в гору вдоль цепочки на один-два километра.

Работа требовала аккуратности, тщательной обработки границ обгоревшего. А этого-то как раз в первое время и не учитывали. А за ночь таившийся огонь прокрадывался на нетронутые места, набирал силу и уходил в горы, чтобы через неделю вернуться к поселку совсем с другой стороны.

Весной сопки от подножий до вершины покрылись цветущим багульником и обрели удивительный цвет. Но к концу пожаров они стали черными. Слишком горючим материалом был багульник: вспыхивал моментально и в его зарослях огонь был неуправляем.

Еще более опасными были заросли кедрового стланика. Здесь пожар легко превращался в самый опасный всему живому — верховой. Куст стланика вспыхивает как облитый бензином — в одно мгновение. И, если оказаться среди нескольких кустов в тот момент, когда подошел огонь, времени на спасительные пять-десять шагов уже нет. Не успевает порою убежать и сильный крупный зверь.

Многие ребятишки носили на себе следы ожогов, а из учителей самой первой пострадала Клара Генриховна: у нее сильно обгорели волосы и брови. Даже ресницы подпалило.

— Вот незадача, — жаловалась она с неистощимым оптимизмом. — И так каждое утро с трудом брови находила... Но зато теперь рисую их там, где захочу.

Оказалась она около стланикового куста, не заметила, как к нему подобрался огонь, и не успела даже отшатнуться от его взрывной вспышки.

А заросли кедрового стланика были повсюду, они-то и подбрасывали огонь вверх, и тогда он начинал гулять по кронам. И эти верховые пожары не стали катастрофой лишь потому, что тайга в этих местах не сплошная, разорвана каменниками и марями, да и к тому же чаще всего редкостойная.

Однако пищи хватило и низовому огню. В условиях вечной мерзлоты и низких температур весь таежный опад и валежник не гниет десятилетиями, терпеливо копится. И всегда сухой: дождей мало, почти столько же, как в Средней Азии. Здесь не пустыня только лишь потому, что природа копит влагу долгих семь зимних месяцев. Сушь необыкновенная. Свежесрубленные лиственничные

дрова горят как порох. Даже на марях — мерзлотных болотах — верхушки кочек так сухи, что огонь скачет по ним так быстро, что, скорее всего, обгонит бегущего человека. Но об этом узнали не сразу.

Школа стояла на мари, и, когда в июне огонь вплотную подступил к поселку, главную оборону от огня держали лишь со стороны леса. И совсем не беспокоились за тыл, где была марь и небольшое озерко. А огонь каким-то образом оползл сырые берега озера и вдруг кинулся по мари в направлении школы. Старшеклассники заметили опасность, но и на молодых ногах не догнали летучее пламя. К счастью, между школой и огненной лентой пролегла пешеходная дорожка-тротуар, опять же, к счастью, в эти минуты людная, и огонь был приостановлен, и старшеклассники со спортивной и резкой Татьяной Михайловной подоспели. Когда Валентин Федорович, задыхаясь от страха за школу, прибежал к тротуару, там уже дотушивали исходящие сизым дымом остатки досок. Перемазанная сажей, в прожженной юбке, Татьяна Михайловна была в эти минуты необыкновенно хороша. Она потеряла свою обычную сдержанную сухость, раскраснелась, на худощавом, перечерченном черными полосами лице ярко блестели молодые азартные глаза.

— Вот вы какая! — невольно вырвалось у Валентина Федоровича.

— Какая? — с веселым вызовом спросила Татьяна Михайловна.

— Красивая и человечная. Без брони. И считайте, что это не комплимент, а констатация факта.

— Легко быть человечной, когда чувствуешь себя человеком,— сказала Татьяна Михайловна, когда они медленно шли к школе.— Пожалуй, здесь я снова ощутила это утраченное уже чувство.

— Что-то новое от вас слышу,— Валентин Федорович даже приостановился на мгновение.— Вам ли говорить такое. Вам, редкостному работнику, пользующемуся уважением у ребят и в коллективе... Думаю, и в прошлой жизни там, под Ленинградом, вас ценили.

— Ценили. Но только как хорошо работающий автомат. Не более того.

— Не пойму.

— А тут и понимать нечего. Как можно было там мне себя человеком чувствовать, если по чужим углам да закуткам скиталась, никогда своего жилья не имела. Ни своей постели, ни своего стола...

— Да, тут невольно огнепоклонником станешь...

— А вы это о чем?

— Да о том, что за время пожаров я о каждом из вас больше узнал, чем за три года совместной работы. Не зря говорили древние — огонь очищает.

— Как бы этот огонь весь поселок не очистил,— Татьяна Михайловна начала обретать свою прежнюю суть.

В первые недели огненной осады считалось главным не подпустить огонь к поселку, и никто еще не осознавал опасности пожара, отступившего в горы.

Однажды ночью Валентин Федорович проснулся оттого, что на улице разговаривало много людей. И настораживало то, что слышались не только мужские голоса, но женские и даже, уж совсем не по времени, детские. А это необычно, а значит — опасно. Привычно вытолкнул себя из постели — и на улицу.

Оказалось, что опять пожар подступает к поселку. Рабочие бетонного завода, закончив смену в двенадцать ночи, шли домой и увидели, что вершина горы, к которой прилепился поселочек, сплошь в огнях. Тут уж не до отдыха. Тревожная весть перебудила поселок, и вскоре весь народ был уже на улице. Темнота скрадывала расстояние, и было неясно, куда движется огонь: то ли к поселку, то ли от него. Но одно было определенно — границы пожара расширялись.

Около Валентина Федоровича как бы ненароком оказался начальник промбазы, старик москвич, задел рукой и, ни слова не говоря, пошел в сторону конторы. Валентин Федорович сообразил, пошел следом, приметив, что в том же направлении двинулись и начальник мехколонны, и мостового участка, комендант поселка и кто-то еще и еще.

В конторе собралось все поселковое руководство, и сам собою создался штаб по спасению поселка. Во главе — начальник мостоотряда, как и положено.

— Во-первых, надо разобраться, чем это все нам угрожает, чего можно ждать от этого огня...

— Как бы там ни было, а надо ту-

шить, если даже поселку и ничего не угрожает.

— Технику в горы не пошлешь...

— Значит, вручную надо тушить. Вон пятиклассницы и те пал остановили.

Решили все по привычке оперативно и четко. С утра снять одну бригаду со строительства моста, самых молодых и сильных парней. И к каждому взрослому прикрепить по три-четыре мальчишки-старшеклассника. Где смогут — пусть там тушат, но на рожон не лезут. А главная их задача — пошарить по окрестностям, выяснить, куда движется огонь.

На свет в конторе зашел еще кто-то из инженеров, только что ездивший вдоль трассы. Он и рассказал, что вот такие огненные короны на вершинах сопок светятся ночами на протяжении километров в двести пятьдесят. Может быть, и дальше горит, но он дальше не ездил.

— Хорошую же мы землю оставляем тем, кто здесь живет и останется жить... Мертвую зону,— это начальник промбазы сказал.— Мы-то по Москвам да по Киевам разъедемся...

— А мы-то тут при чем?

* * *

Первый по-настоящему серьезный огненный набег сбили вроде легко — огонь посопротивлялся малость и снял осаду поселка, ушел в горы. И думали: даст бог тем и кончится. Но с низовьев реки приплыли братья лесники Миша и Володя, расстроенные и угрюмые. Они спускались по реке километров на двести вниз и тоже всюду, где они были, видели ленты огня, ползущие по склонам сопок. И если в ближайшие дни не пойдут надежные дожди, этот край выгорит на многие сотни верст в округе. Он бы выгорел еще быстрее, но многие реки и речки, широкие ручьи, обширные снежники, все еще сохраняющиеся по северным и западным склонам, не дают огню слиться в единый пожирающий массив. Дождь нужен, многодневный обложной дождь. Но в то время еще никто не знал, что дождей не будет целый месяц.

От водки, предложенной лесникам мостостроевским начальством, братья наотрез отказались, зыркнув сердитыми глазами на подпаленных небритых лицах.

— Лес горит. Не понять вам.

Мужики сдружились с бамовцами давно, с тех пор как высадился в этих краях первый десант. И нашли друг в друге много интересного. Интересного и, главным образом, неизвестного как люди из разных, мало ведомых им прежде миров. Природный юмор братьев, цепкий интерес к жизни и истинно мужское мироощущение и понимание себя в этой жизни привлекли к ним души строителей-первопроходцев.

На эту дружбу немалое влияние оказывали и некоторые взаимные интересы. Миша с Володей любили выпивку. Любую. Но чем занозистее, тем лучше. Бамовцы неохотно тратили деньги на коньяк и водку, завезенную вертолетом не столько для собственного потребления, а для угощения гостей и, в первую очередь, лесников. Потому что они, и только они, могли дать право на рубку леса. А древесины требовалось много, огромная пилорама визжала круглые сутки.

Переговоры высоких сторон о выделении очередной деляны леса всегда шли по одному отработанному сценарию. В котлопункте накрывался стол и выставлялся коньяк. Два-три официальных друга лесников неофициально освобождались от работы и приглашали дорогих гостей к столу. И, делая серьезный вид, сразу же заводили разговор о лесе. Миша и Володя, чувствуя свою значимость, напустив на себя строго-делового туману, доказывали, что существует охранная зона, где рубить нельзя, но они подберут хороший участок всего лишь километрах в пяти от Мостового. С братьями не соглашались, но и не спорили, хотя производственникам впору было взвыть: что такое пять километров, где и сотня метров дается с трудом!

Тогда наливались первые стаканы. Выпив и слегка захмелев, Миша с Володей принимались громко рассуждать о том, что хороший лес есть гораздо ближе к поселку, и хотя он находится в охранной зоне, но далековато от реки и потому его вполне можно пустить под вырубку. После второго щедрого стакана оказывалось, что лес можно брать совсем невдалеке. А после третьего раздавалось великодушное: «А, рубите, где хотите. Леса хватит всем».

Братьев любили за юмор, но слегка и презирали за купеческие замашки с лесом, который им не принадлежал. Ува-

жали за древнее умение жить среди природы, но равными с собой не почитали из-за открытого пристрастия к водке.

Но надо сказать, что за два месяца пожаров Миша и Володя ни разу не выпили и ни разу не ночевали под крышей своего дома. И в Мостовой братья заскочили лишь для того, чтобы запастись бензином да вытребовать у начальства двух-трех помощников—больше в моторки не возьмешь. Как бы там ни было, а братья сумели на расстоянии не одной сотни километров остоять со своими немногочисленными помощниками самый дорогой прибрежный лес, наиболее богатую часть тайги.

Миша мотался по реке, а Володя — на вертолете пожарной авиации над тайгой. И с несколькими пожарниками-десантниками останавливал пожар там, где фронт огня вынужденно сужался — в междуречьях, или междугорьях.

Таежные окрестности и реку мостостроевцы осваивали постепенно и в поисках мест, богатых хариусом и диким луком — возлюбили эти экзотические деликатесы,— уходили все дальше и дальше вверх по реке. И возвращались домой с промысла обычно уже в полной темноте.

Примерно через неделю после того, как в первый раз отбились от наступающего на поселок огня, Валентин Федорович с несколькими учениками-старшеклассниками уже потемну возвращался с дальней рыбалки. Выйдя из-за очередного поворота реки, они вдруг увидели над Мостовым сплошной разлив огня.

— Я не умер от ужаса только потому,— объяснил свое состояние Валентин Федорович,— что знал — в поселке надежные люди, сумеют постоять за себя и за других.

Удочки, пакеты с рыбой и диким луком полетели в кусты, и школьники со своим директором, оскальзываясь на камнях, кинулись к поселку. И только почти добежав до промбазы, поняли, что горят не дома, а заросли кедрового стланика выше по склону. А чуть позднее и разобрались, что огонь движется не к жилью, а растекается по склону вверх.

Оказалось, что это старый пожар, прошлый раз отступивший от поселка, обошел неспешно гору и бросился на Мостовой уже с другой стороны. Где он гулял целую неделю, мостовцы узнали лишь в конце лета, когда пошли за ягодой на знакомые и некогда щедрые брусничники. Брусничников не было. Все окрест было выжжено домертва.

В поселке встретили усталые группки людей, возвращавшихся с пожара. На сегодня — отбились, огонь домам не угрожает, пошел стороной.

Отбились-то отбились, но привычная тревога не оставляла, и после позднего ужина и разговоров Валентин Федорович вышел с женой на крыльцо глянуть перед сном на недавнее близкое пожарище.

На темном склоне горы, там, где уже прошел пал и все было уже потушено, вновь тлели и вспыхивали небольшие огоньки.

— Пойдем, мать,— сказал он Светлане,— наведем порядок. Все равно ведь при таком соседстве не уснуть. Опасно...

Посмотрел на часы: второй час ночи.

Около своротки на большую дорогу встретил Верочку и ее Васю. Рядом с Верочкой и без того могутный Вася казался просто огромным.

— Валентин Федорович, Светлана Александровна, вы что это не спите? Не спится, да? Столько волнений, столько волнений,— ласково затрещала Верочка в своей безостановочной манере.

— Да вот хотим сходить к огням. Края обработать. Беспокойно что-то.

— И мы с вами. Сейчас стоим и думаем: идти не идти. Стоим и смотрим. Уйдем домой — а вдруг там разгорится.

— А дите-то у вас с кем?

— Васина мама приехала. Она приглядывает. Теперь нам легко... И накормит, и постирает...

За время разговора Вася, по обыкновению, не сказал и слова. Да ему и не было нужды говорить: Верочка с этим делом справлялась и одна.

— Ну тогда пошли,— закрыл собрание Валентин Федорович.

Вася с Верочкой работали выше по склону, и отдалились, похоже, изрядно — не слышно стало голосов. Когда Валентин Федорович решил, что пора шабашить, он не стал окликать Васю с Верочкой: посчитают нужным пойти домой, тогда и пойдут. Тушить пожары стало делом привычным и даже будничным. Да и бояться за них не стоит: Вася мужик

надежный, в случае чего не растеряется, а Верочку свою и на руках принесет.

— Или в левом кармане,— сказала Светлана Александровна.

— А почему в левом? — не понял муж.

— Ну в правом, в любом принесет.

Вышли за поселок, пошли вверх по пологому склону, а уже через полкилометра пришлось одолевать каменные крутяки. В этот раз Валентин Федорович впервые понял и увидел, почему даже среди голых скал огонь так долго держится и передвигается, хотя, кроме тонкой корочки лишайников, там вроде и нечему гореть.

Здесь, в скалах, целые колонии мышей-пищух. Живут они в этих местах тысячелетия. Из-за сухости и холода помет не гниет, и накопилось его там целые подушки. Вот они и горят и подолгу тлеют, и огонь нередко уходит под землю, растекаясь по мышиным ходам-переходам, порой возникая на поверхности за десятки метров от того места, где его вчера или сегодня, казалось бы, надежно потушили.

Часа два Валентин Федорович со Светланой ходили по границам пожара, навели вроде порядок: размели таившиеся искры, подозрительные сучки забросили подальше в глубь пожарища. И уже на рассвете вернулись домой, теперь уверенные, что с этой стороны опасность больше не придет. Но через четыре дня огонь все ж добрался до поселка. Обошел очередную гарь и появился близ домов уже со стороны реки. Огонь обнаружил себя еще засветло. А вскоре и в полную мощь.

За предыдущую неделю молодые мужики и старшеклассники вымотались вконец на пожарах, да их в этот день и не было в поселке — все бригады уехали вдоль трассы отстаивать лес, — и потому в сторону поселка потянулись в основном «нестроевые»: пожилые пары, те, кому было положено отсыпаться перед ночной сменой, группки женщин. Никто не бил в набат, никто не организовывал — просто увидели на подступах к поселку пожар и пошли, даже не ожидая других. Дело привычное и неизбежное. Подходили к границе огня, наламывали из веток большой веник и начинали сметать огонь.

Там, где были лишь небольшие беглые огни, дело пошло споро, но местами росли багульник и стланик, и там пришлось некоторым покрутиться до изнеможения, пока не подошел свежий народ.

Вскоре правое крыло пожарища уперлось в старую гарь, и огонь удалось надежно остановить.

На другом конце пожара дела складывались не так хорошо: там пламя буйствовало с прежней силой, и слышались перевозбужденные голоса. Здесь было трудно и откровенно опасно. Людей было мало, а жаркий огонь прорвался в кочкарник, заросший травой, лиственничным подростом, багульником. Справиться с широким разливом огня здесь было невозможно, удавалось лишь чуть сдерживать пожарище, да и то на узком участке. А отступать было нельзя: отсюда огню открывался прямой путь к домам.

Помощь подоспела вовремя. Люди привычно замахали вениками, и где-то после долгого часа изнуряющей работы в горьком чаду огонь ослаб, не получая новой пищи, а затем и совсем скис. Оставалось лишь добить его.

Победа досталась тяжело. Почти всех опалило огнем, все надрывно кашляли от дыма, и все вымотались настолько, что не было сил вернуться в поселок прежней круговой дорогой вдоль горы, побрели напрямую через марь, на свет фонарей. Двинулись обратно, как и пришли сюда, каждый сам по себе. И оказалось, это не дорога, а мука. Вскоре забрели в такую нехоженую марь, в кочкарник, где вода стояла выше колен. А под водою — лед. Утонуть не утонешь и идти сил нет. Холод сверлил кости ног непроходящей болью. Особенно худо было женщинам. И люди потянулись друг к другу, сбились в плотную стаю, ища поддержки друг к друга. Послышались разговоры, подбадривающие шутки. Стало легче и, главное, спокойнее. А то уже кое-кто начал паниковать втихомолку. Этот проклятый километр шли больше часа. Успели в темноте разобраться, кто есть кто. Наконец-то перездоровались. Добровольная пожарная дружина, оказалось, состояла на половину из мальчишек и девчонок, кто с мамами, кто сам по себе. Из мужиков — всего пятеро: директор школы, физрук Слава, пожилой бухгалтер из конторы да двое приехавших, видимо,

совсем недавно и поэтому пока незнакомых.

Потушить-то потушили, да, видно, не хватило сил и умения у «нестроевых» тщательно обработать границы пожара. А к утру затаившийся огонь перебрался на новое место, вновь набрал силу и за полдня проскакал по кочкам марь, по которой брели ночью, и вплотную подступил к поселку. Долина оправдывала свое мрачное название.

Вначале огонь подошел к поселку со стороны бань. Но бани стояли на высокой гравийной подушке, пропитанной водой, и здесь огонь заглох. Но пламя потекло в обход по мари, спалило дощатую дорожку, соединяющую промбазу с поселком, плеснулось дальше.

Огонь сдерживали с трудом, хотя пожарная дружина поселка на этот раз работала в полном составе — все дееспособное население. Кто-то догадался пустить вдоль подступающей линии огня громадный трактор К-700, он и проложил своими колесами двойной сырой окоп поперек мари, и отбиваться от огня стало много легче. Жизнь начала даже баловать мостовцев и позволила беременным женщинам и кормящим матерям перейти в разряд зрителей.

И вдруг раздался общий женский вопль.

— Я впервые убедился, — рассказывал Валентин Федорович, — что когда вопит мужчина, то он тоже вопит на высоких нотах, не выделяясь из женского хора.

Совсем рядом с отсыпкой, на которой стояли дома и, казалось, находятся сейчас в глубоком тылу и полной безопасности, стоял огромный красавец куст кедрового стланика. Его специально оставили здесь как украшение. И вот этот куст без видимых причин полыхнул в одно мгновение, ударив в небо тугим палящим пламенем. И от него тотчас вспыхнула лиственница, стоящая уже на отсыпке. А следом лиственница, стоящая уже между домов. И следом вспыхнула другая.

После первого вопля все затихли, опустили беспомощно руки и завороженно смотрели затем, что творилось в поселке, потеряв способность двигаться и принимать какие-либо решения.

Каждую минуту-две вспыхивала следующая лиственница. И так же быстро минутным факелом она сгорала. Пламя разом охватывало крону и опадало. Но за это время успевали загореться еще одно-два соседних дерева.

Верховой огонь метался среди домов, и никто и ничем не попытался даже препятствовать ему: люди были подавлены всевластием стихии.

К счастью, огонь не смог перескочить через дороги, широко рассекающие поселок, и верховое пламя само по себе сгинуло, обуглив деревья лишь в одном квартале. И самое удивительное: огонь нигде не опустился вниз, не поджег не то что крыши, но даже малой бумажки. Дерево вспыхивало, и мощное пламя образовывало такую тягу воздуха вверх, что на землю, кажется, не упало и искры.

Когда взлетело пламя над последним деревом и опало и новая лиственница уже не занялась огнем, оцепенение кончилось, и те, кто жил в этом квартале, кинулись к своими домам, а оставшиеся в цепи с удвоенным остервенением стали добивать ползущее низом пламя.

Этот пожар хоть и принес много бед, но и снял с поселка угрозу быть сожженным. Пожар сомкнул кольцо гарей вокруг Мостового, и в ближайшей округе просто нечему было гореть. Сопки и мари стояли черными, кладбищенски безжизненными. И лишь Мостовой, временный поселок на большой реке, еще жил.

Но надолго у жителей поселка оставалась привычка выходить с наступлением темноты на улицу, сбиваться около домов в небольшие толпы, принюхиваться к дымному воздуху, вздыхать на огни и зарева, обложившие поселок со всех сторон.

* * *

— Ну что это мы все о грустном да о печальном,— сказал Баир Тумунович своему земляку Валентину Федоровичу.— Давай о веселом. Мостовики нынче ведь к другой реке подадутся. Надоело, поди, жить на гари. Хочется зелени, чистоты. А ты с ними поедешь или в какие другие благословенные места?

— А этот разговор тем более не о веселом. Никуда я со строителями больше не поеду... Да и надоело мне жить по-

цыгански. Уставать начал, года не те.

— Значит, в наши места вернешься и опять директорствовать пойдешь?

— И это отпадает. Не смогу я больше побираться и клянчить. В этом деле я полностью дисквалифицировался. Испортил меня БАМ. Была бы квартира... Но квартиры я за всю жизнь, оказывается, так и не заработал. Остается одно — забиться опять в деревню, рядовым учителем отсидеться до пенсии. И сидеть в деревне тихо-тихо. Потому, что я перестал соображать, что у нас происходит в стране... Здесь, на БАМе, я увидел и понял, как мы еще можем работать. И я больше не вынесу того всеобщего кругового обмана, который там, на материке, все еще называют строительством светлого будущего...

Баир Тумунович грустно и согласно кивал головою.

— Так, все так. Я тебя понимаю.

— Вот у нас недавно в учительской разговор состоялся...

Разговоры «за жизнь» в последнее время в учительской возникали все чаще: как-никак последние месяцы вместе дорабатывали, пора о дальнейшей судьбе подумать. Началось все со вздоха Ларочки.

— А вы знаете, коллеги, боюсь я отсюда уезжать. Как представлю, что придется возвращаться в прежние взаимоотношения — интрижки, сплетни, подсиживания, непонятную вражду — мне дурно становится. Не смогу больше там работать.

— Чего это ты на себя наговариваешь,— удивился Слава.— Ты же умная, пройдошная, со всеми уживешься.

— Эх, Славик, незамутненная твоя душа! Ты даже не знаешь, как тебе повезло, что ты здесь оказался, а не попал сразу в жизнь большой устоявшейся школы где-нибудь там, на материке,— Лариса неопределенно махнул рукой в сторону окна.

— А что в той большой школе страшного? Умей работать и работай до упора.

— Ладно, ты помолчи пока, со временем во всем разберешься,— остановила его Татьяна.— Ты эти годы в Мостовом будешь вспоминать наравне со студенческими, как вечный праздник.

— А ты?

— И я тоже. Но я больше никогда не вернусь в Европу. Буду искать новую стройку.

— А давайте все вместе двинем с мостоотрядом. Мы там себе новую школу за месяц отгрохаем, еще лучше этой,— разом возгорелся Слава.

— Эх, Слава-Славочка, я всегда тебе говорила, что хорошо тебе, глупенький ты,— пропела Лариса.

— Увы, Слава, не получится,— жестко сказала Татьяна.— Мостоотряд школы не имеет. Ее организовывает местное районо. Так что все мы здесь, на БАМе, просто-напросто в командировке. А жизнь каждого из нас теперь будет своя и где-то там, далеко...

— Как это?

— А вот так. Верочка с Васей дом в наследство получили. Летом в свои места подадутся. Хозяйство заведут...

Татьяна перевела взгляд на Ларису, все так же жестковато продолжила.

— Лариса чемоданы покупает. Накопленное складывает.

— А ты, Патрикеевна, куда? — высунулся Слава.

— Далеко,— коротко отрезала Лариса, потеряв вдруг всякую словоохотливость.

— И Валентин Федорович тоже спит и видит свою деревню. Горы, видите ли, ему надоели. Вот дождется окончания трудового договора и удерет в свой прежний район. И Лидия Васильевна бросает своего мужа-пьяницу и уезжает домой.

— Значит, все разбегаются,— расстроился Слава.— А мы с Галей куда?

— А у меня для тебя, Слава, план есть,— Татьяна побеждающе улыбнулась.— Бери где-нибудь на стройке директорство новой школой. Ты молодой, да ранний. А я к тебе завучем пойду. Такого из тебя директора сделаем... Еще и прославишься. Характера у тебя хватит.

Задумался Слава, хорошо задумался. Заглянул в будущее, и оно ему понравилось. «Молодец Татьяна,— мысленно похвалил ее Валентин Федорович.— Хорошее ты зернышко заронила. Слава, думается это зернышко не потеряет, вырастит. Будет он директором. И не плохим. Если, конечно, жизнь где-нибудь подножку не сделает. Но трудно будет учителям с этим директором, ой как трудно. Слава

себя в работе не щадит и другим спуску не даст».

— Да-а... Кончается поселок, кончается школа... И никому мы в прежнем составе не нужны,— подвела итог разговора безжалостная Татьяна.— И разберет нас жизнь поштучно, и пристроит кого куда.

Все выслушал молча Валентин Федорович, и каждое сказанное слово отвечало его печали. Ничьей судьбой не стал БАМ. У каждого — лишь эпизод. У кого больший, у кого меньший.

— Жалеешь эти годы? — спросил Баир Тумунович.

— Как жалеть? Но все во мне сейчас кипит-мучается. Мост мы построили — хорошо. Есть теперь мост. Но на сотни верст тайгу пожгли-порушили. Работать научились, человеческому общению научились, сдружились, а стали никому ненужными...

Помолчали. Никак о веселом разговор не клеился, о печалях только. Но благо — время подошло в клуб идти, на торжественное собрание.

Перед собранием у клуба чуть было не организовалась драчка: местным парням не понравилось внимание приезжих парней к их девушкам. Миниатюрные юкжинцы по-петушиному наскакивали на рослых мостостроителей, но те драки не принимали, лишь отпихивались от ревнивцев, хотя по всему было видно, что кулаки у них чесались.

Торжественное собрание началось поздно, часов в восемь. Как и везде по стране: с президиумом, графином воды, речами с трибуны, аплодисментами по случаю и просто во время пауз — по привычке.

Самое запоминающееся выступление с красной трибуны — краткая речь старика пастуха. Когда выступили все штатные ораторы и спросили в зал, есть ли желающие выступить, поднял руку усохший мужичок с морщинистым лицом и, не дожидаясь приглашения, пошел к трибуне. И он высказал выношенную за день обиду.

— Везде блат. Я только сёдни пришел из тайги. Вся молодежь пьяная по деревне гуляет. А в магазине спирту и водки, говорят, нету. Я прошу продать, а надо мной смеются. И я как дурак весь день трезвый хожу. Почему так?

...Мостовцы и юкжинцы сидели в одном зале, слушали одни речи, но заботы и думы у них были свои. Их жизни волею судьбы пересеклись ненадолго и скоро разойдутся. Мостовики уйдут дальше, и о них будет напоминать большой мост через большую реку и большие гари вдоль трассы. А пастухи уже завтра-послезавтра уйдут по древним дорогам-путикам, особым дорогам, живущим только зимой. Путики ведут прямиком через болота, через реки, озера, через каменистую, скальную тайгу к далеким, еще не выгоревшим оленьим пастбищам. Ширина путика только для нарт да пары оленей, которые бегут так плотно, что истирают бока друг другу.

Альберт Семенович Гурулев родился в 1934 году на Дальнем Востоке. Закончил филологическое отделение Иркутского университета. Автор книг «Росстань», «Осенний светлый день», «Дом на своей земле» и других. Член Союза писателей СССР.

Валентин Федорович Саленко родился в 1936 году на Украине, но детство его прошло в Сибири. Закончил географический факультет Иркутского университета. Работал в школах Иркутской области и на БАМе. Ныне — заведующий отделом народного образования Братского райисполкома.

Валерий АЛЕКСЕЕВ

МЕНЯЕТСЯ КРУТО ПОГОДА

□ □ □

Меняется круто погода,
и дело, как видно, к зиме,
а я уже целых полгода
сижу на Лубянке в тюрьме.
Виновным себя не считаю,
но шансы у правды плохи.
Я «Домби и сына» читаю,
в уме сочиняю стихи.
Со мною вступают в беседу,
деля табачок в перекур,
японский полковник Маеда
и рыжий эсэсовец Курт.
Снежок за решеткою валит,
и день, не начавшись, померк...
Один мне Японию хвалит,
другой — свой родной Виттенберг.
Я тоже Россию не хаю,
о сталинском иге — молчок.
Чего же весь день вертухаи
за мной наблюдают в волчок.
Как будто я им чужеземец,
их так воспитали давно:
для них, что японец, что немец,
что русский Иван, все равно.
Я строить дорогу уеду,
но, бросив кайло в перекур,
я вспомню японца Маеду
и немца по имени Курт.

Там было много брата нашего.
Что говорить о мелочах?!
Со мною будущие маршалы
таскали бревна на плечах.
Там живописцы и ваятели,
что знали славу и почет,
и знаменитые писатели
со мной делили табачок.
Там все мы жить учились заново.
Не думал я и не гадал,
но как-то раз саму Русланову
на клубной сцене увидал.
И генералы, и ученые,
и все начальство, ё-мое,
и рядовые заключенные
внимали голосу ее.
Забыв дела лесоповальные,
я, сгорбясь, у стены стоял
и слушал песенку про валенки,
весь срок в которых щеголял.

АННА АХМАТОВА

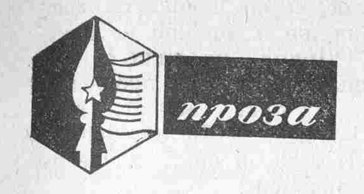
Таким я вижу облик ваш и взгляд.
Б. Пастернак

В неброском, строгом одеянье,
ни в чем пред миром не грешна,
она с портрета Модильяни,
как будто нехотя, сошла.
Стихи с листа читала ровно,
но строчки, вспыхнув, душу жгли...
У губ ее, почти бескровных,
морщинки горькие легли.

И, весь дрожа как лист осиновый,
я слушал в гулкой тишине
слова святые о России,
о мужестве и о войне.
Я шел за Анной в Летний сад,
где старый дуб звенел листвою.
Касаясь туч, аэростат
покачивался над Невою.
Дышал в лицо мне ветер ада,
горела церковь и вокзал...
И дальнобойные снаряды
Колонный сотрясали зал.
...Ей Петергоф в блокадной тьме
на миг напомнил о Растрелли...
О том, что муж давно расстрелян,
а сын чуть не погиб в тюрьме.
Хоть были горе и нужда,
ей, знавшей Брюсова и Блока,
вражда людей была чужда,
как в праздник кухонная склока.
Не зря весь зал, что было сил,
как я, в ладоши хлопал бурно...
Какой-то дипломат просил
прочесть «Стихи о Петербурге».
Но Анна, стопочкой листов
накрыв последнюю страницу,
молчала, опершись о стол
державно, как императрица.

□ □ □

Скупы спецкоров донесения,
но бьют под сердце, как ножи.
Сломали церковь Вознесения,
на грани гибели Кижи.
Лежит мечта в кирпичном крошеве...
Да неужель, в конце концов,
не учат нас уроки прошлого
беречь наследие отцов?!
Рука безбожника скаженного
свершила тьму неправых дел,
и храм Василия Блаженного
в столице чудом уцелел.
Дай волю — шустрые новаторы
погубят лавры и Кижи.
Я видел церкви-элеваторы,
я видел храмы-гаражи.
Под маской блага скрыв коварство
пуская церкви на дрова,
подтачивает государство
Иван,
не помнящий родства.



Федор БОРОВСКИЙ

ЦИЦИНАТЕЛА

*Повесть**

Я довольно быстро устал от смеха и успокоился, а Црину успокоить все равно было невозможно, он всегда такой. Из него лилось и лилось, без всякой связи и последовательности, на крике, в полный голос, аж в ушах звенит — и как он только не устает, как у него глотка выдерживает, тут и слушать-то чумеешь. И останавливать без толку, потому что он иначе не умеет. Полдня его не слышал и уже отвык, и уже не удавалось пропускать мимо ушей весь этот словесный поток вместе с голосом, вылавливая лишь редкие крупицы полезного смысла. Почему-то вся его болтовня сегодня застревала в ушах, мешала сосредоточиться, хоть и не на чем было. А может, потому и мешала, что не на чем... И о том, что Манучару Коркия до него, до Црипы, то есть как до неба, он ведь ноги гнет и руки гнет — а голову не гнет? — и голову гнет, он все гнет, что гнется, и сгиб-перегиб, соскок-перескок, и, вообще, он никогда бы у Црипы не выиграл, хоть пусть сто лет на турнике сидит или висит, если бы не подсунул не тот тальк, и что хорошо бы этих персиков деду Акакию отнести, говорят, он их любит, но не долежат — еще целая неделя до занятий, впрочем, можно выбрать твердые, хотя нет, зачем ему твердые, если полный базар мягких, твердые это не то, да и есть ли там твердые, нас же дед Дато послал, а если дед послал, то твердых может и не оказаться, да и станет ли Акакий их вообще есть, с кладбища-то, и что папа Карло́, оказывается, тезка другому папе Карло, из книжки, который сделал деревянную куклу и пустил ее гулять и даже хотел в школу отдать, вот глупость-то, но тот папа Карло, совсем не наш папа Карло, потому что наш папа Карло — настоящий папа Карло, а тот папа Карло... Уфф! Папа Карло, не папа Карло, а не папа Карло, папа Карло...

— Буратино! — вдруг озарило меня, и я задохнулся от хохота, потому что если бы Црипа не был Црипой, то теперь бы стал Буратино, совершенно точно. Даже и не сказать, что лучше, Црипа или Буратино. А всего лучше — Црипа-Буратино или Буратино-Црипа, но не выйдет, слишком длинно.

— Что, что! — Црипа подпрыгнул и впился в меня горящим взглядом и сразу все понял — догадливый, чертяка. — Сам ты Буратино! Понял? Сам, сам!.. Драться хочешь? Сейчас я тебе покажу Буратино!

Я совсем скис, потому что в гневе Црипа стал похож на Буратино еще больше. И не миновать бы нам драки — у Црипы путь от гнева до драки короче воробьиного носа, — да не вышло, и я даже не могу сказать, к лучшему ли. Может быть, лучше как раз и было нам разодраться, и тогда не случилось бы того дурацкого спора и всего, что из него вышло. Наверное, что-то все равно бы случилось, а что-то, может, и нет, но ме-

---

* Окончание. Начало см. «Сибирь», 1989, № 3.

ня всю жизнь гложет тайная мысль, что не случилось бы ничего.

Вдруг ударило в сердце, я замер, замолк, и Црипа пропал куда-то растаял в воздухе вместе со своим голосом и гневом. Над кустом сирени, в разрыве между деревьями плыла на фоне неба голова деда Дато. Только без бороды. Если можно вдруг увидеть деда молодым, то это он. Это его горбоносый сумрачно-печальный профиль склонился к земле, в венке на вьющихся, до плеч волосах. Он плыл между струящейся листвой, на фоне неба, на фоне ослепительной синевы и ослепительной белизны мягко-округлых, пузатых облаков. Или, может, это они плыли вокруг него и позади него — небо, облака, деревья. В узком пространстве деревья были как берега головокружительно глубокого ущелья, а на дне ущелья, поперек текла стремительно и плавно небесная река, волоча как пену клочья облаков. И голова казалась камнем в этом потоке, а... Да нет, не знаю... Дато! Дед Дато! Голова молодого деда Дато в венке!

— Ага! — вдруг ворвался в уши и в мозг Црипин пронзительный, издевательски-торжествующий крик.

Я посмотрел в его сторону и снова увидел. Он прыгал, вертелся, кривлялся. Чему это он радуется? Я не вдруг сообразил.

— Ага! — орал Црипа. — Струсил! Ага, боишься!..

Я тупо смотрел на него. На него и на голову. На голову и на него. Откуда тут взялся дед Дато? Да еще и молодой. Он что, как в сказке? Может молодеть и опять стареть? Или он насовсем помолодел? Колдун, что ли, настоящий колдун?

— Струсил! Струсил!.. — орал Црипа и тыкал в меня указательными пальцами обеих рук сразу.

Да чего я струсил-то? Взбесился он или как? И вдруг стыдом вспыхнули уши, щеки, шея, даже спину свело. Я опять замер, теперь уже от стыда, боясь расплескать, выпустить его наружу, бог знает чем он может вылиться, а вдруг — слезами. Да это же ангел, эй! Тот самый ангел, «Ангел смерти Азраил»! И так вышло, что я вроде и на самом деле испугался, струсил. А вот и нет, врешь. Просто он на деда Дато похож. Тот же самый горбатый нос, тот же самый высокий отвесный лоб, те же вьющиеся волосы до плеч. Как же я раньше не замечал и почему Црипа не видит? Или опять померещилось? И стыд прошел. А может Црипа и прав, может, я и в самом деле испугался. Да ну, чепуха, чушь собачья. И чего он орет, лучше бы поглядел внимательней.

— Да брось ты, — сказал я с досадой, — ничего я не струсил.

Я чуть было не ляпнул, что просто углядел сходство этого ангела с дедом Дато, да вовремя прикусил язык. Црипе только дайся. А вдруг он этого не увидит? А вдруг и впрямь померещилось? Раззвонит на весь белый свет, потом не отбрешешься.

— Струсил! Струсил! — орал Црипа и прыгал, забыв обо мне в самозабвенном упоении.

Вот, ей-богу, останови его, так он и не вспомнит, кто струсил и чего струсил. Только его не остановишь. Он как заводная лягушка: ее прижмешь, а она все равно жужжит и дрыгает ногами.

— Ничего я не струсил! — повысил я голос.

— Струсил! Струсил!...

— Сам ты струсил!

— А если не струсил, ночью пойдешь?

— Да хоть сто раз! Подумаешь! Хоть всю ночь могу просидеть!

— А вот и врешь, а вот и не можешь!

— А вот и могу!

— А вот и не пойдешь!

— А вот и пойду!

— А вот и струсишь!

— А вот и не струшу!

— Спорим?..

Вот и все. Влип. По уши, что называется. Даже — по самую макушку. Чего уж там. Потянулся, как баран на веревочке, куда повели. И такая досада взяла, что даже плюнул со злости. Вот дурак так дурак. И чего было связываться-то! И так ведь всем известно, что могу пойти и просидеть, и он знает, и я знаю, и никаких в том нет сомнений ни у него, ни у меня, ни у кого бы то ни было. Просто купил за медный грош, и теперь хохоту будет и звону на всю школу, пойду я или не пойду. Да чтоб ты сгорел, микроб несчастный. Тьфу!... Хорошо хоть выторговал себе время до

понедельника, когда мама уйдет в ночную смену, чтобы не напугать ее — упаси боже! — среди ночи. А то потом мы всем нашим кагалом костей не соберем. Уж какой дядя Димитрий ни добрый, а и он по маминой просьбе Црипу выдерет как сидорову козу, это совершенно точно. Мама вообще редко кого-нибудь о чем-нибудь просит, даже в сорок третьем году, когда заболела, и мы только чудом с голоду не окочурились. Какой нам тогда соседки скандал учинили, когда разобрались, да только что ж сделаешь, коли она такая. И все это знают. И уж если она просит, то делают, даже против воли. Ругаются, а делают. И дядя Димитрий сделает, он маму знает. У меня было ужасное искушение взять да и подвести Црипу под первую в жизни порку. Пусть и мне достанется, но я-то ничего, я не то чтоб привычный, но случалось, готов ко всему. А вот Црипе каково будет — в первый-то раз! Эх, и позлорадствовал бы я... Но я подавил в себе это недостойное желание, похоронил в душе, потому что и признал недостойным. Тонешь, так тони, а друзей не топи.

VII

Ночь в понедельник выдалась облачная, душная. Густой влажный воздух лип к телу, копился на коже каплями и щекотно стекал по спине — то ли вода, то ли пот. Я лизнул руку, было солоно, но не очень, не поймешь. Надо идти, пора. Я укрыл брата простынею, которую он сбросил во сне, постоял посреди комнаты, слушая, как расхлябанно тикают во тьме ходики, и бесшумно выскользнул за дверь. Специально шарниры дверные смазал, чтобы не скрипели, касторки в них налил. К счастью, у шарниров от касторки поноса не бывает. На улице стояла тяжелая непроглядная тьма. Ни огонька, ни проблеска, все давно спят, у нас рано ложатся. Только вдоль железки тускло горят редкие фонари, но их свет вязнет в загустевшем мраке, стоит колоколом вокруг столба, лишь небольшой кусочек рельса, попавший в этот колокол, поблескивает издалека таинственным металлическим отблеском. Наверху, в черноте, у которой нет ни границ, ни очертаний, копятся и копятся облака, невидимые, но ощутимо тяжелые. Они спрессовали воздух в густую вязкую массу, выжимают из него воду, как из губки, и она катится по телу солоноватыми каплями. Может, это все ж пот? Я чувствую, как облака толпятся наверху, тяжелеют и тяжелеют, поднимают друг друга, проглатывают, клубятся медленными космaтыми вихрями и прижимаются, прижимаются к земле, словно и ее хотят проглотить. Дождь будет, что ли? Я даже и не знаю, хорошо это или плохо. С одной стороны, конечно, можно вернуться — дождь же. А с другой стороны, все равно нужно идти, никому ведь не докажешь, что дождя испугался, а не этого проклятого Азраила. Или деда Дато. Ладно, идти надо.

Впрочем, я и так уже давно иду, вернее, бреду или нет — крадусь. Осторожно щупаю землю, прежде чем ступить,— шаг, еще шаг, еще шаг... Ночная улица вдруг стала неузнаваемой: все бугры повырастали, все ямы и рытвины поуглубились, все камни пораспухали. Иногда я спотыкаюсь, глухой топот моих собственных ног устрашающе громыхает во тьме, как набат. Мне хочется выругаться, чертыхнуться, закричать что-нибудь громкое и издевательское. Над кем? А над всеми. Над собой, над Црипой, над людьми, которые спят себе за темными невидимыми окнами, над самой глухою мрачною тишиной. Или заплакать. Но я не плачу, не ругаюсь, не кричу. Я почему-то стараюсь идти как можно бесшумней, даже дыханье задерживаю, и оттого оно иногда прорывается сильным шумным вздохом. Если остановиться и послушать, то можно услышать, как стучит в груди неспокойное сердце, как зудят во тьме опалелые преддождевые комары. И какие-то из них малярийные. Ладно, не страшно — одна малярия у меня уже есть, другой не будет. Да я и вообще сейчас ничего не боюсь. Подумаешь! Эка невидаль — кладбище. Просто темно очень. И тихо. И вообще — дурак я, дурак...

Нет, не тихо. Комары зудят. Да нет, не комары это — рельсы. Сейчас поезд пройдет, точно. Днем этот рельсовый гуд редко услышишь, днем шумно, да и некогда слушать. А сейчас он нарастает неощутимо плавно и быстро. Ффу-у!.. Судорожный вздох вырывается из моей груди, я улыбаюсь неудержимо, улыбаюсь против воли, независимо от желания. Гу-

бы сами раздвигаются, растягиваются до ушей — а хорошо-то как! Я не один в этой глухой черной ночи, вот сейчас поезд придет, и я помашу ему рукой. Подолом майки я утираю лицо и ложусь ничком, прижавшись ухом к рельсу. В рельсе гуд слышнее, это уже не гуд, он распадается на отдельные ритмичные стуки, иногда эти стуки рассыпаются вдруг беспорядочной скороговоркой, а иногда сливаются в быстрые, четкие, сильные удары. Рельс вздрагивает все ощутимей, сильней, стуки все громче: в нем бьется, нарастает, стремится вырваться наружу загадочная тайная жизнь...

Поезд! Он тускло светит вдали, слабенькие лобовые огни разгораются, раскаляются, набирают силу, и вот он прорвался сквозь тьму в торжествующем грохоте колес, в реве и свисте разорванного в клочья воздуха, в клубах дыма и снопах искр из огнедышащей трубы, в кислом запахе паровозной гари. Мелькнул в освещенной будке свесившийся из окна машинист — что он там высматривает впереди? — и покатились, замелькали вагоны, вагоны, вагоны и тусклые фонари на тормозных площадках — товарняк. А что, тоже хорошо. Здравствуй, товарняк! Счастливого тебе пути. Вези свои товары туда, где тебя ждут — ты тоже жизнь: яркая, быстрая, сильная. Кати и не бойся. Я помахал ему вслед, вслед слабому фонарю на задней куцей тормозной площадке, вслед охраннику, скучно дремавшему под фонарем, опершись о винтовку, помахал и побежал через дорогу к кладбищенским воротам.

Они стояли открыты, они вообще никогда не закрывались, да и были, по-моему, совершенно ни к чему. Ну, кто, скажите на милость, полезет на кладбище среди ночи. Кроме, конечно, такого дурака, как я. Но от меня закрываться все равно бесполезно: сделай ворота и стену хоть до неба, так я под низ подроюсь. Подземный ход на кладбище, ничего себе! Тайна заколдованного кладбища... А если оно и впрямь заколдованное? Днем ничего, а на ночь его заколдовывает дежурный колдун. Ангел смерти, тот самый Азраил, которого я не боюсь. Сходит в полночь со своего пьедестала и идет по кладбищу мерным каменным шагом. Бьют часы — бомм... бомм...— полночь; идет статуя — тумм... тумм... Или нет, это дед Дато заколдовывает. Азраил злой колдун, а дед Дато — добрый. И у них война. И дед Дато победил. И поэтому статуя стала похожа на деда Дато. Или дед Дато только днем побеждает, а ночью статуя?

Тумм... тумм... Тяжелые удары сотрясают воздух и землю подо мною. Тумм... тумм... Я обмер, вытянув шею. Даже дыхание остановилось. Тумм... тумм... Вставайте,мертвецы, хватайте его! И шевелятся, качаются кресты, кресты и обелиски, гудит, шуршит, расступается земля на могилах... Тьфу дурак! Да это ж в ушах у меня шумит, кровь колотится в висках, сердце стучит. Тумм.. тумм... Вот балда-то! Ладно, вперед.

Я сглатываю слюну, и стихают удары, стихает шум. Снова тишина, даже листья не шелохнутся, не прошуршат, даже сонная пичуга не пискнет в кустах. Я иду и натыкаюсь на ограду. Пощупал, пошарил по ней — нет, не узнаю. Иду дальше, путаюсь в тропинках, натыкаюсь на кусты, ограды, деревья и ничего не могу узнать. Ни одной могилы не узнал, ни одного куста, ни одного дерева. Не могу отличить сирени от жасмина, яблоню от сливы — темнота, мрак, собственную руку возле самого носа не видать. Где я? Где статуя? Как давно я блуждаю в этой преисподней, в душном сыром мраке, в неподвижной густой тишине?

Я сажусь на землю посреди тропы и обхватываю руками колени. Что делать? Продолжать искать? А может, этой статуи и нет на месте. Может, я как раз там и сижу, где она должна стоять. А она взлетела под самые небеса, и это не тучи клубятся наверху, а ее гигантские крылья распростерлись над миром. Они заслонили звезды, месяц, все небо специально, чтобы меня с толку сбить. Узнала, что собираюсь к ней прийти, и улетела, а теперь смотрит сверху и злорадно ухмыляется. А я даже не знаю, как отсюда выбраться, я не знаю, куда идти, заблудился во тьме. Может, мне теперь всю жизнь суждено плутать здесь между могилами. Да нет, не всю жизнь, а всю ночь. Если она, конечно, когда-нибудь кончится. Невозможно себе представить, что бывает день, солнце, свет. Даже поезд, который я видел недавно — или давно? — невозможно ни представить, ни вспомнить. А был ли он? Или всегда бы-

ли только эти тишина, темнота, только ночь без конца и одиночество. Примерещилось?

Я судорожно вздыхаю и встаю. Ладно, идти надо. Все равно куда, куда-нибудь да выйду, не такое уж оно большое, это кладбище. Но я и сам себе не верю. Большое. Огромное. Оно выросло этой ночью до невероятных размеров, может, во всю землю. Заколдованное кладбище. В него можно войти, но нельзя выйти. Я бреду дальше, неизвестно куда, может, и обратно. Брел, брел и через несколько шагов влетел в куст. Да чтоб тебя!.. В кусте вдруг что-то взорвалось — стреляющий быстрый трепет и писк, оглушительное хлопанье прямо в лицо. Я отшатнулся и шлепнулся на спину, в панике попытался вскочить и снова шлепнулся. И слава богу. А то бы побежал без оглядки, потеряв голову и память — просто сердце оборвалось. Это же птица! Какую-то птицу, птичку вспугнул в кусте, и она рванулась спросонок, напуганная, наверное, еще больше меня. Она в одну сторону, я в другую. Смешно? Я и в самом деле захихикал судорожно, все сильнее и сильнее, потом меня хохот разобрал, я хохотал и хохотал и никак не мог остановиться. Катался по земле, колотя по ней руками и ногами, и все хохотал, и в землю, и в траву, и в небо, в душный тяжелый мрак вокруг, из моих глаз от хохота текли слезы. Посмотрите на него, люди, нет, вы только посмотрите на него — от птички побежал!

И не смешно мне было нисколько, если разобраться, и голос сел, а все равно рвалось, с силой, с напряжением, с болью, как судорога. И когда меня, наконец, отпустило, то болело все лицо, и живот, и мышцы груди, и даже руки и ноги. Во рту было горько, он был полон травы, и я сообразил, что рвал ее зубами, когда катался по земле. Тьфу ты!.. Я долго отплевывался, потом перестал. Горечь во рту была, пожалуй, приятна, хотя, может быть, и нет, не удавалось разобраться. Я как-то сразу успокоился. Вместе со смехом из меня улетучились и напряжение, и чувство заброшенного одиночества, и страх. Да-да — страх. Я вдруг понял, что трусил все это время: пока бродил, пока плутал, даже когда стоял посреди комнаты и слушал разболтанный стук допотопных ходиков. Может быть, и все эти дни после спора. Трусил, конечно. А иначе, с чего бы это мне не узнавать свою собственную улицу, с чего бы так радоваться поезду, которые надоели со своим грохотом, свистом и вонью. С чего бы, спрашивается, мне заблудиться на кладбище. Моими ногами здесь тысячи раз истоптаны все тропинки, да я сам и тропил их, тропил вместе с ребятами, потому что, кроме нас, здесь никто не ходил так часто, чтобы оставить тропы. Если бы я не трусил, то на ощупь, в любой тьме узнал бы следы своих собственных пяток.

Я теперь знал, где нахожусь. Само собой так вышло — знал, да и все. Для этого только и нужно было — успокоиться. Для проверки я сошел с тропы и через два шага наткнулся на ограду. Она самая. Перегнулся через чугунные копья — там должен был стоять низкий мраморный крест с завитушками на концах — и сразу же ощутил под пальцами шершавую прохладу старого камня. Да тут и статуя рядом. Если бы не было так темно, я бы уже увидел этого ангела. Поразительно, как это я ухитрился к нему так точно выйти. Нюхом? Ведь, в общем-то, даже и не соображал, куда иду. Эка скрутило. Я повеселел, попытался свистнуть, да, слава богу, не вышло, губы не слушались, устали от хохота. На кладбище свистеть, вот балда-то! Прошел спокойно несколько шагов — ну да, тут, а где же еще, вот торчит посреди тропы тысячи раз ощупанный ногами, отшлифованный временем булыжник, а сразу за ним два толстых корня пересекают дорогу — тут справа старая черешня, это ее корни. Выкопать его надо будет, булыжник-то, не дело ему здесь торчать. Даже и не зацепившись и не потревожив листьев, я обошел сиреневый куст — а вдруг и там птица какая-нибудь спит, чего ее пугать,— перелез через ограду и почти сразу же уткнулся руками в гладкий камень: складки каменной хламиды, рука с оливковой ветвью, рябь перьев на крыльях. Тут, туточки, родимый, никуда ты не делся, да и деться не мог, не умеешь ты летать, каменные у тебя крылья. Разве что кто-нибудь отобьет кусочек да запустит в небо из рогатки, а всего швырять — уж больно ты тяжел, никто связываться не захочет. Да еще если на голову кому-нибудь упадешь, так в ле-

пешку раздавишь. Стой, где стоишь.

Ну ладно, а теперь что делать? Что ли, тут и сидеть под этой статуей и ждать утра? Так скучища же смертная. Не страшно, не холодно и вообще — не трудно. Просто скучно. Сидеть тут и таращиться во тьму. Ну, что, в самом деле, хоть бы страшно было, и то веселее: сидел бы и дрожал, и мерещились бы всякие жуткие страхи, вроде летающих ангелов и их огромных, накрывших всю землю крыльев. Какое там! Какие крылья, какое волшебство? Нету никакого волшебства, сказки все это. И никаких крыльев нету, вернее, крылья-то есть, но только не у ангелов. То есть они и у ангелов есть, но только самих ангелов нету, это тоже сказки, как и волшебство. Вот он стоит за моей спиной, каменный истукан, и еще меньше живой, чем та женщина, чьи останки он охраняет. От нее хоть имя сохранилось, живое и совершенно у женщины неожиданное: Георгия. Георгия Исааковна Джохадзе. Таких имен у женщин не бывает, это мужское имя — Георгий, но вот написано, и, значит, было и осталось, и будет жить, потому что остались на свете ее дети, или внуки, или правнуки. Осталась память. А какая может быть память у камня? Хоть тысячу лет стой. Даже имя его — не его. И оно придумано, как и он сам. Взять здоровенную колотушку, которой железнодорожники костыли в шпалы заколачивают, трахнуть по нему, и останется груда осколков, у которых, в отличие от Георгии Исааковны Джохадзе, даже и имени не будет, даже названия, не говоря уж о памяти. А почему он, интересно, на деда Дато похож? Если, конечно, похож. Эх ты, даже и не проверил с перепугу, не пошел, не посмотрел. Вообще на кладбище не заглянул, к деду Дато, скажем. Неужто сходства испугался? Может, тот человек, который высекал этот памятник, просто знал деда Дато в молодости и специально сделал памятник похожим на него, вот и все. Можно было взять и деда спросить, проще простого. Завтра так и сделаю.

Спать хочется... Я вспомнил нашу просторную и горячую, одну на двоих с братом, уютную кровать под стареньким, довоенным еще, ситцевым пологом, и так потянуло домой: лечь, вытянуться, закрыть глаза... Я зевнул сильно, сладко, даже за ушами захрустело. Лечь, что ли, да уснуть прямо здесь? Да ну, ерунда. А вдруг дождь пойдет? Вымокнешь, как дурак, а чего ради. Теперь уже не для чего. Пустое все это. Пусть Црипа орет, что хочет, плечами пожать, да и все. Пойду я. Ну, дам небольшого кругаля, похожу между могилами, проверяя память и ориентировку, загляну в сторожку. Постою, посмотрю, пожелаю деду Дато легких снов. А оттуда домой. Ну, вперед.

Но домой я попал нескоро и не так, как хотел.

В сторожке у деда Дато горел свет. Среди ночи-то! Дед рано ложился, с сумерками, и рано вставал. Никто никогда не мог застать его спящим по утрам, даже если и приходил затемно. Когда ни придешь, уже открыта дверь, уже сидит он на крылечке, сложив на коленях руки, прямой, как гренадер, и смотрит в пространство. Что он там, интересно, видит? Кто является ему или — что является? Так смотрят в книгу. Или это пространство и есть его книга? Тогда на чем она написана, на каком языке, какими красками, какими буквами, почему мы ее не видим? Никогда он света ночами не жег, никогда ничего не читал, и те древние книги мы только раз видели у него в руках — когда его выселяли. Интересно, а давно ли у него свет горит? Когда я шел туда, на кладбище, он горел или не горел? Я ведь должен был видеть, сторожка от ворот как на ладони. Ммда... От страху даже зрение отшибло, ослеп, словно ночная курица, не удивительно, что заблудился.

Тусклый огонек среди листьев был далек и холодно загадочен, как в разбойничьем лесу,— и манил человеческим теплом, и пугал человеческой загадкой, неясной тайной спрятанного замысла. Кто он, этот человек у огня? Мирный поселянин или злой разбойник? Друг или враг? Дед Дато он, вот кто. Человек, который всегда всем друг, только друг, и никогда никому не враг. Человек, который не умеет быть врагом.

Я долго стоял и смотрел, и смертельное любопытство разгоралось во мне вместе с жаждой общения и тепла. Меня все сильнее тянуло к этому огню. Коли в сторожке горит свет, то дед не спит, а мне вдруг стало ужасно одиноко. Но это было совсем не то одиночество, которое терза-

ло страхом совсем недавно. Это даже и не было одиночеством, а скорее — жажда общения, разговора. Ночь, тишина, от всех людей я отрезан, брат спит, и мама на работе, а там дед Дато... Возьму и войду, неужели нельзя?

— Здравствуй, дедушка. Мир дому твоему, мир твоему очагу.

— Здравствуй, мальчик,— скажет он мне приветливо, кивая головой и улыбаясь.— Проходи к огню. Какие у тебя новости? Что скажешь?

А что я скажу? Да что угодно. Ему все будет интересно, разве у меня нет для него никаких новостей? Вот возьму и расскажу, зачем я здесь. Интересно, что он ответит? Я осторожно подкрался к окну, но ничего не увидел. Скобленый, чистый стол без клеенки у самого окна, а на нем лампа «Летучая мышь». И все. Лампа светила слабо, желтый круг света лежал на столе, и в этом круге тускло поблескивали, словно полированные, темные, плотно пригнанные друг к другу старые доски, перечеркнутые крест-накрест слегка расплывающимися по краям тенями лампового переплета. Позади лампы ничего не было видно, только неподвижная серо-черная мгла. А что я ожидал увидеть? Мы никогда не бывали в сторожке, а в открытую дверь была видна только каменная голая стена, даже нештукатуренная.

Я все равно долго стоял, сдерживая дыхание и прислушиваясь. Ни звука, ни движенья. Ровно светила лампа, ее огонь был мертво недвижим, не колебался, не трепетал, стоял, как безжизненный пруд в лунную ночь. Неужели спит? Но если спит, то зачем тогда лампа? Только я ведь ничего не знаю, я никогда не подходил к сторожке ночью, и никто не подходил, может, у него всегда так. Вдруг он держит ночник? У нас ночников никогда не было, мама просто боялась оставлять на ночь открытый огонь, но некоторые спят с ночниками, я знал это. А вот войду и узнаю. Войду бесшумно и, если он спит, так же бесшумно уйду. Только бы дверь не скрипнула или ступеньки крыльца. Да нет, они у него никогда не скрипят, он не из тех, у кого скрипит.

Они и не скрипнули. Я действительно вошел неслышно и невесомо, даже тела своего не чувствовал — оно словно всплыло в воздухе и потеряло вес,— но лампа меня почувствовала, меня или дверь, которую я машинально прикрыл за своей спиной. Даже удивительно, что такая закрытая лампа, как «Летучая мышь», оказалась такой чувствительной к воздуху. Затрепетал огонек за слегка подкоптившимся стеклом, метнулись по стенам гигантские тени, комната закачалась перед глазами, ожили, заколебались темные углы, у меня даже голова закружилась от неожиданности. Я схватился за косяк, чтобы не упасть, весь напрягся и покрылся потом. Дыхание само затаилось, огонь качнулся несколько раз и затих. В мертвой неподвижности остановились тени, притихли углы, и остановилась комната вместе с ними.

— Гамарджоба, бичико,— услышал я слабый, шелестящий, но отчетливый шепот и вздрогнул от неожиданности и страха, от острого пронзительного чувства неведомого, загадки, тайны, к которой я и готовился и которая все равно застигла врасплох.

Шепот шел отовсюду и ниоткуда. Шептали стены, шептала из углов затаившаяся серая мгла, шептал воздух, шептало само пространство, шептал стоячий тусклый свет. Дед Дато, где ты? И вдруг я увидел его сразу, словно у меня только что открылись глаза. И в самом деле — открылись. Он лежал на нарах у стены, позади стола. Лежал на спине, укрытый до пояса домотканым ковриком, сложив на животе руки, вдруг показавшиеся неожиданно светлыми. Голова его была приподнята, не на подушке, там было что-то темное, свернутое, у него, похоже, вообще не было подушки. Серебряная борода, расстеленная по груди, серебряные кудри, рассыпавшиеся по изголовью.

— Гагимарджос, бабуа,— тоже шепотом ответил я.

Шепот у меня получился таким же шелестящим и так же заполнил пространство.

Он слабо улыбнулся, шевельнулась, дрогнула борода. Глаза его были полуприкрыты и едва заметно поблескивали из-под приспущенных век, от носа лежала на щеке глубокая тень.

— Почему ты шепчешь,— прошелестел он.— Говори громче, я плохо слышу.

Плохо слышит? Это что-то новенькое.

Никогда никто не замечал, чтобы дед Дато плохо слышал. Напротив, у него был очень хороший слух, и он не слышал только тогда, когда не хотел слышать. Может, я просто слишком тихо говорил? Да, наверное, так, он же сам со мной поздоровался, зачем же ему не слышать мой ответ. Ну и ладно, если он хочет громче, буду говорить громче.

— Гагимарджос, бабуа,— повторил я и сам вздрогнул от собственного голоса.

— Подойди поближе,— попросил дед своим шелестящим шепотом.— Возьми табуретку и сядь возле меня, я хочу на тебя посмотреть.

И я вдруг успокоился. Ну конечно же, не зря пришел. Он не спал и, кажется, ждал меня. Он словно бы каким-то непостижимым способом знал, что я приду. Вернее, не я. Человек должен был прийти. Любой человек. И этого человека он и ждал. И коли пришел я, то, значит, он ждал меня.

Я взял у стены самодельную треногую табуретку и сел возле его постели, привалившись левым боком к столу. От этого я вдруг почувствовал свое сердце. Оно толкалось в ребра, словно хотело отодвинуть стол, я понял, что стол ему почему-то мешает, отодвинулся сам и сел выпрямившись.

— Хорошо,— прошептал дед и прикрыл глаза, точно устал. Он отдохнет и снова откроет, я знал это.

Тихо стало в доме. Дато дышал неслышно, чуть заметно вздымалась грудь, приподнимая бороду, и у меня тоже, само собой, дыхание стало слабым и бесшумным. Я вдруг увидел, что он в новой чохе, в той самой, которая, как мы знали, была у него всегда, но которую он ни разу до сих пор не надевал. Серебряные газыри расходились веером из-под бороды и казались прядями седых волос, аккуратно разложенными вправо и влево наискось через грудь. Интересно, зачем он ее надел? Или он всегда в ней спит? Может, она у него вместо ночной рубашки или, лучше сказать, халата, и поэтому-то он ее никогда не надевает на улицу, чтобы не пачкать.

Но что-то подсказывало: нет, это не так. Чоха не та одежда. Если бы ахалухи — да, правильно. А в чохе спать все равно, как в пальто. Или в макинтоше. «Эх, Жора, подержи мой макинтош...» Тьфу, черт, чепуха какая в голову лезет. Нет, чоха не для сна. Газыри, пояс, и вообще... Да и не была бы она такой новой, если бы он всегда в ней спал. Поистреплется за многие годы, потрется. Наверное, он просто решил чоху сменить и надел прямо на ночь, не терпелось, видать. И от этого он вдруг как-то ближе стал, роднее. Потому что я и сам такой. Когда — года два уж минуло — мама справила мне новую курточку, которую сейчас донашивал брат, я тоже готов был прямо в ней спать улечься, до того хотелось надеть и поносить. Мама не позволила. А у деда Дато мамы нету, кто ему запретит.

— Ты поздно ходишь на кладбище, мальчик,— прошептал дед Дато, не открывая глаз.— А что скажет твоя мать?

— Она на работе,— не задумываясь брякнул я.— В ночную смену.

Дед Дато снова едва заметно усмехнулся в бороду, приоткрыл глаза, и они слабо блеснули из-под век.

— А разве ты ей не расскажешь?

Я растерянно молчал. Расскажешь? Он что, маму не знает? Это ж мало того, что выволочка, бог бы с ней, так еще и гром на весь околоток, месяц потом ребятам на глаза не покажешься, пальцами затыкают. Нельзя рассказывать, дедушка, что ты, я ведь потому и время такое выбрал, когда она в ночную смену.

— Все равно нужно рассказать,— зашелестел он, не дождавшись ответа и словно прочитав мои мысли.— Мать нельзя обманывать, обещай мне.

Ночь, тишина, тусклый свет сбоку, серебряная дедова борода, слабый блеск его глаз из-под приспущенных век, новая чоха... Что-то смутное копошилось в моей душе. Да нет, он знает нас всех, да только не так, как мы сами знаем друг друга. Для нас каждый человек это отдельный человек, ничем не похожий на других. И уж меньше всего похожи на других мы сами. Я вдруг очень ясно и остро это ощутил — какие мы все разные. И для него мы были все разные, но еще сильнее — одинаковые. Как будто некоей своей невидимой частью, гораздо большей, чем наши видимые тела, мы срослись все в громадную массу, и то, что выступает из этой массы наружу, то, что видно всем, было несущественным, мелким, незначительным, может быть — не

стоящим внимания. Он и сам для себя был частью этой массы, и какая разница, что Црипа маленький, а Занти большой, какая разница, что кто-то рыжий, а кто-то темноволосый. Перед лицом того огромного, что он видел, мы стали просто «мальчики», просто «мужчины», просто «женщины» — просто «люди», и наша жизнь никогда не была и никогда не будет свободной от этого единства, только нашей жизнью, она будет, есть и всегда была прежде всего жизнью той огромной массы, которую он видел, но которая почему-то никому больше не была открыта. Откуда у него взялся этот взгляд? Кладбище дало ему его или годы? Или он всегда был такой? Другие ведь старики не такие. Зантин дед, например. А впрочем, я его мало знал. Видел каждый день или через день, не реже, но почти и не говорил, и уж ни разу не заглянул в глаза. А почему? Может, и он такой. Я теперь так ясно видел этот живой и слитный мир деда Дато, словно смотрел его глазами, словно его взгляд, его дух переселились в меня. Правда, я не мог понять, что же сливает, спаивает нас в эту единую массу, чем это таким мы одно друг с другом, но чувствовал, что вести себя должны соответственно. В чем дело, почему? Нет, он все-таки колдун, дед Дато.

— Да,— подавленно сказал я, отчетливо понимая, что это свое слово мне придется держать, чего бы это ни стоило и чем бы ни обернулось,— хорошо. Я обещаю.

— Ничего,— полился мне в уши шелест его тихого голоса, и я утешился. Не то чтобы успокоился, но примирился.— Твоя мать хороший, добрый человек, она поймет. Нельзя обманывать людей, которые тебе доверяют. Чистая совесть дороже покоя и даже счастья. Чистая совесть, наверное, и есть счастье. Будь счастлив.

Я буду счастлив, дед Дато, у меня будет чистая совесть, ты не беспокойся. Он снова прикрыл глаза, утомленный длинной речью, и снова я замер возле него, и мы дышали так тихо, так неслышно, что даже трепетный язычок лампы успокоился, и остановились на стенах изломанные тени.

— Хорошо, что ты пришел,— снова приоткрыл дед восковые веки.— Я ждал тебя. Тебе не страшно было на кладбище?

— Сначала страшно,— я улыбнулся ему. Я знал, что он ждал меня. И мне было легко говорить правду о себе. И я должен был сказать, потому что знал ее. И я даже рад был сказать. Вот если бы я зашел по дороге туда, то тогда бы я еще не знал и солгал, даже не подозревая об этом. Я бы просто думал, что мне не страшно.— А потом не страшно.

— Это хорошо,— прошелестел он.— Это правильно. Запомни, бичико, кладбище самое нестрашное место на земле. Кладбище место покоя и памяти, а не страха. Никогда не бойся кладбищ.

Мы опять помолчали. У него было тихое, очень покойное, умиротворенное лицо. Немного, правда, усталое. Наверное, устал за день, а теперь отдыхает и ему хорошо.

— Бичико,— спросил он вдруг своим едва слышным шелестящим голосом.— Ты знаешь какие-нибудь молитвы?

Я опять растерялся и в растерянности чуть не ляпнул, что мне незачем знать молитвы, так как бога нет и, значит, молиться некому. Но, слава богу, удержался, а то бы потом никогда себе этих слов не простил. Впрочем, в замешательстве я брякнул не лучше.

— Отче наш. Иже еси на небеси... Хлеб наш насущный даждь нам днесь...

Больше я ничего не знал. Да и это-то случайно. Как-то прочитал в книжке, не помню уж и какой, про «Отче наш» и спросил у мамы. Но и мама знала не больше. Собственно, все, что она знала, я и запомнил. Это был набор слов, громогласный, но пустой. «Иже еси на небеси...» Я сам могу таких слов навыдумывать хоть миллион, но они так же ничего не будут стоить и ничего не будут значить. Но, неожиданно, для деда Дато они что-то стоили и что-то значили.

— Нет,— едва заметно усмехнулся он.— Не эту. Может, ты знаешь еще какую-нибудь?

— Не знаю,— ответил я виновато — мне вдруг стало отчего-то стыдно.

— Ну и хорошо,— мирно согласился он и приоткрыл глаза.— Если они тебе не нужны, то и знать незачем. Ты у Акакия Кубанейшвили учишься?

— Ага,— машинально подтвердил я и тут же изумился: вот это новость! Дед

Дато деда Акакия знает! Завтра Црипу растопчу, уничтожу этой новостью, и даже Занти рот раскроет и будет долго крутить головой и чесать в затылке.

— Тогда ты должен знать грузинские песни,— прошелестел дед Дато, поблескивая полузакрытыми глазами. — Выбери какую-нибудь.

— «Цицинатела», — без раздумий брякнул я и только потом сообразил, что он не просто знает деда Акакия — знает до тонкостей, знает, может быть, лучше, чем мы, и раньше, чем мы.

Потому что грузинские стихи и песни были главным, чему нас учил Акакий Габриэлевич. На уроках грузинского языка мы пели больше и лучше, чем на уроках пения. Он учил нас грузинскому народному многоголосию, а вместо бытового диалога мы должны были перебрасываться звонкими репликами из «Вепхисткаосани»*. Мы выступали за Тариэла и Автандила, за Фатьму и Тинатин**, и за самого Шоту Руставели тоже. Можно было забыть любое грамматическое правило, запутаться в склонениях или спряжениях, но боже упаси забыть хоть слово из «Мерани»***, «Чонгури»**** или той же «Цицинателы».

— Если вы выучите сто стихов и песен, грузинская речь сама потечет из вас, как вино из распоротого бурдюка. Поэтому вы будете учить и стихи, и песни, пока не вызубрите лучше, чем свое собственное имя,— говорил он нам на первом уроке грузинского языка, назидательно подняв к небу свой длинный и толстый указательный палец, палец, скорее, рабочего, чем учителя, и покачивая им, как маятником метронома, совершенно независимо от всей остальной руки.

Позднее мы узнали, что этим пальцем он мог, как штыком, пробить насквозь лист четырехслойной фанеры или отвесить такой щелбан, что слабонервные, напроказив, в ужасе лезли прятаться под парты, когда он с грозным и гневным лицом направлялся к ним для поучительной беседы и примерного наказания. Впрочем, он никогда не наказывал для примера, а только в очень сильном гневе, и нужно было особенно изощряться, чтобы его до этого гнева довести.

И мы учили. И пели. И среди нас не было таких, кто не научился бы говорить по-грузински. Конечно, разница между нами была: одни говорили совершенно свободно, а Витька Халецкий даже и без акцента, другие похуже, третьи совсем плохо. Но говорили все, таких, которые не умели бы и двух слов сказать, не было вообще.

И, оказывается, дед Дато все это знал. Ого!

— Пусть будет «Цицинатела», — он снова закрыл глаза. — Спой мне ее.

И я запел. Вполголоса, потому что эта песня не для громкого пения. Да и не нужно оно деду Дато — громкое-то. Мне было немного неловко, необычно, да только ломаться и отказываться было еще хуже, совсем стыдно. Гораздо стыднее, чем петь. Если бы я отказался, он бы не стал уговаривать, он не такой. Он просто бы промолчал, но в душе огорчился, расстроился, и как бы я себя потом чувствовал?

Он лежал закрыв глаза, точно спал, у него было тихое, светлое лицо, и я тоже прикрыл глаза и раскачивался на табуретке в такт мелодии, и мне стало сладко и легко, и так чудесно звучала песня в этой тишине, в тесной сторожке, среди каменных стен и тусклого, колеблющегося от моего дыхания света. За стенами стояла глухая непроглядная ночь, и эти самые цицинателы мерцали в кустах своим призрачным голубоватым светом, ничего не освещая, а словно бы даже усиливая, подчеркивая глубокую тьму. Правда, сегодня их было мало.

Я пел и пел, и слушал свой голос, вернее, не голос, какой уж там у меня голос, а саму песню, ее звучание, переходы, ее нежное томление:

---

* «Вепхисткаосани» — «Витязь в тигровой (барсовой) шкуре» — название поэмы великого грузинского поэта Шоты Руставели.

** Тариэл, Автандил, Фатьма, Тинатин — герои поэмы «Витязь в тигровой шкуре».

*** «Мерани» — стихотворение грузинского поэта-романтика Николоза Бараташвили (1817—1845 гг.). Мерани — мифический крылатый конь (*груз.*).

**** «Чонгури» — грузинская народная песня. Чонгури — струнный музыкальный народный инструмент, похожий на балалайку.

Чемо цицина-атела...*

И мне казалось, что я убаюкиваю деда Дато и себя вместе с ним и мы сейчас уснем и никогда больше не проснемся, а на улице всегда теперь будет стоять ночь, и тишина, и светлячки будут кружить вокруг безмолвной сторожки. Вдруг я услышал слабый шелест, и открыл глаза. Губы деда Дато шевелились, он не спал вовсе, он тоже пел:

Чемо цицина-атела-а...

И я запел еще тише, чтобы слышнее стал его голос, и он шелестел вместе со мною, и удивительно хорошо нам было петь вдвоем. В его тихом голосе можно было различить втору, и на этом фоне и без того красивая мелодия неожиданно выросла и похорошела еще больше, наполнилась странной печалью и даже скорбью. Потом песня окончилась, мы замолчали, но она долго еще звучала в душе, в ушах, словно старая сторожка подхватила ее и продолжила, и ночь за окнами, и светлячки...

На этот раз мы молчали долго. Мелодия все стихала и стихала в моих ушах, но никак не могла стихнуть до конца, она длилась и длилась, я слушал, слушал, и мне было грустно, и сердце томилось неизвестно отчего. Я подумал, что дед Дато уснул и мне нужно уходить, так же бесшумно, как и пришел. Но тут дед Дато заговорил снова, и я обрадовался, потому что мне отчего-то ужасно не хотелось уходить. Сидеть бы так возле него, дышать с ним в такт тихо и неслышно, слушать все стихающую мелодию и караулить дедов сон. Но нет, он не спал. Наверное, он, как и я, слушал песню в себе и во мне, которая так же медленно стихала и не могла затихнуть совсем и в его ушах, как и в моих. Он приоткрыл глаза, я увидел их тихий глубокий блеск, я увидел, как зашевелились его губы, слегка колыша бороду, я услышал странные слова, которые замирающим шепотом потекли из этих губ.

— Слушай меня внимательно, мальчик мой. Спасибо тебе. Сделай последнее, и у меня больше не будет никаких просьб. Там на полке за книгами лежит свечка. Возьми ее. Я сейчас закрою глаза и больше не открою их. Когда я сильно вздохну, вот так, — грудь его всколыхнулась, приподняв бороду, и опустилась снова, он помолчал немного, словно переводя дыхание, и заговорил опять, — ты подождешь несколько минут, дашь свечку мне в руки, вот сюда, — он пошевелил скрещенными на животе пальцами, — зажжешь ее. Вот и все. Больше тебе ничего не нужно будет делать, ты можешь уйти, а утром, когда рассветет, пришлешь кого-нибудь из взрослых. Скажешь, что старый Дато просил прийти. Ты сделаешь это?

— Да, — сказал я, обмирая от непонятного смятения.

— Спасибо тебе, — веки его опустились, и он затих.

Мне стало тревожно и беспокойно. Странная какая-то просьба. Зачем ему свечка? Я внимательно, до рези в глазах всматривался в его тихое умиротворенное лицо и не мог понять. Видно было плохо, десятилинейная «Летучая мышь» давала мало света, но придвинуть лампу поближе или выкрутить посильней фитиль я боялся, чтобы не обеспокоить затихшего деда. Наверное, он уснул. Возможно, он и раньше все время засыпал и просыпался, засыпал и просыпался, только я этого не замечал. А сейчас сильно захотел спать и уснул совсем. Но зачем все-таки свечка? Осторожно, чтобы не шуметь, я встал вместе с табуреткой и отошел к противоположной стене. Отсюда дед Дато хорошо был виден весь, насколько позволял тусклый свет. Я оперся спиной о стену и ждал, а дед Дато спал напротив, и такая стояла тишина, что звенело в ушах. Вдруг подумалось, что у деда Дато нет часов и потому так тихо, хотя вообще-то часы не нарушают тишины. Когда у нас дома тикают ходики, то все равно тихо. А поезда? Что-то не припомню, чтобы я их слышал, пока здесь сижу. Я пришел уже давно, неужели ни одного поезда не было? Я и па кладбище их не слышал. Странно все это.

Меня стало клонить в сон, я клевал носом, задремывал, вскидывался и опять таращил глаза, чтобы не пропустить дедов вздох. Наверноое, он боится какого-нибудь сна. Он же верующий, а вдруг ему приснятся черти? Для того, небось, и свечка, чтобы чертей отгонять. Сколько,

* «Чемо цицинатела» — «О, мой светлячок...», начальные слова песни.

интересно, времени прошло? И долго ли еще ждать?

Я не увидел, а услышал дедов вздох. Задремал и чуть не свалился с табуретки от неожиданности. Дед вздохнул не один раз, а несколько подряд. Грудь его поднималась и опускалась, поднималась и опускалась, сильно, рывками, и ходуном ходила, колыхалась на ней борода, и хриплое дыхание раскачивало сумрак. Если бы он не предупредил, я бы, пожалуй, испугался. Потом он затих. Наверное, и в самом деле тяжелый сон. Я внимательно таращился на него, но нет, он не проснулся. Я огляделся — а полка? А полка была почти над самой моей головой, и я чуть не слетел на пол с перепугу. Оттуда, из угла, мрачно смотрели на меня два темных неподвижных лика, один над другим. Вытянутые, округлые, они не шевелились, они только смотрели. Я перевел дыхание. Ффуу, черт! А ведь опять струсил, эй! А вот и нет, ничего я не струсил, кто угодно бы струсил на моем месте. Еще бы: ночь, как чернила, кладбище, сторожка, дед Дато спит, а тут эти уроды... Не бойся кладбищ, сказал дед Дато, кладбище место покоя, а не страха.

Я решительно встал и шагнул к полке. Их, собственно, было две, треугольные, в угол, одна над другой, а лики были книгами, раскрытыми и поставленными стоймя. Это были картинки, большие, во всю страницу, и только с перепугу их можно было принять за живые лица. Или за призраков. Или за что угодно, чего можно испугаться. Наверное, они были у деда вместо икон, он на них молился. Бог его разберет, он вроде бы никогда не молился, но я ведь за ним целыми днями не ходил, а в сторожке и вообще никогда не видел, сегодня в первый раз. Спросонок, конечно, можно и испугаться. А я и был спросонок. Ладно, пускай.

Я пошарил на одной полке, на другой, нашел свечку. Она была большая и длинная — целая стеариновая свеча с белым хвостиком фитиля. Я с сомнением покрутил ее в руках, длинная уж очень, будет ли стоять? Но разрезать все равно нечем, а если ножик искать, то нашуметь можно. Да обойдется, ничего. Только нужно сначала зажечь, а то потом спички искать придется. Я осторожно зажег свечу от лампы и вставил ее под скрещенные большие пальцы дедовых рук. Он специально, наверное, их так сложил, чтобы удобно было. Ишь ты, старый, все продумал, все предусмотрел. Я даже дыхание задержал, как будто это могло помочь. Свеча встала в приготовленное место и встала плотно. Я посмотрел на деда, посмотрел на свечу. Он не шевелился, лежал величавый, седой, тихий, свеча горела у него в руках ярким пламенем, стеарин плавился под огнем и скапливался вокруг фитиля прозрачной выпуклой лужицей. Что-то было во всем этом тревожно знакомое, что-то такое, что я знал, — не то видел, не то слышал, не то читал, но вот припомнить только не могу. Что же? Я попятился потихоньку и снова сел на свою табуретку у стены. Вообще-то, можно было уходить. Дед Дато сам ведь сказал: уходи. Но... Но... Огонь... Свеча горит, лампа горит... А если упадет? Нет, не в том дело. И упасть не упадет, и догореть не догорит — свеча длинная, до утра хватит. А что же тогда? Вспоминай, вспоминай, шевели мозгой...

Я вспоминал, вспоминал, даже голова затрещала, и неожиданно уснул. Вернее, неожиданно проснулся. Ритмичный грохот заполнял комнату, приглушенный стенами, под его напором вздрагивали язычок свечи и ламповый свет. В такт их дрожи прыгали на стенах тени, книжные вытянутые лики словно ожили и согласно кивали с полок — раз, раз, раз... Ходят поезда-то. Просто не замечал, вот и все. Я вспомнил, как стремительно и мощно громыхал мимо меня товарняк, в клубах подсвеченного багровым топочным огнем дыма, в свисте воздуха, распарывая пространство, подминая рельсы и тьму. Кати, товарняк, смотри вперед, машинист, вам ночь не преграда... Поезд отгромыхал и стих вдали. Надо идти. Я встал, зевнул, потянулся, растревожив свечу. Спа-ать хочется...

Но тут что-то вдруг привлекло мое внимание, что-то такое, отчего на душе разом стало неспокойно. Я пристально уставился на свечу: в ней дело, точно, в ней. Что? Свеча оплывала. Натаявший стеарин прорвался через край и катился прозрачными каплями, стекал на дедовы пальцы и там мутнел, застывая причудливыми натеками. А тишина! Господи, какая жуткая, какая глухая тишина! Я почувствовал, как меня начинает коло-

тить мелкая внутренняя дрожь, все сильнее и сильнее, все глубже, все мучительней. Не от холода, нет — от страха, опять от страха. Что за дикая ночь, что за жизнь! Почему он не просыпается? Почему он не просыпается! Почему он не просыпается!! Расплавленный стеарин течет ему на пальцы, почему он не просыпается!!!

Наверное, все то тревожное и странное, что принимал я за простую дедову усталость, все необычное, что копилось во мне с первой секунды, когда я заметил огонь в окне сторожки: и дедов шелестящий шепот, и закрытые восковые веки, таинственный блеск глаз из-под них, молитва и песня, странная последняя просьба, новая чоха,— все это вдруг всплыло в памяти, соединилось, слилось воедино и ударило в голову, стиснуло душу и сердце: ни охнуть, ни вздохнуть.

— Бабуа,— позвал я осипшим голосом.— Дедушка...

Дато не шелохнулся. Спокойно и металлически недвижно лежала на груди его седая борода, закрытые веки не дрогнули, только тени трепетали, жили на его лице своей собственной жизнью, рожденной колеблющимся светом, но лицо — лицо не жило. Оно было тихим, покойным, умиротворенным...

Зубы у меня клацнули, меня передернуло всего судорожной дрожью, и громкий крик вырвался сам собой из глотки:

— Дедушка!..

Я вспомнил. Я вспомнил!.. Человек, лежащий в гробу, и горящая свеча в мертвых руках, скрещенных на животе. Не все ли равно, где я это видел: наяву, в кино или во сне. Но ведь дед Дато не в гробу, не в гробу! Он спит! Он спит!! Он спит!!!

— Дедушка-а!!

Я кинулся к нему, схватил за плечо, чтобы потрясти, разбудить, но не потряс, тут же отпустил. Оно было какое-то не такое, это плечо, каменно неподатливым оно было, и в то же время податливым и безвольным, как глина, не могу сказать, какое оно было,— неживое, вот какое. Я попятился в ужасе перед тем, что отказывался принимать разум, но что я уже тем не менее знал, знал совершенно точно, хотя еще и не понял. Я пятился и пятился, пока не уперся спиной в стену. Свеча опять оплывала, прозрачный горячий стеарин опять капал деду на пальцы, но я уже не смотрел туда. Я смотрел на его лицо, темное, со светлыми пятнами опущенных век, неподвижное, тихое, в ореоле рассыпавшихся по изголовью серебряных волос. Дрожь у меня прекратилась, в горле стоял ком и мешал дышать, я пытался проглотить его, но сведенная спазмой глотка не подчинялась. Он же знал. Он же все знал! Он готовился и прощался, а я, а я...

Медленно — шаг, еще шаг, еще шаг,— я прижался спиной к двери, уперся в нее плечами, открыл и выпятился наружу, на крыльцо. Я не сводил с деда глаз, он лежал все так же недвижимо, со свечой в руках, раскинув по застывшей груди газыри, как пряди серебряной бороды. Не знаю, сколько я так стоял и смотрел. Ни мысли не было у меня в голове, ни движенья в душе, даже сердце словно бы остановилось, я весь оцепенел, заледенел, только ком в горле все мешал дышать, да где-то на самом донышке — может, в пятках? — жила, билась сумасшедшая, бешеная надежда. Ну, дед... Ну же, дед!.. Встань!.. Встань!! Проснись!!! Потом я медленно, тихо закрыл дверь, постоял перед ней, тупо глядя в сразу захлопнувшуюся черноту, и вдруг дикий вопль сам собой вырвался из моей глотки, и с этим воплем, не чувствуя себя, почти не замечая хлещущих по ногам, по глазам, по груди веток, я ринулся через кладбище на Задорожную. Я ни разу не сбился с тропы, птицей перемахнул через кладбищенскую ограду и только тогда опомнился, когда передо мною распахнулись двери Сулханишвили, яркий свет ударил в лицо и сам Вахтангов отец встал на пороге в одних трусах, нависнув над моей головой мохнатой грудью.

— Э?..— спросил он.

За его плечом маячила не то заспанная, не то удивленная физиономия Занти и мигала на меня медленными, дымчатыми спросонья, как у буйвола, глазами.

— Дед! — закричал я.— Дед Дато! Он там лежит! Свечка у него! Идите, пожалуйста, идите туда!

Добродушное, округлое лицо Сулханишвили медленно твердело, очищались глаза, жестчал, мрачнел взгляд, он склонил голову и глянул на меня исподлобья.

— Ну?..

— Я не знаю,— залепетал я чуть не

плача, никогда я не видел у Сулханишвили таких взглядов, таких лиц.— Он лежит и не шевелится... У него свечка...

— Какая свечка? — врезался в разговор суровый голос Вахтанговой матери.

Она вошла неприбранная, с распущенными волосами, в наспех накинутой серой широкой юбке, в сером платке на плечах поверх ночной рубашки. Зантин отец молча посторонился, пропуская ее, и указал на меня рукой.

— Говори толком, что случилось?

— Не знаю,— упавшим голосом пробормотал я, и меня опять начала колотить дрожь так, что зубы застучали.

Я врал, я все знал. Но я не мог этого сказать вслух, этого нельзя было говорить, и я бормотал бессмысленно и неразборчиво даже для самого себя, с трудом проталкивая слова сквозь клацающие зубы, сквозь судорожные спазмы глотки, распухшим непослушным языком:

— Лежит... Я звал, а он молчит... И свечка...

— Далась тебе эта свечка? Что за свечка?

— В руках...

— В руках?

— Так...— я сложил на животе трясущиеся руки, вернее, попытался сложить, но они не складывались, не попадали друг на друга, поднял взгляд к ее строгому, властному, по-матерински всеобнимающему лицу и закричал в тоске неожиданно освободившимся голосом: — Да идите же! Туда! Идите, пожалуйста!..

— Вахтанг! — властно крикнула мать.— Сделай ему горячего чаю с вином! Давит!

— Да! — откликнулся отец и вышел уже одетый, с мрачным и решительным лицом, а я и не заметил, как он ушел, чтобы быстро, по-солдатски одеться.

— Иди туда, а я по соседям. Кажется, беда...

Отец сумрачно кивнул, тяжело протопал по двору и канул в непроглядную черноту ночи. Крепкая рука Занти легла на мое плечо.

— Пошли.

Но я еще услышал чей-то встревоженный голос от забора:

— Эй, что случилось, кто кричал?

И ответные слова матери:

— Что-то с Дато. Иди туда, Давит уже ушел.

Что-то с Дато! Я мог бы сказать, что с Дато, это называется одним коротким словом, но это слово не шло у меня с языка и даже в голове не складывалось, оно просто жило во мне само собой, в каждой клеточке моего тела, в каждой капле крови, но жило без названья, без имени, без выражения. Не то я боялся, не то — надеялся. Оно было как последняя точка. Сказав его, уже нечего больше ждать. И потому я не мог его выговорить ни себе, ни людям.

— Пошли,— повторил Занти, и его сильная рука поволокла меня внутрь дома, в свет, в тепло еще не остывшего сна.

Дед Ростом шаркал нам навстречу на полусогнутых ногах, и мы остановились перед ним. Хотя, если разобраться, это просто Занти остановился и остановил меня, потому что у меня не было больше ни собственной воли, ни собственных сил. Я видел дедовы стоптанные чувяки на кривых ногах, шерстяные, домашней вязки толстые носки с заправленными в них штанинами, вислое брюхо, задравшее спереди подол старенького ахалухи, всего в заплатах, из выцветшего, когда-то лилового сатина, с гармошкой пуговиц на груди и зачем-то подвязанного под мышками сыромятным ремешком, видел его обвисшие щеки в седой щетине, неопрятные со сна седые космы вокруг лысины... Только в глаза ему я не посмотрел, что-то остановило. Я знаю, что остановило: я боялся увидеть в них ту же мудрую, туманную глубину старости, что и у деда Дато.

— Что случилось? — скрипучим голосом спросил он. Скрипучим и шамкающим.

Смотри ты — и он заговорил. А ведь я почти и не слышал его голоса, хотя и знал, что он такой — скрипучий и шамкающий. Он же беззубый, дед Ростом, совсем беззубый, он же, наверное, старше деда Дато.

На его вопрос я не ответил. Не мог. Потому что ему нельзя было отвечать «не знаю». Даже и «не знаю» было бы для него ответом, тем самым ответом, которого я так боялся. Ответом не только для него, но и для меня.

— Дато...— сказал Занти.

— А-а...— протянул дед Ростом и покачал головой. Его скрипучий шамкающий голос не дрогнул и не переменился,

в нем не было не только скорби, но и печали — он просто отметил факт, всего лишь.— Что ж, пора... Он ведь старше меня. На целых десять лет. Или даже больше.

И он зашаркал мимо нас к выходу, согбенный, придавленный старостью, годами, собственным весом, который уже с трудом держал. Комната качнулась вокруг меня, поплыла, потом остановилась. Зато все остальное понеслось вскачь, запуталось, сбилось, без всякой последовательности и порядка. Входили и выходили какие-то люди, которых я всех знал, но почему-то не мог припомнить; появился Црипа и зазвенел, зазвенел приглушенно — вот новость! — оказывается, и он умеет приглушать голос,— замелькал, запрыгал перед глазами; появился брат, которого Занти привел по моей, кажется, просьбе — впрочем, не припомню; горячий чай, остро и неожиданно приятно пахнущий вином; повторяющийся, повторяющийся вопрос, все громче и громче, одним и тем же металлическим голосом:

— Что случилось?

— Что случилось?

— Что случилось?..

Начала вдруг болеть голова. Словно железный обруч стискивал ее все сильнее и сильнее.

— Что случилось?

— Что случилось?

— Что случилось?

...и наконец оборвалось медноголосым, с долгим колокольным послезвуком:

— Уummерр!..

IX

Очнулся я, примерно, через неделю. Еще была температура и головная боль, но я уже чувствовал свои руки и ноги, все свое слабое тело, и даже эта слабость и головная боль были приятны, потому что если они есть, значит — жив. Я отчего-то знал, что мог умереть, но выжил. Мне никто не говорил, но я все равно знал. Это знание сидело само собой в моем теле, и ничьи слова здесь ничего не могли значить. Осунувшаяся, бледная мама с синими тенями под глазами, брат, настороженно и внимательно присматривающийся ко мне. Я все помнил, все до того самого «Уummерр!..», а потом — ничего. Наверное, я бредил, но от бреда ничего не сохранилось, ну ничегошеньки ровным счетом — пустота, провал, пропасть. Даже и не пропасть, а совсем ничего. Сначала медный колокольный голос, а потом я открыл глаза и понял, что вижу дощатый нештукатуренный потолок нашей комнаты, потемневший витой электрический провод на фарфоровых роликах, тихий прозрачно-зеленый абажур...

Болеть было нетрудно, но скучно. Потому что мне все было запрещено: вставать, читать, даже говорить. Если бы врач мог, то и думать бы запретил, да тут уж не его власть. Мама строго следила за моим режимом, сидела на справке, то есть без зарплаты,— боялась оставить меня на брата или соседей, а больше и не на кого было. Наверное, лучше всего было бы в больницу, но она и больницы боялась, разве в больнице уход? Заморят, да и все. И она ухаживала сама, а при ней и брата ни на что не сговоришь.

— Ну, давай в шахматы поиграем.

— Нельзя.

— Ну, почитай мне чего-нибудь.

— Нельзя.

— Ну и катись тогда отсюда, это можно?

Это-то, конечно, можно, да только мне с того веселее ли? Он и рад: заскакал козлом, порх — и нет его, а я скучай. Впрочем, вру, скучал я не всегда. Ко мне ребята ходили. Занти сидел с глубокомысленным видом и молчал, и за это мама пускала его чаще всех и всех охотнее. Он мог час промолчать и два промолчать. Меня иногда начинало ни с того ни с сего клонить в сон, я усну — он сидит и молчит, проснусь — он сидит и молчит. Только странное дело, когда он сидит и молчит рядом, то мне и самому молчать не скучно. Он сидит, я лежу, оба молчим, и обоим хорошо. Тяжелей всех, конечно, Црипе приходилось. Мама заглянет в комнату на его звон:

— Важа, ты помолчать можешь?

— Могу! Клянусь честью — могу!

А что ему оставалось? Правда, его чести хватало не больше, чем на пять минут, но мне и с ним было хорошо. Он за пять минут столько наговорит, сколько от другого и за час не услышишь, разве плохо? Потом лежи, думай себе. И кто двойки нахватал, и кто с кем подрался,

и что сказал дед Акакий, и что сказал папа Карло, и как он, Црипа, на городских соревнованиях всех обштопает, и каким приемом Занти того длинного, из железнодорожников бросил...

— Важа, ты помолчать можешь?

Да не может он, мамочка, это ж абсолютно невозможное дело — Црипе молчать. Умереть от молчания он может, а молчать — нет. Да и кроме Црипы с Занти было полно народу. Каждый день кто-нибудь толокся возле моей постели. И по одному ходили, и группами, правда, мама больше двух не пускала, остальные на улице ждали. Так ведь ждали же, а не разбегались — разве не хорошо? Даже Гурген однажды пришел и притащил пару новейших ботинок из великолепного шевро — мне такие и во сне не снились. Мы с братом только глаза вытаращили — брат про нашу ссору знал,— а мама даже заплакала.

— Да как же можно, у нас и денег таких нету, мне потом всю жизнь не расплатиться...

— Подарок,— солидно пояснял Гурген.— Саба его мерку знает, никаких денег не нужно.

Он говорил все больше о погоде и об уличных новостях, а когда благодарная мама зачем-то вышла из комнаты, испытующе уставился на меня.

— Забудем?

— Забудем,— охотно и весело согласился я.— Давно забыл. Что я — злопамятный?

— Саба говорит: приходи. И ботинки не занашивай, приноси вовремя.

Я как-то не думал, почему ко мне так зачастили, почему у мамы так сияют вечно заплаканные глаза, откуда у нас берутся еда и лекарства, хотя и денег нет, почему приходил Димитрий Ставрос и кричал на маму в огороде, подальше от наших с братом ушей, зачем приходила Зантина мать и тоже выговаривала маме суровым властным голосом. Я, похоже, вообще ни о чем не думал. Какие-то пустяковые мысли, даже и не мысли, а обрывки мыслей, потому что ни одной из них не удавалось додумать до конца. Ел, спал, скучал, слушал, что мне говорят, и иногда отвечал сам. О той кладбищенской ночи я не думал и не думал о том, что деда Дато похоронили без меня, не думал, хорошо это или плохо.

Без малого месяц я не мог вставать, кружилась голова. Потом встал, но еще целую неделю дальше крылечка меня мама не пускала. Потом минуло и это, я собрал учебники и отправился в школу. И может быть — рано. А может, конечно, и нет. Все к лучшему в этом лучшем из миров. Спасибо тебе, Панглосс, за вечную мудрость. А смерть? Тоже к лучшему? Кому, как не тебе, знать. Ты дважды умирал и дважды воскресал, тебя резали, а ты живой, тебя вешали, а ты показал им нос — и ушел, если и не смеясь, то во всяком случае — не покорившись серой очевидности. А как же тогда дед Дато? Или он тоже живой?

Желто-оранжевый купол кладбищенского сада словно взорвался в моих глазах, едва я ступил за калитку. Осенний пронзительно-печальный карнавал бушевал за железной дорогой, за невысокой каменной оградой. У меня снова закружилась голова, я схватился за штакетник нашего забора, но ноги все равно не держали, и я сел на землю, прислонился спиной и затылком к забору и закрыл глаза. Пройдет, ничего, пройдет... Дед Дато лежал со свечкой в руках, и расплавленный воск стекал прозрачными каплями ему на пальцы, закрытые бледные веки были каменно неподвижны; черная душная ночь кружилась в моих глазах мерцаньем тысяч голубоватых светлячков; «чемо ципинатела-а...»

В чем дело? Почему я чувствую себя причастным к его смерти? Почему меня давит и гнет сознание вины? Абрикос? Но ведь дед Дато сам сказал: обязательно будете. Обязательно! Ведь он же сам так сказал! И тут вдруг вплыло в сознание, будто над ухом произнесенное, непонятное слово «внук». При чем здесь внук? Чей внук? Кто — внук? Я? Но я не внук, я сын. Моих дедов давно нет в живых, и мне незачем зваться внуком. Занти? У него есть дед, Ростом, но при чем здесь Занти? Кто сказал: внук? И зачем сказал? Надо допытываться, узнавать, а я боюсь.

Первый раз в жизни я признался себе, что чего-то боюсь, и мне не было стыдно. Нечто огромное стояло за этим непонятно откуда взявшимся словом, нечто такое, перед чем я никак не мог остаться один на один, попросту не вынес бы. Или, может быть, и этот страх

был болезнью, слабостью, головокружением. Не выздоровел еще до конца, не окреп. Но как бы там ни было, я никого ни о чем не спросил. Ни в тот день, ни на следующий. Это словно мучило меня какой-то страшной неразрешимой тайной, и, случалось, я просыпался среди ночи в душной тьме, скопившейся под опущенным пологом, и с ужасом слушал, как кто-то долбит в моем мозгу с ровным, пугающим бесстрастием: «внук, внук, внук...»

А впрочем, все реже и реже. Хотя совсем не прошло и по сю пору. Правда, сейчас я знаю, что это за внук и откуда он взялся в моем мозгу. Дед Акакий рассказал и объяснил. Но не сразу. Он присматривался и выжидал, я должен был это узнать обязательно, но не раньше, чем по-настоящему окрепну. Хотя в то время мне любой мог объяснить. Все уже знали, один я не знал. Даже Црипа и тот молчал. А остальные — тем более. Как его хватило на тайну, ума не приложу. Чтобы Црипа хранил секреты больше одного дня кряду? Кабы сам не знал, никто не убедил бы меня, что такое возможно. Больше того: он единственный никогда меня не спрашивал, как я оказался в ту ночь на кладбище. Правда, он был единственным, кто и знал это, но он же никому и не сказал. А ведь в его привычках было совсем другое: орать во всю глотку обо всем, невзирая ни на что.

От остальных же просто проходу не было. Даже Занти. Только я не отвечал. Ни ему, ни маме и никому другому. Я сердился, меня просто трясло от гнева, когда я слышал этот вопрос, даже в драку готов был полезть. Сначала ребята, в общем, сдерживались и, видя мой гнев, старались о кладбище при мне не поминать. Но время шло, и у них просто терпенья не хватило дальше деликатничать. Не то что задразнили, но если кто-нибудь хотел позабавиться моей злостью, он просто спрашивал с невинным видом:

— Э, а как ты на кладбище попал?

— Пошел отсюда, ишак! — тут же послушно взрывался я, а дальше все катилось само собой — и хохот, и крик, и... чуть было не сказал — слезы. Но нет, слез не было. Злость до спазм в горле была, а слез — не было. В общем, конечно, хвати у меня выдержки не злиться или не показывать злость, так никто бы и не трогал. Но увы, не хватало.

На кладбище я с тех пор не заходил. Сначала не мог, а потом привык. Я сразу понял, что не смогу, еще когда у меня в первый раз закружилась голова. Но все-таки попробовал, нужно было сходить на могилу к деду Дато. Нужно было. Поклониться, поставить осенний букет из оранжевых кленовых листьев, из желтых — каштановых, из красных — акации. Насобирал, два дня дома держал в литровой банке, потом укрепился духом и пошел. Но дошел только до ворот. То есть даже и в ворота зайти не успел. Заглянул, увидел, как падают бесшумным дождем, трепещут, кружатся в воздухе последние листья, увидел путаницу оград и оголяющихся веток, устланные шуршащим осенним ковром дорожки и почувствовал, что у меня подламываются ноги и сердце поднимается к горлу. Там, за воротами, на укрывшем землю покрывале умерших листьев, среди могил, стоял дед Дато, опершись о лопату, и усмехался своей мудро-лукавой усмешкой в бороду; там он лежал со свечкой в руках, тихий, седой, с бледными пятнами опущенных век на темном лице... Я попятился, потом повернулся и побежал. Удрал, одним словом. Вечером у меня опять поднялась температура, но, слава богу, к утру прошла. Больше я ходить туда не пытался. И фруктов с кладбища не ел. Впрочем, фрукты в тот год уже кончились, но я их и на следующий год не ел, и еще через год, и вообще... Все уже прошло к тому времени, но фрукты так и остались табу.

А кончился мой страх перед кладбищем по весне, когда однажды, в ясный и теплый апрельский день я увидел деда Акакия, который шел через железную дорогу к кладбищенским воротам. Бережно, обеими руками сразу, нес он перед собой пышный букет алых гладиолусов удивительной красоты. Цветы сияли в его руках радостным горячим светом, и было просто невозможно себе представить, для чего они предназначались. Где он их взял? В оранжерее где-нибудь, где еще их сейчас возьмешь. Я сразу понял, куда он идет и побежал за ним. Больше ему, собственно, и некуда было, потому что никогда до сих пор он на наше кладбище не ходил.

На кладбище я не собирался, нет-нет, на аркане меня туда не затащишь, но вдруг потянуло к Акакию Габриэлевичу свыше всяких сил, и я побежал, забыв остеречься, хотя и не хотел подходить к нему. А он меня сам почуял. Не заметил, а почуял, потому что я был у него за спиной, да и далеко. Но я просто забыл, как он чуток. Даже в классе, стоя к нам спиной и пиша что-нибудь на доске, он всегда в точности знал, кто в данный момент и чем занимается. Это его умение было загадочным и волнующим, мы не находили ему объяснений. Никто из учителей и вообще никто из известных нам людей так не умел.

Он и на этот раз оглянулся в точности на меня, когда я был от него в метрах в пятнадцати. Я замер в испуге, хотя чего было пугаться-то? Ничего преступного я не совершил и совершать не собирался, и бояться его мне было совершенно не с чего. Он посмотрел пристально несколько долгих мгновений, словно раздумывал о чем-то и колебался, потом освободил от цветов одну руку и поманил меня пальцем. Я подошел, обмирая от непонятного страха. Ну, не Акакия же мне было бояться, что он меня, съест, что ли? Но тем не менее я трусил и холодел, в животе у меня противно дрожало.

— Пойдешь со мной? — приветливо и спокойно спросил он.

Я растерянно молчал. Я знал, куда он идет и кому предназначены эти чудесные цветы. Хотя, вообще-то говоря, это было странно. Ну, допустим, они с дедом Дато знали друг друга и даже уважали — ну и что? Одно дело знать, а другое — цветы на могилу через полгода после смерти.

— Пойдем,— настойчивей и тверже сказал он.— Тебе пора взять себя в руки. Старый Дато был человеком светлой и высокой души, нельзя обходить его могилу стороной.

Да откуда он знал все это? А впрочем, кто угодно мог сказать. И мама, и Црипа, и Занти, и любой другой из нашего класса, да и не только из нашего. Так почему бы ему не знать? У него и у самого глаз сквозь стены видит, а уж сквозь мою тоненькую черепушку и жидкие ребра — тем более. Он повернулся и пошел, не дав мне времени подумать и решить самому, он решил за меня и я поплелся за ним на подгибающихся ногах, замерев душой, даже дыханье задерживалось. Но, пожалуй, на этот раз я боялся не деда Дато, а деда Акакия. И даже не его, а того, что он мне скажет, должен сказать. Для этого и позвал, для этого и повел против воли. Потому что он все знает. И обо мне, и о ребятах, и о деде Дато. Неведомыми, таинственными путями он знает обо мне даже больше, чем я сам. Эти пути закрыты для меня, но открыты ему. «Внук,— вдруг снова начал долдонить в голове бесстрастный голос.— Внук, внук... Внук!»... Наверное, это вырвалось у меня вслух, не знаю, не заметил. Акакий Габриэлевич остановился и посмотрел внимательно.

— Да,— сказал он,— внук. Ты этого не знал. Этого никто не знал. У нас в школе ни одного учителя не осталось с довоенных времен, а то бы вы, наверное, знали. Я один здесь еще с тех пор.

Я смотрел на него и трясся. Внук! Дед Дато стоял на коленях и гладил ветку, как гладят голову больного ребенка. И слезы капали с кончика носа на ветку, на руку... И алые тюльпаны. Поздние, может быть — последние.

— Пойдем.

У меня тряслись руки, когда я помогал деду Акакию ставить цветы под два креста, на две могилы. Одну старую, другую новую — в одной ограде, под одним и тем же деревом, старым абрикосом. Потом Акакий Габриэлевич вынул из потрепанной кирзовой кошелки, которую я почему-то только сейчас заметил, серый чурек, кусок сыру, бутылку вина и стакан, разделил хлеб и сыр, капнул в стакан на донышко несколько капель и протянул его мне.

— Выпей. Помяни их обоих. Да и полезно тебе сейчас — немного вина.

Он был прав. Мне оказалось действительно полезно. Эти несколько капель словно развязали во мне тугой узел страха и боли, сняли камень, придавивший душу, я даже и сам распрямился и вздохнул так глубоко, свободно и сильно, что круги пошли перед глазами. Нет, я не захмелел. Вино растеклось по телу, и вместе с ним растеклась и заполнила меня всего тихая светлая печаль. Дед Акакий налил себе полный стакан, заткнул бутылку и спрятал остатки вина обратно

в кошелку. Потом поднял стакан на уровень глаз, задумчиво посмотрел его на свет и медленно выпил.

— Пусть земля им будет пухом,— все так же задумчиво сказал он.— Хорошие они были люди. Ничего особенного, жизнь как жизнь, люди как люди, но разве для того, чтобы быть хорошим человеком, нужно что-нибудь особенное? Один герой русской литературы, Козьма Прутков, сказал: «Если хочешь быть счастливым, будь им». А я скажу: если хочешь быть хорошим человеком, будь им. Они хотели и были. Хотя, конечно, это не всегда так просто, как кажется.

Он помолчал. Мы сидели в тени абрикоса на том же самом месте, где обычно отдыхали с Црипой и Занти после тренировок, и, может быть, тут еще остались следы наших с Црипой тел и слез деда Дато, но теперь в затененной абрикосом ограде был уже не один крест, а два: старый, потемневший от времени, и новый, точно такой же, только светлого дерева.

— Его звали Георгий,— сказал Акакий Габриэлевич.— Он работал у нас в школе. Столяр, слесарь, на все руки мастер, вроде нашего Вахтанга. Спокойный такой, неулыбчивый, добрый человек. Георгий туда, Георгий сюда — мало ли дел. Он только кивал головой, шел и делал. А потом он погиб.

Дед Акакий снова замолчал, задумался, и я вдруг понял, что он мне не скажет, как погиб Георгий. Даже если я спрошу. Может быть, это тайна. Хотя, какая же тайна, люди были кругом. Только, где они теперь, эти люди? А коли нет людей, то — тайна, и он ее мне не откроет. Он вздохнул.

— Я сам разыскал Дато и привез на похороны, так уж случилось. Он вырыл внуку могилу и схоронил под старым, уже умиравшим абрикосом, вот под этим самым. Дато сделал прививку, и никто не знает, как ему удалось омолодить и облагородить уже почти погибшее дерево. Любящие руки могут сделать все, что угодно. Любящие руки и верное сердце. Дато не горевал. Вернее, не убивался, не плакал. Были люди, которые осуждали его за это, но они просто не понимали, что не у всех горе выходит наружу слезами и воплями. У Дато оно выходило любовью к живым. Он потерял трех сыновей в гражданскую войну и двух внуков. Георгий был последний. Дато ждал правнуков, но не дождался. Из-за этого он даже имени внука на могиле не написал. Я последний, кто будет его помнить, говорил он, у нас с ним нет никого, а для остальных его имя будет пустым звуком. Так же, как и мое. Незачем обременять людскую память тем, что им не нужно. А кому нужно, тот запомнит и без надписи. Видишь, его могила тоже без имени.

Да, я видел. И мне этого не нужно было говорить. Я знал, что могила Дато будет безымянной. Я только не знал, что она будет здесь, рядом с другой безымянной могилой, и что... Впрочем, нет, об этом потом.

— Сначала он работал у нас, вместо Георгия, но потом ушел на кладбище. Он казался странным человеком, старый Дато: не хотел прописываться, не хотел оформляться на работу, жил неизвестно на что — ведь без оформления не платят зарплату. По-моему, у него даже паспорта не было. Он не хотел уходить из школы, но вокруг него было много разговоров, кое-кто косился, и директор, напуганный его странностями, попросту выгнал его. Не нынешний директор, другой, прежний. Но Дато не сердился на него. Значит, ему так легче жить, только и сказал он уходя. Знаешь, он приходил ко мне на уроки и пел вместе с ребятами. И учился русскому языку. Они учились грузинскому у него и у меня, а он — русскому, у них. Это ведь он подсказал мне — петь. Может, я и сам бы до этого додумался, но навряд ли. Я тогда был молодой, а вы все большие шалопаи, и раньше, и теперь. Как учить вас тому, чему вы не хотите учиться? Слушай, Акакий, сказал он мне, научи их петь. Кто научиться петь, научится и говорить. И он помогал мне. Приходил на уроки, и мы пели все вместе. Э-э...— дед Акакий скривился и махнул рукой.— Кому он помешал? Кому мог помешать старый человек, очень любящий детей. Он ведь тогда уже был стар, очень стар, старый картлиец с верховьев Арагви. Георгий был намного старше меня. Ему уже тогда было за тридцать. Скорее, даже под сорок, чем за тридцать.

Я смотрел на деда Акакия во все глаза, словно впервые увидел. А вернее, и в

самом деле — впервые. Потому что впервые разглядел, что дед Акакий никакой не дед. Седой — да. Белый как лунь, но не дед. Глубокие резкие складки на лице — да. Но не старческие морщины. Он совсем не старый человек. Не могу сказать в точности, сколько ему лет, но не старый. Не старше дира, во всяком случае, а кто же назовет дира старым. Вот это было открытие! Я даже про печали свои забыл и смотрел на него остолбенело, и, наверное, все это было написано на моем лице, потому что Акакий Габриэлевич, даже и не глядя, понял меня и рассмеялся.

— Да-да, я вовсе не дед. Думаешь, я не знаю, как вы меня зовете? Война... Я был в плену, потом партизанил... Впрочем, это неважно.

Он опять задумался, качая иногда седою головой каким-то своим мыслям, потом встрепенулся и сильно потер ладонями лицо.

— Слушай, генацвале,— сказал он, испытующе глядя на меня,— как ты попал на кладбище, я знаю, это не трудно сообразить, но скажи мне: ты видел последние минуты Дато?

У меня на миг перехватило горло. Словно кто-то огромный и чудовищно сильный вдруг вцепился в глотку, чтобы задушить, вцепился и тут же отпустил. Тяжелый вздох вырвался из меня, я тихо ответил:

— Видел.

— Да,— печально сказал он,— я так и думал. Тебе досталась ноша не по силам. Но вот что скажу я тебе, дорогой мой мальчик: никому не рассказывай о том, что ты видел. Никто сейчас не догадывается об этом, и слава богу. Нелегко хранить в себе такую тайну, но если ты выдержишь, это убережет тебя от тяжелых обид, от оскорбительного недоверия и смеха, которые могут оказаться куда тяжелее и твоей тайны, и того, что ты видел той ночью. Берегись, сынок, и будь мужественным. Ты понял меня?

Я кивнул. Да, я понял. И я никому не расскажу. Никому, даже тебе. Пусть тайна будет тайной. Да и невозможно этого рассказать. И я понял вдруг еще, откуда я знаю это — «внук». Понял, потому что это было очень просто. В бреду слышал. Я не вспомнил, я понял, догадался. Наверное, я был не совсем без сознания, когда кто-то рассказывал об этом маме. Или кому-нибудь другому, но у нас, при мне. Вот и все. И нечем мучиться.

— Пойдем? — спросил Акакий Габриэлевич.

Я глянул на него, на могилы и неожиданно для себя попросил:

— А можно я побуду тут, Акакий Габриэлевич?

Он поглядел на меня странно, непривычно; радостное изумление было в его лице, но тут же он все согнал, построжал, и я уже не мог больше сказать, было или не было. Дед Акакий и дед Акакий, как всегда.

— Да,— сказал он,— конечно. Если тебе это нужно, то даже — обязательно. Посиди, подумай. До свидания.

Он протянул на прощанье руку, крепко стиснул мою в жесткой, горячей ладони, подержал немного, глядя на меня без улыбки, повернулся и пошел. Я смотрел ему вслед, пока он не скрылся в воротах — длинный, сутулый, худой, с крупными не по телу руками, с серебряной седою головой. Прощай, дед Акакий, до завтра.

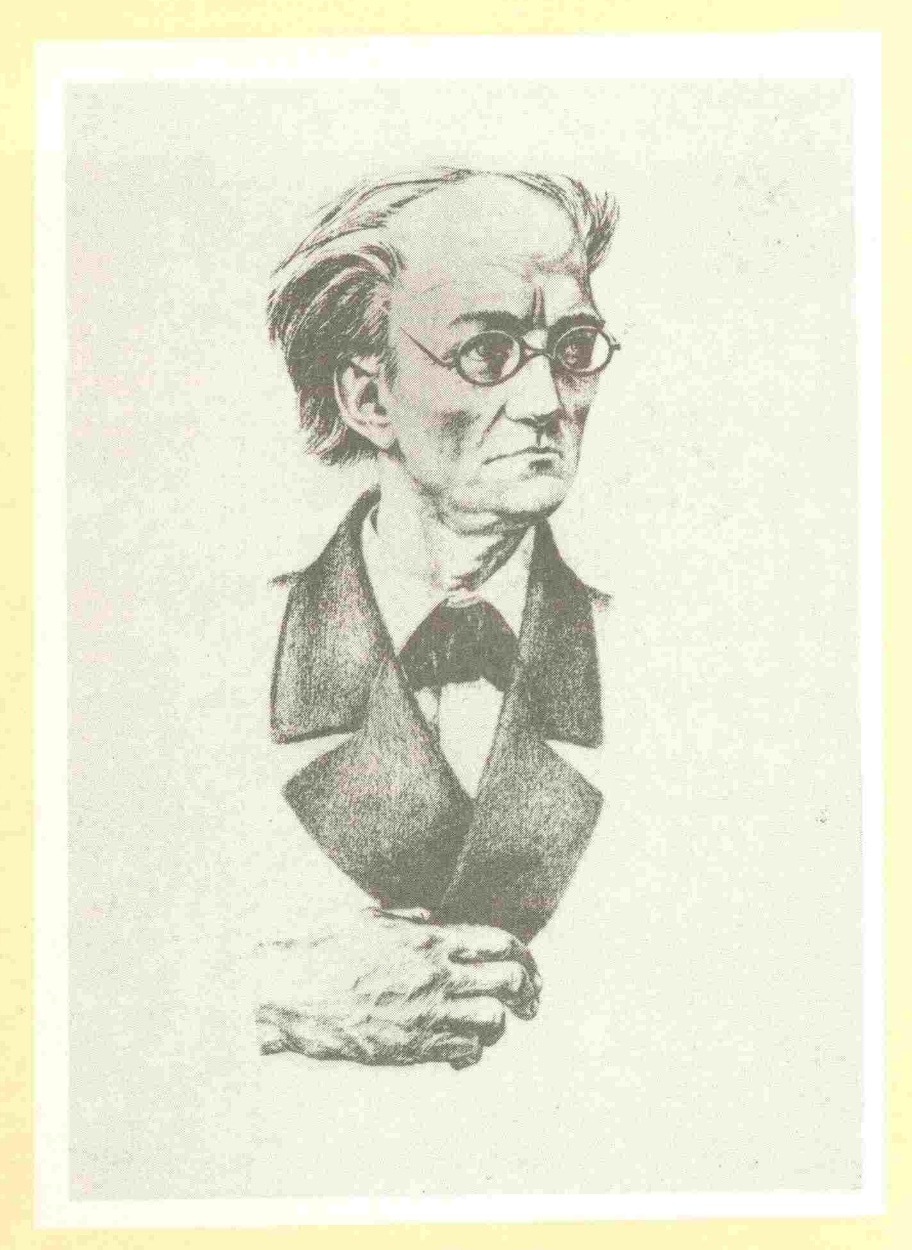
X

Я долго сидел у могил, до самой темноты. Абрикос шумел над моей головой молоденькой и яркой листвою, шелестел о своем в тишине. Грохотали поезда, из-за забора доносились голоса, иногда крики, там жизнь шла своим чередом. Тишина была во мне, во мне самом, и ее ничто не способно было нарушить, сдвинуть, поколебать — ни жизнь за стенами кладбища, ни просторное текучее небо со всей своей чистой, весенней синевой, жизнерадостным блеском и глубиной. Тишина и печаль. Может быть, я даже и плакал, впрочем, не знаю. Если и плакал, то слезы пришли и ушли, как легкий грибной дождь, без следа и без памяти. Я ничего не стремился понять и ни в чем не хотел разбираться. Ни тогда, ни потом. Хотя нет, вру. Тогда, может, и нет, а потом — пытался. Пытался и не сумел.

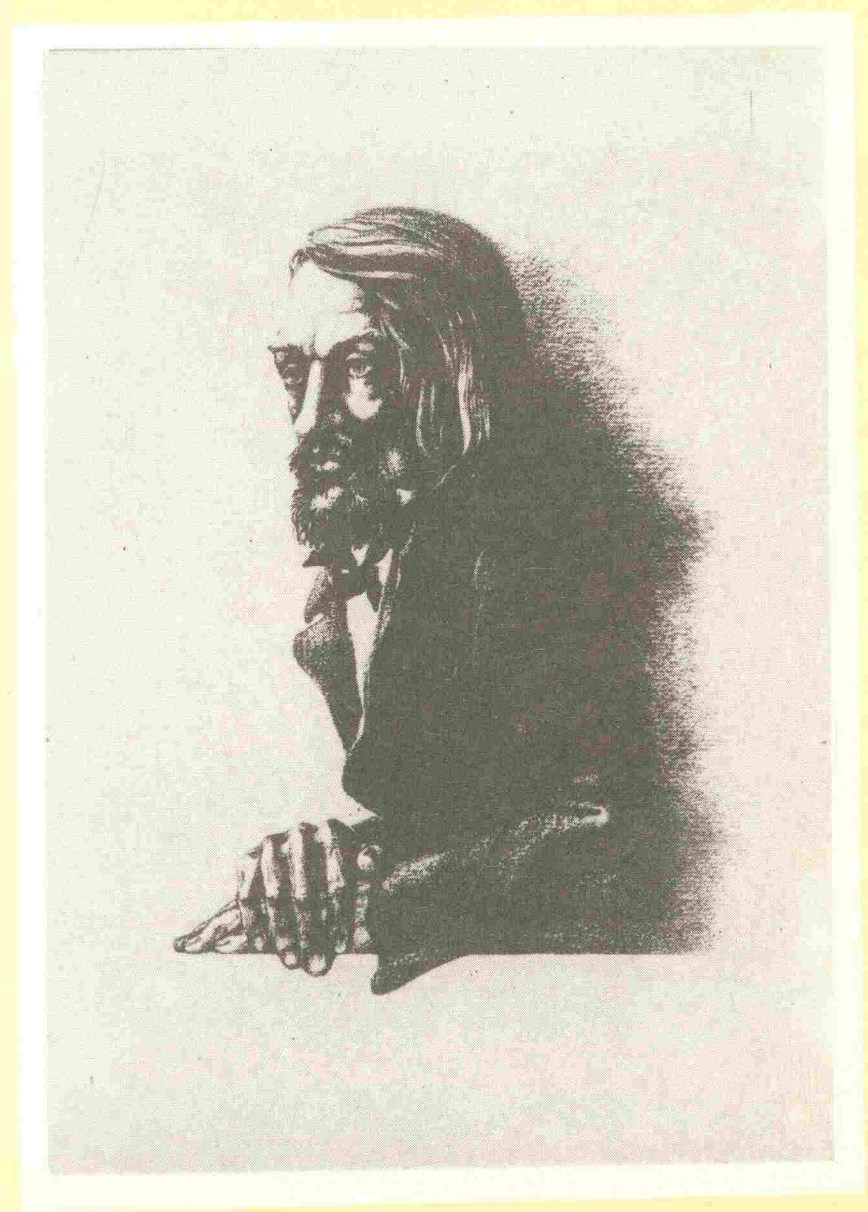
Я и до сих пор не знаю, отчего меня не оставляет чувство вины перед тобой, дед Дато. Словно я сам убил тебя, своими руками. Убил вернее, чем если бы упал тебе на голову, потому что упал на твое сердце. Я многого не знал, вернее, я ничего не знал, но это мне не оправ-

Иван Васильевич Киреевский (1806—1856)

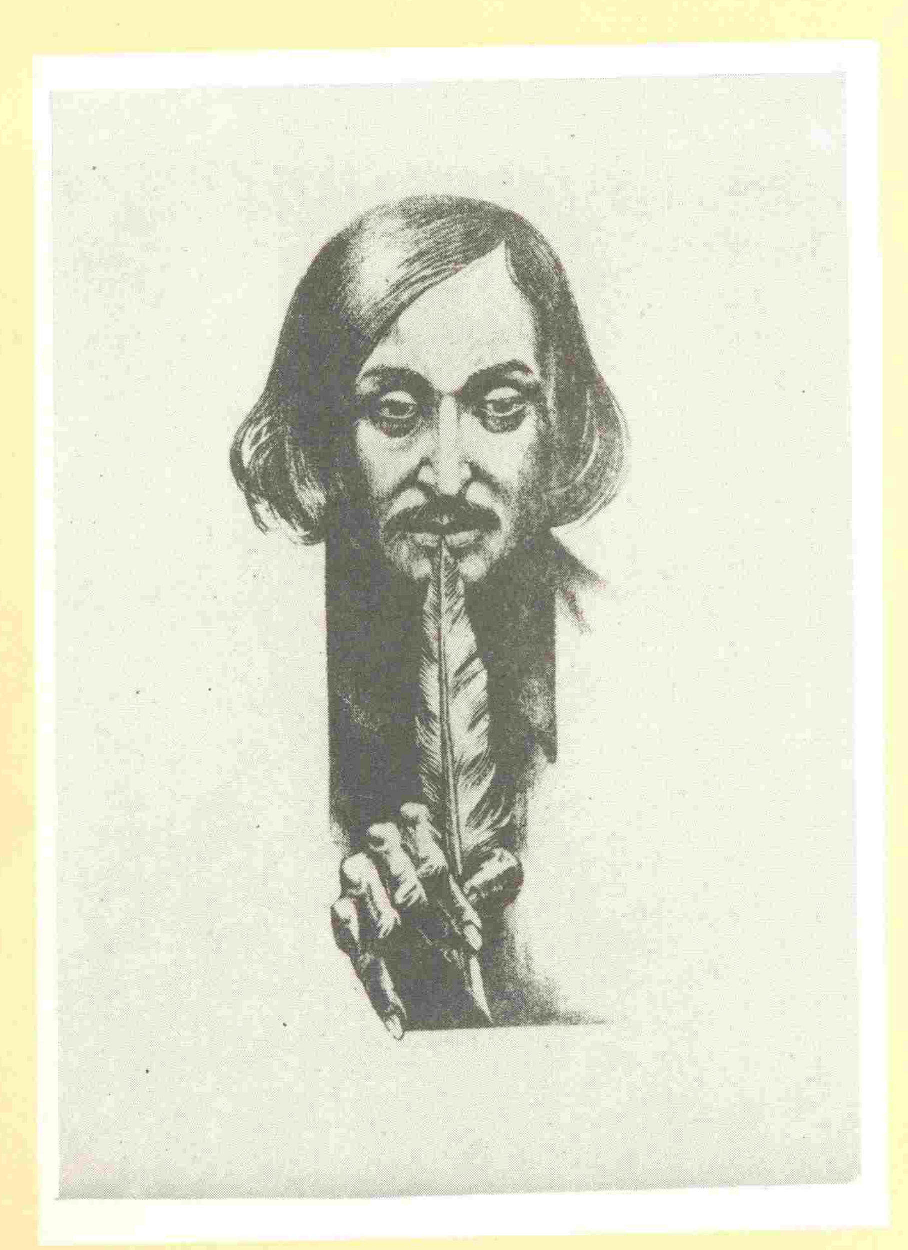
Представляем серию графических портретов Ю. Селиверстова «...из русской думы». (Заметы к портретам читайте на 117 с.)



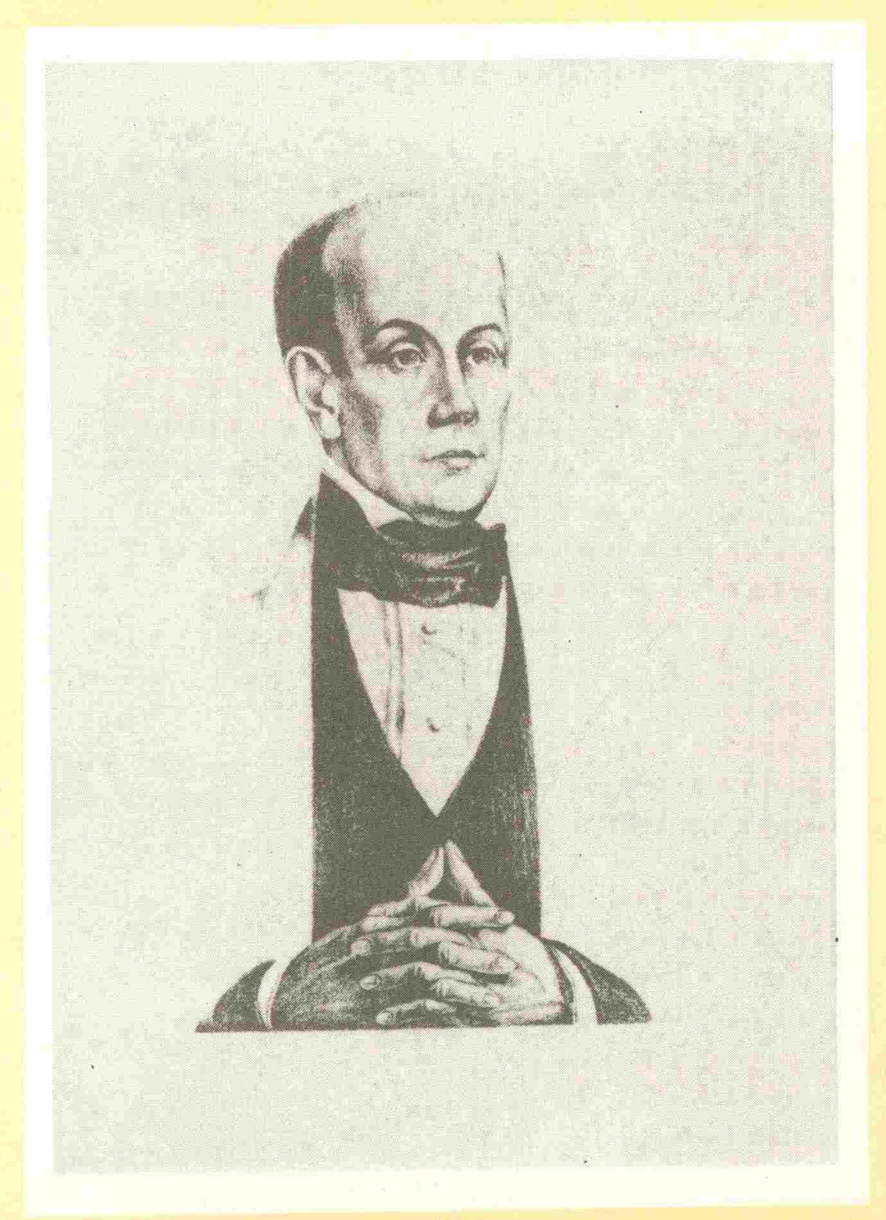
Алексей Степанович Хомяков (1804—1860)



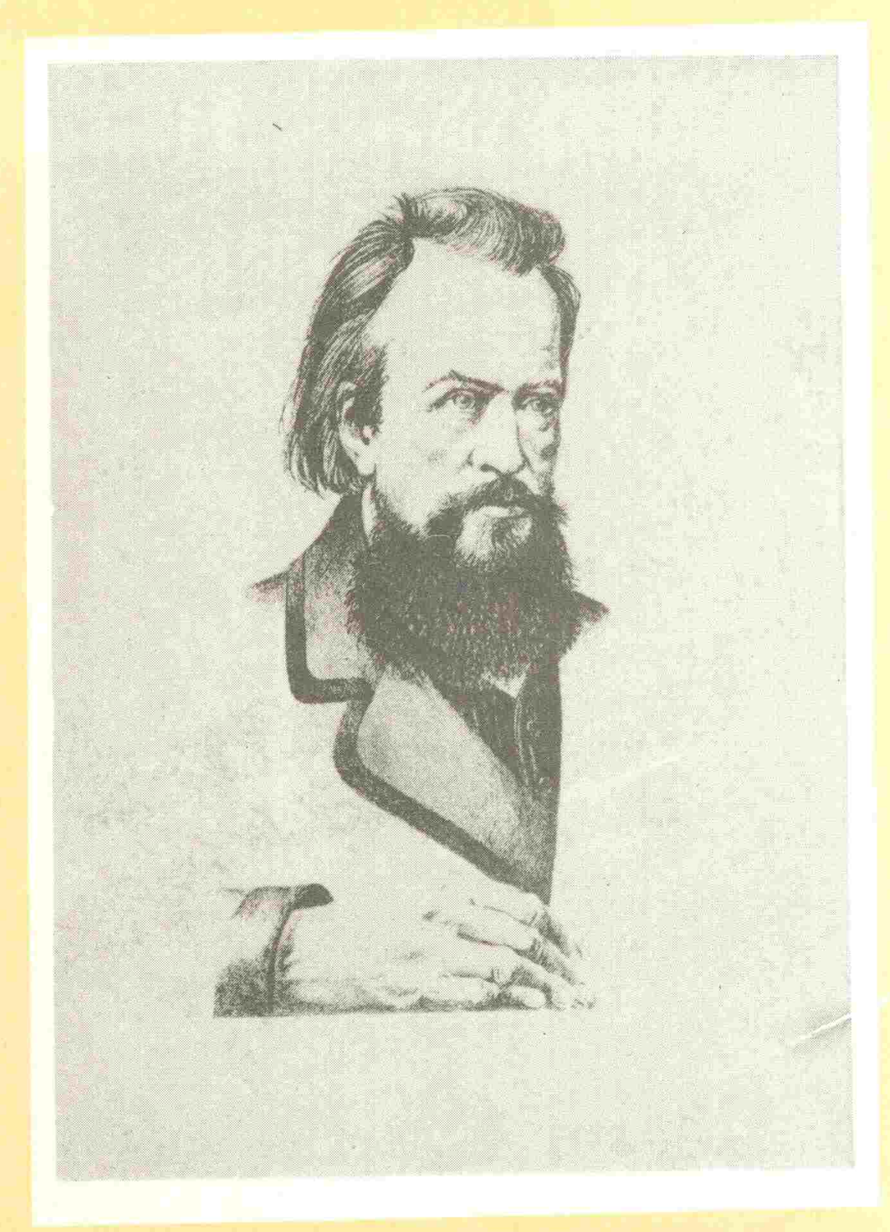
Федор Иванович Тютчев (1803—1873)



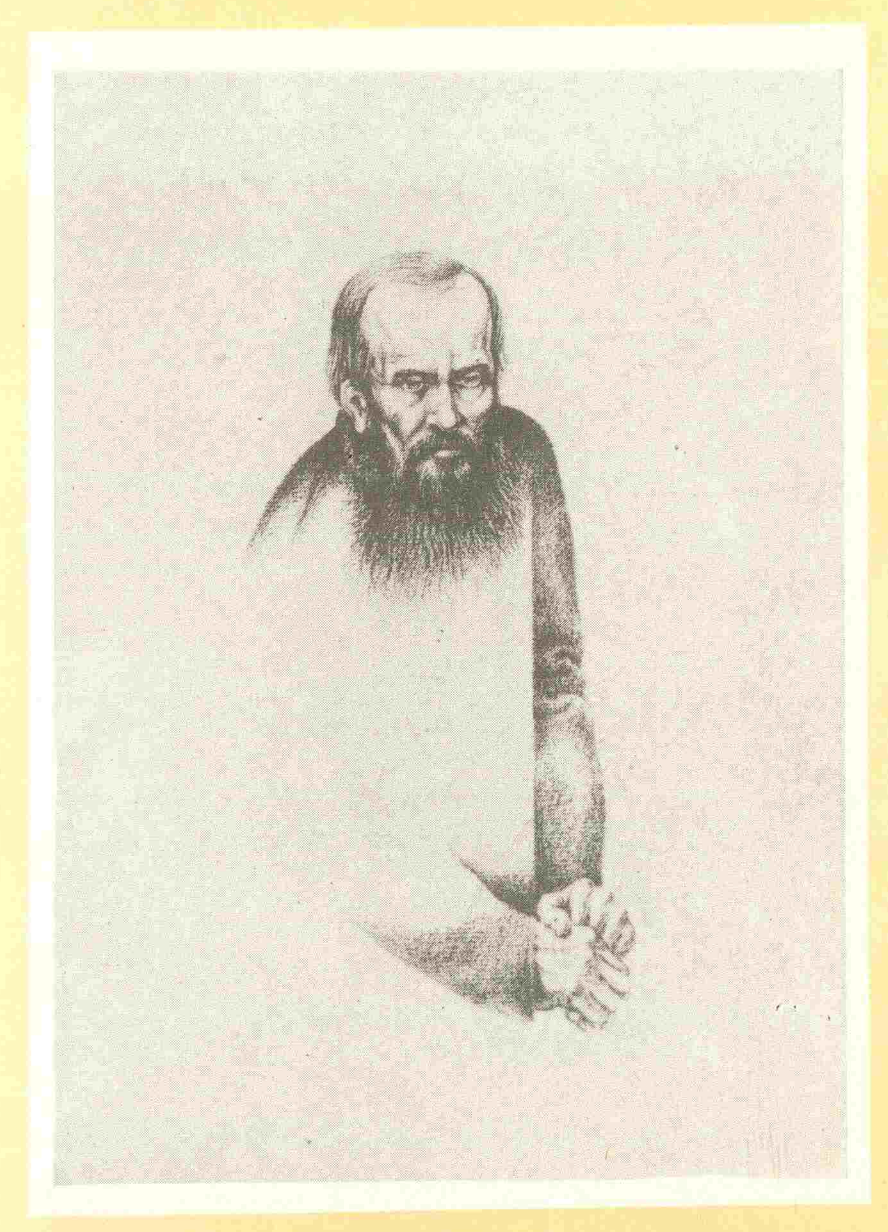
Николай Васильевич Гоголь (1809—1852)



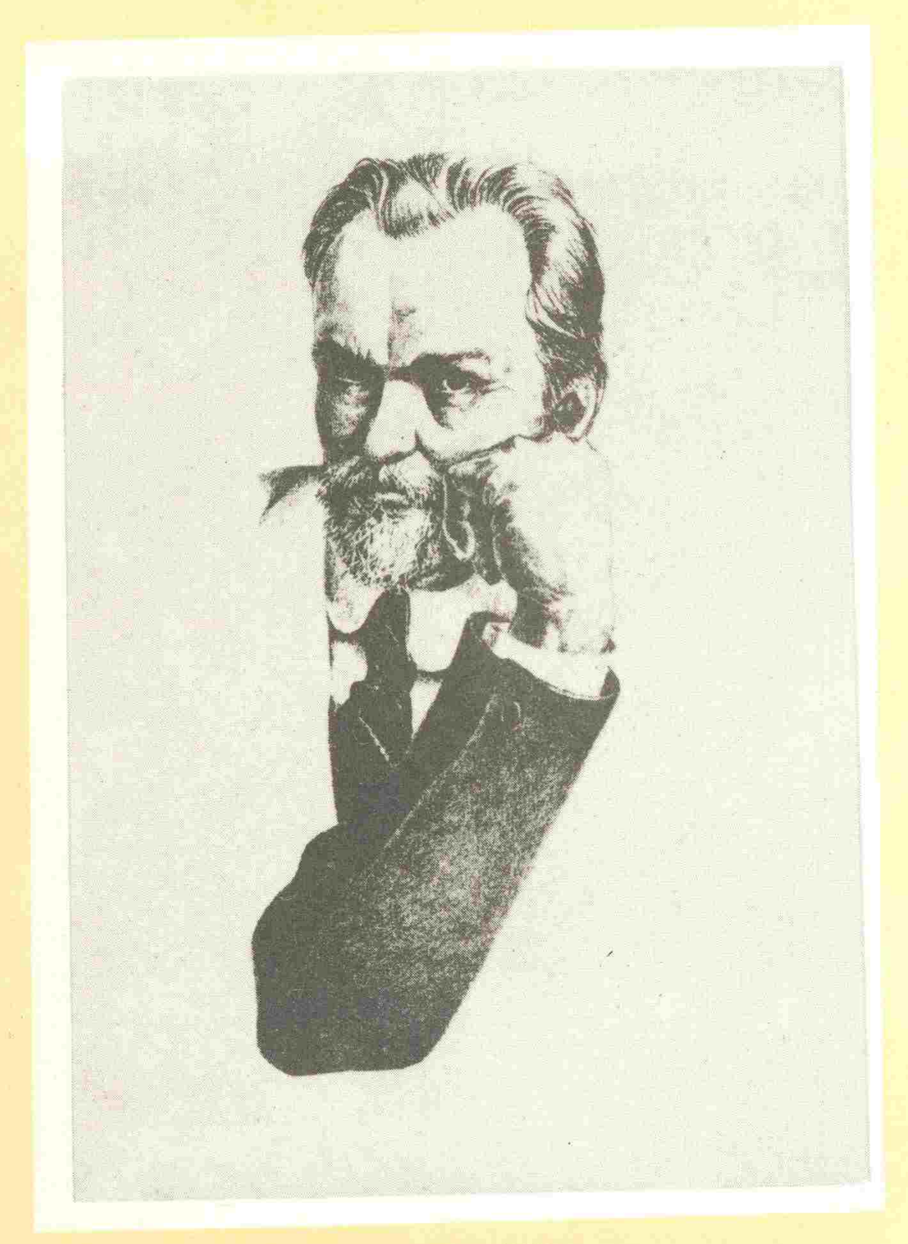
Петр Яковлевич Чаадаев (1794—1856)



Аполлон Александрович Григорьев (1822—1864)



Федор Михайлович Достоевский (1821—1881)



Василий Васильевич Розанов (1856—1919)

данье. Для того, чтобы беречь друг друга, много ли нам надо друг о друге знать? Все, что мне для этого было необходимо, я знал. Знал и все равно — убил.

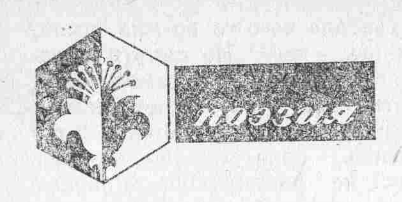
Нет, нет, не то. Не то и не так. Да что случилось-то, эй! Двое мальчишек упали с дерева — так ведь тысячи мальчишек ежедневно падают с тысяч деревьев, и многим из них приходится куда хуже, чем пришлось нам с Црипой. Ветка? Так абрикос остался жив-здоров еще многие годы, и если и погиб сейчас, то не нашим небрежением и не наша в том вина. Или — наша? Вернее — и наша тоже? Но тогда, выходит, все перед всеми и во всем виноваты, и никому ни в чем нет оправданья, и жизнь не в жизнь. Шалишь, брат, напраслина. Дед Дато знал, что мы полезем на дерево без спросу — не сегодня, так завтра, не мы, так другие,— знал наперед и наперед нас всех простил. Даже и не простил, там и прощать-то было нечего: для того он и смотрел за деревьями и сажал их, чтобы мы могли на них лазать, а уж коли завели моду спрашивать, то это наше было дело. Потому он ничего никому о внуке и не говорил. Он был стар, очень стар. Пора, как сказал дед Ростом. И все-таки, все-таки...

Я ведь вернулся тогда и смотрел, как капают слезы с твоего большого горбатого носа, я смотрел на твою темную, заскорузлую руку, нежно гладившую зеленые листья, на всего тебя, коленопреклоненного, седовласого, понурого. Зачем, что толкнуло меня? Я сидел у твоей постели, когда ты умирал, я смотрел, как ты готовишься к смерти, даже помогал тебе — и не увидел, не понял. Мал был? Чепуха! Достаточно взросл, чтобы понять. Значит, не хватило чего-то во мне самом, чего-то важного — чего? Не смерти я испугался, когда заболел, а самого себя, своей слепоты. Так. Или, может быть,— не так. Не знаю, в общем. Можно было Црипу спросить, пока мы еще учились вместе, пока не разъехались в разные концы нашей огромной страны и не потеряли друг друга. Прямо спросить: что чувствует он? Не считает ли и он себя виноватым. Но не спросил. Если и считает, так что? Мне не легче. Его вина это его вина, пусть он разбирается в ней сам, никто не сможет помочь ему, как никто не поможет и мне. Одна вина на двоих не делится, она, напротив, только удваивается, и каждый остается при своей ноше — что взвалил, то и неси.

Ты простишь меня, дед Дато. Ты уже меня простил. Вернее, ты меня никогда и ни в чем не обвинял. Да меня и не в чем обвинять, если разобраться. И меня, и Црипу. Но вот прощу ли я сам себе? Свою вину или свою невиновность? Потому не прощу, что если я и виноват, то не перед тобой и не перед людьми, а перед самим собой.

Иногда я пою во сне и просыпаюсь в слезах. Тихая печаль томит меня, я смотрю на людей и вижу в их лицах отраженье твоего: твою мудрую усмешку, твою седую бороду, твои добрые слезящиеся глаза. Благословенна будь память, умеющая хранить печали и вину. Я пою «Цицинателу», и твой шелестящий шепот сопровождает меня вторым голосом в мерцающей тьме грядущего, и ведет меня за руку, как поводырь ведет слепого.

Чемо цицина-атела-а...



Алексей ШМАНОВ

ЧЕРНОВИК

Эта жизнь — черновик.
Я черкаю пером по живому.
Не сжигаю ненужное,
Все почему-то храню.
Эта жизнь — черновик,
И рождается новое слово,
Но становится ложным
И режет себя на корню.

Эта жизнь — черновик,
Только стали уже непонятны
Ни конечная цель,
Ни сама изначальная мысль.

Эта жизнь — черновик,
Но сливаются темные пятна,
И меж ними, как в щель,
Проскочил трижды проклятый смысл.

Я уже не ищу его.
Бог с ним, и много ль в нем проку?
Эта жизнь — черновик,
По живому черкает рука.
На границах ли сущего
Снова ступать на дорогу?
Эта жизнь — черновик.
Что первичнее черновика?

□ □ □

Я выпустил джина, когда заступил за черту
Запретную. Вот он, казалось, таинственный Понт.
Но это лишь часть. Я за целым шагнул в темноту
И понял, что мне никогда не догнать горизонт.

Что мир недостроен и поиски смысла — абсурд,
Что в книгах пророков лишь капля прозренья на литр,
Что волею рока наш черный бессмысленный труд,
Как кара и плата за этот блистательный мир.

Что плахи, как вехи, — по ним мы взбираемся вверх —
Лишь этот прогресс не подвластен всеядности цифр.
И что мне теперь мой успех или мой неуспех?
Меняю поэму на пару заношенных рифм!

Меняю прозренье на пару заплаканных глаз
И посох пророка на старый поломанный зонт.
Я понял, что все это, все это было не раз,
Я понял, что мне никогда не догнать горизонт.

Я выпустил джина, но кто же из нас господин?
Я даже не волен свернуть или сбиться с пути...
На этой дороге я должен быть только один,
Предчувствуя смутно, кто встретит меня впереди.

□ □ □

Когда знакомый мир оставишь за спиною,
Лишь руку протяни — незнамое, брось,
Не пробуй объяснить, что там перед тобою:
Мираж, метеорит, звезда, комета, гвоздь.

За этой гранью нет того, что познается.
Лукавый объектив поймает пустоту.
Но снова тьма страшит, и снова свет смеется,
Подобием детей, поверивших в мечту.

На ощупь, наугад... Нелепая задача
Сравняться, осознать, стать выше.. Для чего?
Бессилие и страх. Ты слышишь, черт, я плачу,
И я не избежал проклятья твоего!

Ты слышить, бог, зачем мне этот разум, жалкий,
Бесовский механизм разлаженный, скажи?

Но все мои слова, как мертвому припарки.
Иди в любую даль — ни грани, ни межи...

□ □ □

Андрею Богданову

Что он искал? От жилы золотой
Он сам ушел неведомо куда
За миражем, за призрачной звездой
В иные земли, просто в никуда.

Там свет светлее и темнее тьма,
Простое проще, сложное сложней,
Но, как и здесь, все те же Русь и мать,
И истина, которую познать
Не дал господь нам — ни ему, ни мне.

Но он ушел. И чем я помогу?
Я сам плутал недавно в тех краях
И чуть живой вернулся к очагу,
Вернее, новый выстроил очаг.

По одному. Не терпит суеты,
Не терпит толкотни сия земля.
Сегодня я, а значит, завтра ты.
Сегодня ты, а значит, завтра я.

Так и идем цепочкой без конца,
Но между нами целые миры.
И пот стекает золотом с лица
И прячется под пылью до поры.

И он ушел. Теперь не мой черед.
Не пожелаю счастья. В той стране
Он ничего, возможно, не найдет.
Ведь там иное золото в цене.

Алексей Николаевич Шманов родился в 1959 году в г. Липецке. С 1984 года живет в Иркутске. Работает мастером в СПТУ-1. Стихи публиковались в газетах, альманахе «Сибирь».

Валентин РАСПУТИН

МИЛЛИОНОЛЕТИЯ РОЛЬФА ЭДБЕРГА

Самое трудное в этом слове, сопровождающем книгу известного шведского писателя, ученого и общественного деятеля Рольфа Эдберга, — удержаться от чрезмерного цитирования и восторженных оценок. Полностью избежать ни того, ни другого не удастся. Восторженные оценки умерит, вероятно, сам предмет разговора, не располагающий к благодушию. Ибо с какой бы уверенностью не сказано было «смертельно», оно и есть «смертельно», последнее слово перед катострофой. Инстинкт самосохранения должен заставить человека, услышавшего предупреждение об опасности, непроизвольно остановиться и отшатнуться, то есть внять ему, а не любоваться тембром голоса.

Помню, какое нетерпение охватило меня, когда несколько лет назад я прочитал выпущенные тем же «Прогрессом» под одной обложкой две книги Эдберга — «Письма Колумбу» и «Дух Долины». Казалось бы, несогласующиеся слова — нетерпение от опоздания, однако мое настроение таким же и было. Я словно бы получил новое зрение, проницательное через любые сроки и объятельное любые расстояния, мне хотелось немедленно воспользоваться им и происшедшим от него переменами, и каково было сознавать, что человечество, похоже, уже перешло свой Рубикон на противоположный берег, где его усилия по спасению окажутся тщетными, а если еще не перешло — продолжает двигаться в том же направлении. Каково было убедиться, что оно промотало, как последний игрок, почти все свои имения прошлого и будущего и что отныне требуется неимоверные усилия, чтобы сохранить оставшееся.

Эдберг не отчаяние в меня вселил; отчаяние наступает, когда не знаешь путей выхода. Тут пути были ведомы, я представлял их и до книг Эдберга. Вернее, я представлял направление, а он дал карту. Карту объемного изображения прошлого и настоящего человечества с границами изменений, снабженную историей эволюции от простейших видов до гомо сапиенс и от гомо сапиенс к гомо техникус. Последнее произошло моментально и произошло в самолюбивом угаре, не считающимся с пользой и не стесняющимся в средствах. Это тоже был своего рода рубикон между человеческой эволюцией и революцией; с определенного периода, почувствовав себя вершиной развития, человек отлепился от единого природного организма и повел свою судьбу самостоятельно, приведя к результату, который мы сегодня имеем. Могли ли мы быть иными? Трудно сказать. Автор этой книги воздерживается от запрета срывать даже и самые опасные плоды с древа познания, считая, что человека в его любопытсве не остановить, но весь вопрс в том, как и для чего употребит он свои открытия.

Пока что это не только вопрос, но и трагедия. Трагедия ответа. Во имя собственного продолжения и спасения нам следовало бы быть другими. Когда соотносишь четыре миллиарда лет, которые потребовались для созидания столь прекрасной земной картины со

столь организованными формами жизни, с четырьмя десятками лет, оставшимися, как предполагают специалисты, до ее необратимого увядания, во взгляде, что нам следовало быть другими, не приходится сомневаться. Но что теперь делать, как измениться в срок, подобный вспышке молнии в ночи, осталась ли для этого хоть малейшая возможность?

Рольф Эдберг вселил в меня не отчаяние, а нечто более сложное. Мы не приходим в отчаяние от очевидности, что каждому из нас суждено умереть, воспринимая смерть как исполненность своего земного дела в цепи дел других поколений и как необходимый залог новой жизни. Больше того — мы могли считать, хоть и в этом можно видеть признак эгоизма, что если моя жизнь будет пройдена неудачно и неверно, сплавлена по течению обстоятельств — это мое дело, и на судьбе человечества она никак не может сказаться. Каждый из нас — только песчинка в пустыне и капля в море. А что такое песчинка и капля? Ничего. Но ведь когда-то и с чего-то, с какой-то малости привилось сначала заблуждение и эгоизм, затем принятое разумом и узаконенное моралью варварство человечества, в котором оно ныне театрально признается, не оставляя, впрочем, как в игре, своих пагубных страстей. С чего, как не с песчинок и капель каждой жизни, это началось и продолжилось? На примере воды в этой книге Рольф Эдберг показал планетарность капли, а мы можем перенести ее на человеческую жизнь и убедиться в огромной, а теперь еще и горькой ответственности прохождения земного пути. Как капля соединяется с каплей, а песчинка с песчинкой, образуя моря и горы, — скопилось в свое время и распространилось безучастие и равнодушие. «На наш век хватит» — это жвачная философия возникла не сегодня, а на подкрепление к ней явилось убеждение, что вожаки, ведающие истину, знают, куда ведут, и до дурного не доведут. И вот дошли, что на нашу жизнь уже не хватает, а вожаки, и истину расщепившие, как атомное ядро, во взрывчатую смесь, беспомощно оглядываются на дело рук своих...

«Наша слабость заключалась в том, — указывает Рольф Эдберг, — что мы дали увлечь себя к неизвестному месту назначения, когда слишком многое предупреждало о грозящей аварии. Что мы не подняли бунт и не заставили стоящих на мостике избрать более осмотрительный курс. Засомневавшись, мы должны были действовать последовательно, не ограничиваясь глухим ворчанием».

* * *

Рольф Эдберг — писатель одной темы, быть может, самой сегодня необходимой и острой. Советский читатель имеет сейчас возможность познакомиться с третьей его книгой, не считая вышедшего недавно в «Прогрессе» и одновременно в Стокгольме диалога «Трудный путь к воскресению», — между Рольфом Эдбергом и нашим ученым Алексеем Яблоковым. Это даже и не диалог, а монолог на два голоса, сравнимый с тем, как если бы двое выбирались из завала и, передавая друг другу кирку, искали выход к воздуху и свету, зная, что от их усилий зависит судьба многих и многих.

Василий Розанов, замечательный русский филосов и писатель, любивший сильные и парадоксальные выражения, однажды в шутку сказал: «Сам-то я бездарен, да тема моя талантлива». Но талантливая тема не потерпит посредственностей, она барышня со вкусом. А когда тема становится еще и кричащей — выкрикивать ее мало, ее нужно сказать так, чтобы слышали клетки тела. Зрячему: озрись, здоровому: исцелись; ученому: начни сначала — это ведь не пустые противоположения, а насущное требование к современному человеку, исказившему свое значение и призвание. И когда Рольф Эдберг в «Духе Долины» говорит, что теперешняя наука лишь начинает подводить к тем истинам и законам, которыми в тесном контакте с природой жили первобытные племена, я его более чем понимаю, потому что давно пришел к выводу, что ученье, как оно сегодня осуществляется, — тьма, по крайней мере, сумерки, из которых большинство не выбирается совсем, а остальные — слишком поздно. Оно, ученье, по-прежнему продолжает пришпоривать нас по ложным дорогам, ведущим в тупик, и заставляет утыкаться в узкую смотровую щель, называемую специализаци-

ей. Нам трагически недостает универсального, широкообзорного, опытосводящего взгляда. На исходе 20-го столетия последнего летосчисления, на краю пропасти от избранной цивилизации, мы чувствуем себя сиротами, которым не передали родительский опыт. Лишь смутно порой доносится в новом звучании: «жизненная демократия» (жизненная, а не социальная, дающая одинаковое право на существование всему, что есть на Земле), лишь чудаки, вроде Рольфа Эдберга, изредка вспомнят Франциска Ассизского с его проповедью «нашего господина брата солнца и сестры луны», «брата ветра и сестры воды», «сестры нашей земли-матери», «милой сестры нашей смерти».

«Капли воды — капли времени» и «Дух Долины» — это продолжение одной книги другой. Продолжение до тех пор, пока вода не создала человека, затем параллельные движения, перекличка, общий взгляд на эволюцию с разных географических точек. Мысль из одной книги свободно переносится в другую, подхватывается, уточняется, усиливается. Если может быть монолог двоих, то это диалог одного. Чтобы проследить пути воды, Рольф Эдберг поднимается в норвежские горы Рондане; чтобы проследить пути человека, он едет на его родину в Африку, в ущелье Олдувай в Кении, где в 50-х годах этого столетия найдены останки самого древнего нашего пращура, более двух миллионов лет назад поднявшегося на ноги и начавшего движение по планете. Разные времена, разные точки отсчета, разные причины и судьбы — и все в сущности едино, все взаимосвязано и существует в одном течении.

Вода — проматерь и человека и жизни. Проматерь и основа основ всякой живой клетки, которая без воды не могла бы зародиться, развиваться и существовать. Наш мир по неведомой счастливой случайности (объяснения, понятно, появились, но они могут быть лишь предположениями) — единственная водная планета и потому единственная обитель жизни в солнечной системе. Вода создала нас, и она в буквальном смысле нас кормит и поит. «Все наземные существа — морские эмигранты». «Первый звук, воспринятый человеком, был звуком моря». «Некогда в мировом океане возникло первое семя мысли». «Вода содержится не только в тканях тела, она пропитывает и душу». Это пунктирное и, естественно, неделикатное извлечение из текста книги «даров» моря тем не менее способно заставить нас взглянуть на воду с тем чувством, которого она заслуживает.

«Капли воды — капли времени» — гимн воде, пропетый художником и ученым в одном лице с такой силой, на какую лишь способна благодарность, смоченная слезами. Потому что это одновременно и плач по воде, исторгнутый с неменьшей страстью. «Единственная в солнечной системе водная планета стала планетой оскверненных вод». Каждое чувство в отдельности — и благодарности и скорби — могло быть и шире и ярче, но, соединившись вместе, оно стало пронизывающим. Едва ли кому удастся освободиться от него. И на воду мы отныне станем смотреть с благоговением и печалью, представляя себя отнесенными к тому водоразделу, где спасительная влага превращается в опасность. «Подобно Леонардо да Винчи, людей разных эпох и разных стран волновала мысль о том, что, опуская руку в поток, ты прикасаешься к концу того, что было, и к началу того, что будет».

Чтобы рассказать о том, что было, Рольф Эдберг, человек планетарного мышления и энциклопедических знаний, мог бы для обозрения планеты в ее миллионолетиях, обойтись и без высокой географической точки. Она понадобилась ему, чтобы начать путешествие с простейшего акта творения — с чистой капли воды, набухшей утренним часом от прилива корневой влаги. А чистую каплю воды отыщешь ныне не в любом месте.

Удивительны совпадения, с какими, удивляясь и вопрошая, считывают с этого чуда жизни свои мысли Рольф Эдберг и русский писатель Виктор Астафьев, один в горах Рондане, другой на енисейских берегах. «Как хорошо, что меня не убили на войне и я дожил до этого утра», — замерев над енисейской каплей, посвятив ей замечательный монолог, благодарствует русский писатель в романе «Царь-рыба». И заканчивает роман: «Так что же я ищу? Отчего мучаюсь? Поче-

му? Зачем? Нет мне ответа». Ронданская капля словно бы заставляет подхватить: «Вряд ли мы когда-нибудь получим исчерпывающий ответ на все наши «почему». Но частичный ответ, наверно, содержится в поглащаемых тобой каплях дождя, в миниатюрных океанах клеток и в молекулярных облаках космоса; на вопрос, зачем мы существуем, не будет ответа, но мы сможем лучше понимать, чем обусловлено наше существование. Всякий раз, когда мы поднимаем руку на что-нибудь в нашем мире, мы поднимаем руку на самих себя».

Разные языки, разные интонации, разные способы мышления, но суть одна: мы плоть от плоти и соль от соли природы, пришли в мир, рожденные ею, и вопросы наши — от случившегося отчуждения и невольной за это вины. И как знать, лет через двадцать или тридцать не проклянет ли новый писатель эту же самую каплю воды за принесенный ею глад и мор и не услышит ли в ответ, как может слышать только писатель: я тебя породила — я тебя и убью.

Рольф Эдберг, начиная свое путешествие с капли воды и прослеживая ее пути к истокам, рекам, морям и мировому океану, наблюдая за ее подъемом в атмосферу и падением на землю, за извечным и постоянным круговоротом воды в природе, рассказывая о могучих течениях по суше и морям, о свойствах воды и ее великой преобразовательной работе, пишет не популярный научный очерк, как может показаться с первого взгляда, оканчивающийся привычным теперь уже предостережением... Нет, его задача иная. Он словно бы и не ставит перед собой никакой задачи, а задача сама находит его, едва он застывает изумленно перед горной каплей воды, и вызывает на воспоминания такой древности, которую привычными мерками не представить и для которой поневоле приходится прилагать научное мышление.

То же самое происходит и в «Духе Долины». Автор не просто вспоминает сам, но и нас увлекает по мере чтения вспоминать все глубже и дальше. Он пишет так, будто при нас возникли материки, заполнились в последних границах моря и расселились, следуя ходу воды, народы. В нас живет каждое движение планеты и каждый шаг человека. Явившись в этот мир только лишь на миг, мы вобрали в себя всю его эпопею. Обладая этой памятью, этой генетической связностью — в нас, в каждое поколение без исключения, раз за разом закладывалось, подобно тому, как не надо никого приучать не делать себе больно, связность всего со всем и существования всего во всем. Природа рассудила, что ни к чему давать человеку для этого отдельный орган, все органы вместе должны были сообщать свою информацию. Мы это слышали, видели, осязали и обоняли. Чувство родства не только с тварным существом, но и с последней песчинкой и былинкой, лежащей и произрастающей подле, необходимости друг другу и дополнения друг друга вселялось, вероятно, в каждую клетку. И чувство соразмерности и справедливости, когда завещалось не брать у других больше того, что нужно, а взяв — вернуть.

Сами по себе, только лишь в своем теле и при своих способностях, мы еще не люди в духовном смысле, а биологический вид, выделившейся благодаря мозгу. Мы становимся людьми в окружении сил, сделавших нас людьми, подобно тому, как многодетная семья снаряжает сына в университет, лишая учебы других. Вот почему меньше всего человек чувствителен и инструментален, как должно бы ему, в четырех стенах, в которые он на большую часть жизни заключил себя, вот почему не приходит ему в голову философствовать над электрической лампочкой, имеющей форму капли, и не искать в ней смысла сущего, как ищем мы его над каплей воды в природе. И разве не верно, что мы чувствуем себя дома по-прежнему под открытым небом, а не в четырех стенах, где, должно быть, и свершились все искусительные открытия ума?

Как бы то ни было, одно из первых назначений человека, коль выделился он в главную на Земле фигуру, — пастырствовать всему ходячему и ползучему, лежащему и текущему, недвижному и растущему. Гомо сапиенс способен это понимать, гомо техникус — нет. Ибо свершившиеся в нем изменения если и не так разительны, как в человеке разумном в сравнение с человеком умелым, но доста-

точные, чтобы говорить о безрассудстве какого-то высшего порядка. Это приближающееся к машине функционально мыслящее существо, обладающее человеческим видом, — как электролампочка, имеющая форму капли, как самолет, имеющий форму птицы, как подлодка, имеющая форму рыбы. Это подобие с другой, а часто и противоположной начинкой. Перед лицом такого создания, расплодившегося буквально в десятилетия и захватившего в свои руки управление жизнью, можно бы сложить и слово и дело, если бы за его спиной совсем рядом не просматривался конец. И подчинится ему — значит, пойти против всего, над чем миллионы лет с великим тщанием трудилась Природа. Он не эволюционное создание, а его самочинное искажение.

* * *

Когда Рольф Эдберг впервые поднялся в любимые им горы Рондане, катастрофой еще и не пахло, и Земля оставалась в счастливом неведенье относительно своей ближайшей судьбы. Географию тогда еще не затмила экология и глобус Земли не напоминал облако от взрыва. Я моложе Эдберга на четверть века, но и я, впервые в юношеские годы увидев Байкал, не мог подозревать, какие над ним собираются тучи. Чистая вода в то время еще не вызывала удивления, она была нормой, и названия ни Рейна (чистый), ни моей родной Ангары (также чистая) не стали трагическим парадоксом, каким теперь на глазах становится и Байкал (богатая вода), все больше теряя свое великолепие и богатство.

Воды наши — грехи наши. Как и почвы, как воздух в их единстве среды обитания. В ней нельзя сохранить что-нибудь одно, разрушая другое. Но помните из Псалтыри: «Господь над водами многими. . .» Рольф Эдберг считает, что мы живем не на планете Земля, а на планете Океан. На две трети поверхность Земли занята водой, из космоса океан представляется единым разливом, а материки — как выступающие из него острова. Вода была и остается первоосновой жизни. У Эдберга любопытно было прочитать, что радиоастрономы ищут внеземные цивилизации в полосе волн от 21 до 18 сантиметров между водородом и радикалом ОН, которые и образуют воду.

Трагедия Земли заключается в том, что, плавая в воде, она все больше и больше начинает испытывать жажду. Еще десять лет назад можно было говорить лишь о жажде тропических, арабских и африканских слаборазвитых стран. За последние годы жажда переместилась в Европу, перекинулась в Америку, надвигается на Сибирь. Чистая и безвредная вода всюду становится редкостью. 80-е годы были объявлены ООН десятилетием пресной воды, специальной программой намечалось обеспечить ею каждую страждущую семью. Но программа эта не выполнена, на нее не хватило денег, которых потребовалось бы столько же, сколько мир тратит на вооружение за пять недель. Пять недель — десятая часть года. Если бы всего лишь десятую часть военного бюджета всего лишь одного года, как кружку воды из ведра не пожалеть! . . Но нет, не нашли возможным взять толику из того, что пойдет на дальнейшее уничтожение и воды и воздуха.

За малыми исключениями сегодня вся планета пьет зараженную жидкость, которую лишь условно можно назвать водой,— отравленную или промышленными сбросами, или химическими удобрениями, или глобальным круговоротом в природе ядов, в котором уже нельзя отыскать ни начал, ни концов.

В «Каплях воды...» приведены некоторые результаты варварского обращения человека с водой. Не только, разумеется, с водой но книга рассказывает о воде, потому и приходится брать ее как нечто отдельное, что в природе невозможно. Факты эти потрясают. Внутренние водоемы являют, как правило, печальную картину, сильно пострадал и Мировой океан, превращенный в свалку всяческих, в том числе и радиоактивных, отходов и ставший полем неравной борьбы с его обитателями. Но еще более, чем сделанное ужасают планы человека на будущее — с плавучими городами, подводными нефтепромыслами и атомными станциями в океане. Независимо от того, удастся или нет их осуществить (речь идет не о технических возможностях), сами по себе эти планы, как и нежелание мирового людского сообщества

поделиться десятой частью военного бюджета, есть красноречивое свидетельство того, что руководительной силой до сих пор остается нетрезвое мышление и что, вынужденное оглядываться на раздающиеся со всех сторон предостережения, оно тем не менее продолжает придерживаться избранного направления. Команда бунтует, в рулевой рубке и на капитанском мостике соглашаются, что да, идти прежним курсом гибельно, но курс не меняется, и что из того, если сброшены обороты двигателя, если одно за другим создаются специальные органы по повороту руля и принимаются трезвые решения, а руль — как заклинило.

Наша страна — одна из самых богатых, если не самая богатая водными ресурсами. Только Байкал — обладатель пятой части поверхностной пресной воды на планете. И это не простая вода, а вода высшей пробы, как никакая другая, насыщенная кислородом. Сибирские реки принадлежат к числу величайших на Земле. Европейская часть страны также не бедствует озерами и реками, малыми и большими. На юге — Каспий, Арал, Балхаш, Севан. Морские границы насчитывают многие тысячи километров.

Словно чума пронеслась над «водами многими» седьмой части света в последние четыре десятилетия. Днепр, Дон, Кубань, Днестр несут вместо живительной влаги перенасыщенные промстоками и химстоками растворы. Несть числа пересохшим малым рекам. Не надо больше гадать, «чей стон раздается над великою русской рекой», — то стонет сама Волга, обезображенная плотинами и до предела загрязненная промышленностью. Арал объявлен зоной экологического бедствия, над Севаном, как и над заливом Кара-Богаз, произвели безграмотную и губительную операцию. Каспий, Ладога и Азов плещут тяжелые от взвесей волны. Могучие сибирские реки, осиянные огнями крупнейших в мире гидростанций, представляют собой невеселую картину водохранилищ, из которых ни испить, ни освежиться. Чудом уцелевшая до сих пор Лена сейчас спешно пристегивается к «плотинному» хозяйству. История с Байкалом, не произойди она от отечественных голов, напоминала бы диверсию, а нынешние хлопоты по его спасению, кажется, подчинены правилу: чтобы возродить Байкал, надо его окончательно уничтожить.

И хотелось бы верить в опамятование, в разумные теперь уже не начала, а концы человека, в его искупительный опыт, но как поверить во все это, если... продолжение следует в том же духе. Минэнерго в ближайшие 15 лет планирует строительство около сотни гидростанций, и среди них равнинные большой мощности и с огромными затоплениями земель. Чернобыль вселил в нас страх, но не вселил осторожность: сооружение атомных станций продолжается, а они, даже в случаях безаварийной работы, поглащают реки воды. Говорить же о безаварийности при растущем количестве АЭС не приходится, это сказки для простачков, которых не осталось.

В подлинного губителя отечественных вод превратился Минводхоз — Министерство мелиорации и водного хзяйства. При этом звуке — Минводхоз, — кажется, вздрагивает в испуге вся наша земля, столь счастливая озерами и реками. Это он, Минводхоз, тратит огромные ассигнования на авантюрные проекты, вроде поворота северных и сибирских рек на юг, это он неумеренными поливами вывел из севооборота миллионы гектаров пашни, это он загубил Арал, с его попустительства и его руками (да нашими деньгами) бессмысленно, но вредоносно перекачиваются реки и моря бесценной влаги.

И пока бесконтрольно властвуют на нашей земле такие могущественные, как Минводхоз, и коррумпированные объединения — как можно рассчитывать на завтрашний более утешительный день?!

* * *

И все же без надежды нельзя. Это она заставляет нас повторять одни и те же истины и бороться за них, главные истины, которыми пренебрег человек; это она продиктовала книги Эдберга и поднимает его, несмотря на преклонные лета, из дома и отправляет выступать с лекциями среди студентов, рабочих, профсоюзных активистов. Потерявший надежду опустил бы руки.

Я был в гостях у Эдберга в егс родном городе Карлстаде. Полный вечер провели мы в разговоре. Говорить с ним не просто, это челевек такого богатства ума и знаний, что, кажется, и великим, когда он достает их с книжных полок, доставляет радость беседовать в его обществе. Такие люди в 20-м столетии, когда принялось отдавать образованию, как повиности, определенный срок, а потом питаться крохами со стола самосева, такие люди ныне редкость. В этом легко убедиться и по книгам Эдберга.

Писать он начал поздно. Он прожил интересную жизнь дипломата, многолетнего члена парламента, губернатора штата. Кстати, в заслугу себе как губернатору он ставит перемены, происшедшие в профсоюзах: готовые раньше ради сохранения рабочих мест держаться за любое грязное производство, они обрели экологические принципы. Мы с этой проблемой только-только начинаем сталкиваться, когда министерства, чтобы сохранить убийственный для окружающей среды цех или завод, пользуются мнением рабочих коллективов.

Уже в почтенном возрасте, во время одного из путешествий в обществе внуков, Рольф Эдберг решил оставить для них нечто вроде завещания о наследовании Земли. Это и были «Капли воды — капли времени». Одна книга потянула за собой вторую, вторая — третью...

Без надежды нельзя, и Рольф Эдберг видит эти надежды. Повторим, что его диалог с Алексеем Яблоковым так и называется — «Трудный путь к воскресению». Пути пока еще есть, но с каждым годом и днем они становятся все труднее.

Да, мир меняется в своем отношении к собственному дому. Нарастает экологическое движение, появляются новые, более чистые и менее энергоемкие технологии, человек начинает понимать опасность жить и мыслить прежними категориями потребительства. Экомышление, экосовесть, экософия становятся привычными понятиями. Молодежь, напуганная грозящими ей перспективами, объединяется и требует спасительных действий. Все это, когда б не опоздало оно, способно приостановить разрушительные процессы. Но — не освободиться от них. Однако, сейчас и важней всего — приостановить. Но внукам нашим придется решать задачу посложней, чем новые технологии и экологические организации. Во имя продолжения рода им предстоит воззвать в себе, поднять почти из небытия, воспитать и утвердить гомо моралис и начать эту огромную работу с «жизненной демократией».

В «Духе Долины» у Рольфа Эдберга есть предположение, что миллионы лет назад хлынувшая из недр земли от гигантских разломов радиация могла в результате мутаций поставить четвероногое существо на две ноги и сделать его человеком. Не надо далеко ходить, чтобы сегодня сделать предположение обратного порядка: радиация, распространившаяся по планете в результате деятельности этого человека, способна опустить его обратно на четвереньки. С точки зрения природы, это будет справедливо.

Продолжать ли нам петь безумству храбрых песни, или все-таки употребить храбрость вместе с умом на то, чтобы избежать непоправимого?! Эти слова давно уже не звучат вопросом, но не стали и действием, а застряли где-то между вопросительным и восклицательным знаками.

Александр Дулов

Иркутская летопись (1652-1856 гг.)

Интерес к прошлому, к истории своего города всегда свидетельствовал об определенном уровне развития общества, его образованности, состояния его культуры. Конечно, Иркутск не был одиноким среди сибирских городов — летописные сводки существовали также в Томске, Енисейске, Верхнеудинске (ныне Улан-Удэ), Селенгинске. Однако «Иркутская летопись»[1], вернее, первый том ее, доводящий повествование до 1857 г.[2], несомненно, отличается особым богатством материала. Петр Ильич Пежемский и Василий Алексеевич Кротов были купцами. Как известно, иркутское купечество отличалось по сравнению с купцами Европейской России довольно широким кругом интересов. Из его рядов вышло немало заметных деятелей культуры. Иркутские купцы еще в XVIII в. вели записи событий в городе.

История создания первого тома «Иркутской летописи» требует глубокого изучения. Известно, что в настоящее время видный новосибирский историк, член-корреспондент АН СССР Н. Н. Покровский готовит к изданию монографию, посвященную сопоставлению списков иркутских летописей, которые обнаружены им в различных архивохранилищах. Пока же имеется возможность дать лишь краткую историю складывания «Иркутской летописи» и историю ее публикации.

Впервые сокращенный вариант «Иркутской летописи» был напечатан в «Современнике» в 1850 г. в номерах 6, 7, 8 под заглавием «Панорама Иркутской губернии». Несомненно, что Н. А. Некрасов, возглавляющий тогда редакцию журнала, опубликовал ее главным образом из-за того, что эпизоды, рассказывающие о злоупотреблениях иркутских администраторов XVII века, обладали сильным публицистическим воздействием. По-видимому, некоторые факты из этой летописи были затем обыграны М. Е. Салтыковым-Щедриным в «Истории одного города»[1]. В расширенном виде эта же летопись была издана в «Иркутских губернских ведомостях» (1858—1861 гг.). Наконец, в третий раз она была напечатана (в той же газете) в 1892—1898 гг., причем, кроме летописи П. И. Пежемского за

---

[1] Иркутская летопись (летописи П. И. Пежемского и В. А. Кротова). С предисловием, добавлениями и примечаниями И. И. Серебренникова. Иркутск, 1911.

[2] Позже, в 1914 г., в Иркутске же было издано продолжение этой летописи, составленное Н. С. Романовым и рассказывающее об истории города в 1857—1880 гг. Кроме того, Н. С. Романовым была написана еще одна рукопись под таким же названием, находящаяся в редком фонде фундаментальной библиотеки. Сейчас этот том, доведенный до 1917 г., готовит к изданию зав. отделом библиотеки Н. В. Куликаускене.

[1] Азадовский М. Очерки литературы и культуры в Сибири. Вып. 1. Иркутск, 1947. С. 60—61.

1652—1806 гг. была опубликована также летопись В. А. Кротова за 1807—1856 гг. В 1911 г. летопись впервые вышла отдельным изданием. Важную роль в этой публикации сыграл Иван Иннокентьевич Серебренников. В настоящее время это имя малоизвестно. И. И. Серебренников после февральской революции стал одним из вождей правых сибирских областников, во время гражданской войны был министром снабжения белогвардейского сибирского правительства, а затем эмигрировал в Китай[1]. Все эти факты, однако, не дают основания забыть о том, что в начале XX века, когда Серебренников жил в Иркутске и был правителем дел Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества, он написал немало ценных работ по истории и статистике Иркутской губернии. И. И. Серебренников дополнил летописи Пежемского и Кротова отрывками из других списков иркутских летописей, дал интересные комментарии к ним.

Иркутское летописание, по-видимому, началось в XVIII веке. Первым иркутским летописцем считают обычно посадского Василия Сибирякова, основателя знаменитой купеческой династии. Затем его работу продолжили сыновья Михаил и Николай, писавшие свои летописи независимо друг от друга. Эти две летописи видел директор иркутской гимназии С. С. Щукин. Была у него и еще одна летопись — летопись Щегорина[2]. Одну из этих летописей читал известный историк П. Словцов. П. Словцов назвал ее«краткой запиской XVIII века» и отозвался о ней критически: «В ней очень мало летописного. Она походит на станционную записку о приезде и выезде чиновников, да о приходе и отходе казенных караванов. Хронология летописи не безукоризненна...»[3].

[1] Серебренников И. И. Сибирская Советская энциклопедия. Т. 4 (гранки). Находится в библиотеке Иркутского краеведческого музея.

[2] Азадовский М. Очерки литературы и культуры в Сибири. Вып. 1. Иркутск, 1947. С. 60.

[3] Словцов П. А. Историческое обозрение Сибири. Кн. 1. М., 1838. С. XII.

Иркутские летописи знал А. П. Щапов, который считал их значительным культурным явлением. Он писал: «...тогда как великорусский народ с тех пор, как утратил свою областную, удельновечевую автономию, или «особность», перестал вести местные областные летописи вроде древней новгородской или псковской летописи, — сибиряки... и доселе имеют обычай вести свои местные, сибирские записи. Такова, например, «Домовая летопись семипалатинского капитана Андреева, иркутские летописи Пежемского, Тюменцева, Донского и др.»[1]. Летописи Тюменцева и Донского, о которых упоминает Щапов, не изданы и до сих пор.

Кроме того, имеется еще «Летопись губернского города Иркутска» (1652—1781 гг.), опубликованная в книге «Первое столетие Иркутска» (СПб., 1902). Эта летопись имеет свои особенности; И. И. Серебренников предложил назвать ее Баснинской, по имени ее владельца, известного купца и деятеля культуры Иркутска В. Н. Баснина. Еще один вариант носит название «Иркутская летопись» (1693—1755 гг.) и, по оценке И. И. Серебренникова, «вполне» сходен с Баснинской[2]. Есть и еще один неопубликованный список летописи — с 1652 по 1763 гг. Он не упоминается в «Иркутской летописи», изданной в 1911 году. А. С. Ковалева, зав. библиотекой Иркутского краеведческого музея, выявившая этот список, считает, что это — самый ранний вариант иркутских летописей. По ее оценке, список составлен в XVIII веке, имеет 29 листов, написанных черной тушью.

Перечисление указанных списков и вариантов иркутских летописей говорит о том, что их было не менее 11 — на самом

[1] Щапов А. П. Историко-географические и этнологические заметки о сибирском населении // Щапов А. П. Собр. соч. Дополнительный том. Иркутск, 1937. С. 157.

[2] Иркутская летопись (Летописи П. И. Пежемского и В. А. Кротова)... Прим. И. И. Серебренникова. С. 369.
Эта летопись была напечатана в «Иркутских епархиальных ведомостях» за 1900 г.

деле, конечно, гораздо больше. Таким образом, богатая, занимающая более ста лет история иркутского летописания представляет собой, вне всякого сомнения, одну из интересных, важных и недостаточно изученных страниц развития культуры нашего города.

Летопись Пежемского и Кротова — важный источник изучения прошлого нашего города. Кроме того, в ней рассказывается о событиях, касающихся всей Восточной Сибири, Дальнего Востока, Аляски. Представляющая собой как бы коллективный труд десятков авторов, летопись аккумулировала те факты, те события, сведения по истории города и Сибири, которые ее составители и информаторы считали наиболее важными, существенными. В летописи названы поименно не менее тысячи иркутян, рассказывается о судьбе сотен построек города, перечисляются многие события и факты.

Начинается летопись 1652 годом: «1652 год есть год основания Иркутска, которому положил начало сын боярский Иван Похабов, близ устья р. Иркута, на Дьячем острову, в виде зимовья, для безопасности от набегов бурят. Развалины этого зимовья видны и по сие время в ямых и окладных бревнах». Теперь эта запись представляется весьма сомнительной, так как, несмотря на большие усилия, не удалось отыскать сведений в архивах, которые бы подтверждали, что город был основан в 1652 г. Известный историк А. Н. Копылов пришел к выводу, что зимовья до постройки острога в 1661 г. не существовало, и иркутские историки Ф. А. Кудрявцев и Г. А. Вендрих в последнем издании своей книги с этим выводом согласились[1]. Автору данной статьи представляется, что точку все же ставить рано: легенда о поселении на Дьячем острове имеет весьма древнее происхождение и может оказаться обоснованной. Возможно, это сообщение, да и многие другие, в «Иркутской летописи» трудно подтвердить и потому, что грандиозный пожар 1879 г. уничтожил много ценнейших архивных документов. Поэтому «Иркутская летопись» в целом ряде случаев приобретает значение уникального источника.

Остановимся на тематике летописи. Во-первых, она содержит много интересного о природе города, его окрестностей, ее изменении под влиянием человека. Вот одна из первых записей такого рода (1721 г.): «Января 7-го, река Ангара покрылась льдом, причем последовало в г. Иркутске чрезвычайное наводнение, затопившее береговые места города; вода разлилась также по некоторым улицам». Причем летопись отмечает, что «против Троицкой церкви, у Медведева возвышения, воды было аршина на полтора». Ныне Троицкая церковь (каменная церковь, в которой располагался Планетарий) реставрируется; в 1720 г. на том же месте стояла деревянная церковь, около которой, очевидно, был какой-то небольшой холмик, вокруг которого вода поднималась более чем на 1 м. Следующая выдержка — описание каприза погоды, выполненное даже с некоторой долей художественности (1795 г.): «Июня 12-го. При западном ветре, на сей день шел ночью дождь, а в 6 час. утра пошел снег очень густо и валился крупными хлопьями наподобие осиновых листьев, при +2°, шел ровно 2 часа, толсто покрыл землю, дома и окружающие город горы и леса белизною, изменил летний вид в совершенную зиму; стаял, сделал грязь и не причинил вреда растениям».

Еще один рассказ о грозном явлении природы, приведшем к трагическим последствиям: «27 июня, в 7 час. пополудни, сошлись с SW и W тучи, произвели над городом ужасный гром и молнию, в 9 часу повторились удары грома, убит в триумфальных воротах (Московских, стоявших на берегу Ангары, в начале нынешней улицы Декабрьских событий.— *А. Д.*) мальтинской деревни крестьянин. Молния зажгла дом иногороднего купца Льва Николаевича Протодьяконова, убила его жену, которая во-

---

[1] Кудрявцев Ф. А., Вендрих Г. А. Иркутск. Очерки по истории города. Иркутск, 1971. С. 11—12.

обще сгорела с домом, соседние дома Курсина, Колодезникова, Некрасовой и цехового NN разломаны до основания» (1816 г.).

Летописи составлялись купцами, которые придерживались, несомненно, передовых для своего времени воззрений, близких к либеральным. Отсюда большое внимание к борьбе между городскими правителями, стремившимися вести себя как полновластные феодалы — крепостники. Особенно страдали от градоначальников купцы, у которых, естественно, было чем поживиться. Борьба городского населения против этих необузданных «сибирских сатрапов», в результате которой купечеству иногда удавалось добиться даже смещения отдельных правителей, достигала большого накала.

Конечно, из жителей Иркутска, которыми обильно «населена» летопись, больше всего пишется о местных администраторах. Почти каждому из начальников дается характеристика, как правило, правдивая и объективная. Приведем пример разносторонней оценки иркутского губернатора Б. Б. Леццано (в Иркутске был с 1798 по 1802 гг.): «...он был человек гордый, надменный и сух в обращении, но был честен, добр и бескорыстен в полном значении слова». Вот как описан Ф. Г. Немцов (иркутский губернатор 1776—1779 гг.): «...он был человек неблагонамеренный, употреблявший непомерную строгость собственно для того только, чтоб более брать взяток и нажить более денег, с подчиненными служащими обходился неблаговидно и определял к должностям не иначе как взяв значительные подарки».

Очень любопытен рассказ об иркутском губернаторе И. Т. Нагеле (в Иркутске был с 1791 по 1798 гг.). Это — «человек деятельный, трудолюбивый и строгой нравственности». «Однако ж Нагель, кончил свое служение в Иркутске не без последствий и клеветы и... на него был какой-то неизвестный донос... За Нагелем прискакал фельдъегерь, и — представьте себе состояние бедного Нагеля, везомого на перекладных в С.-Петербург. Он был представлен государю Павлу Петровичу. Государь вначале гневно, но пристально смотрел на Нагеля и спросил: «Не тот ли ты Нагель, который в таком-то году служил в таком-то гусарском полку?» Получив удовлетворительный ответ, он бросился на него, обнял и сказал: «Я знаю тебя, ты честный человек, на тебя солгали». И тут же поздравил генерал-лейтенантом, назначив военным губернатором в Ригу, а при расставании пожаловал Нагелю орден св. Александра Невского.

Жители города, не имевшие военных или гражданских чинов, гораздо реже попадают на страницы летописи. Но и здесь иногда встречаем краткие, хотя и довольно разносторонние характеристики. Например, в 1855 г. «17 июля скончался второй гильдии купец Семен Иванович Сумкин, на 65-м году жизни; 20 июля в Спасской церкви было отпевание. Он имел торговлю много лет в Якутске; в 1847, 1848 и 1849 году служил городвым судьею; был человек скромный и добрый».

На стр. 367 находим характéристику советника главного управления Восточной Сибири Н. Е. Тюменцева, умершего в 1856 г., первого иркутянина, получившего чин, равный генеральскому, несмотря на то, что он происходил из низов: «Усопший Николай Егорович Тюменцев был уроженец города Иркутска, сын простого казака, с молодых лет поступил в гражданскую службу. Имея отличные способности и деятельно продолжая службу, всегда более при главное начальстве,— он первый из уроженцев Иркутска дослужился до генеральского чина. Имел орден св. Владимира 3 ст., св. Анны 2 и 3 ст.; был женат вторым браком на купеческой сестре Ирине Степановне Малковой, которая теперь осталась вдовою с четырьмя от него малолетними детьми, от первой его супруги осталось тоже трое детей, но уже взрослые».

Поскольку Иркутск длительное время был центром огромного генерал-губернаторства, летопись уделяет немало внимания и другим городам и районам. Приведем выдержку, свидетельствующую о том, как неблагоприятные погодные условия повлияли на снабжение хлебом Якутска. «Сего 1837 года повсеместная засуха и воды в реках необыкновенно малы. По реке Лене не

уплыли 38 барок с хлебом, которые зимовали на Лене; в них было казенного и частного хлеба до 171000 пудов. В Якутске цена на хлеб вдруг возвысилась от 1 р. 10 к. до 3 р. 75 к.».

Иркутские летописцы довольно подробно описывали народные праздники, важные события из жизни города. Так, о прибытии первого парохода в 1844 г. сказано: «26 июня, в 8 часов вечера, в Иркутск прибыл первый пароход «Николай I», построенный от города в 18 верстах вверх по Ангаре, в селении Грудининой, ростовским первой гильдии купцом золотопромышленником Семеном Федоровичем Мясниковым; остановился против казенной аптеки; позволял входить на него и посмотреть его устройство, а 27 дня, в 7 часов вечера, из Иркутска поплыл пароход в Вознесенский монастырь для служения молебствия святителю Иннокентию; на пароходе играла полковая музыка, палил пушки; следовали на нем до монастыря генерал-губернатор Руперт, гражданский губернатор Пятницкий и очень много почетных чиновников с семействами; спустились ниже монастыря до Жилкиной, и там простояли до 29 июня, и в 8 утра пароход прошел вверх по Ангаре при действии своей машины и парусов и остановился ненадолго повыше Триумфальных ворот, а потом против казенной аптеки и в 4 часу дня ушел к Байкалу».

А вот картина проводов 1855 года: «31 декабря вечером старый год провожали, а новый встречали великолепною иллюминацией. Против дома генерал-губернатора Муравьева устроен был фейерверк в разных видах, вензель из плошек и играла музыка; по всей Большой ул., начиная от берега реки Ангары и до речки Ушаковки, по обе стороны Большой улицы, поставлены были плошки и протянуты на подставках веревки, вышиною наравне с фонарными столбами; на этих веревках развешаны были очень часто разноцветные фонари — около трех тысяч. Публичный театр был весь иллюминирован плошками в разных видах с вензелем; не доходя немного реки Ушаковки, по Большой улице, против дома Ланина, на средине Ланинской улицы построен был большой щит с вензелем, освещенный плошками. Стечение зрителей было очень многочисленно»[1].

В текст летописи введено более десяти эпизодов, которые можно назвать «вставными новеллами». В их числе — отчет о деятельности Российско-американской компании, рассказы о злоупотреблениях администраторов XVIII века — Жолобова, Крылова и др., церемонии, связанные с обретением мощей святителя Иннокентия.

Иркутская летопись почти на всем ее протяжении выдержана в едином стиле. Но изложение событий постепенно становится все более подробным. Все более подробными становятся и записи о природе. Так, к 1718 г. относится первая запись о наводнении (но конкретные дни не указаны). С 1721—1722 гг. отмечаются точные даты вскрытия и замерзания Ангары и лишь по отдельным годам встречаются в дальнейшем пропуски этих дат. Первая точная датировка землетрясения относится к 10 июня 1742 г., первая запись о небесном явлении (затмении Луны) — к 1772 г. («7 апреля в 10 час. вечера»). С 1784 г. иркутяне фиксируют точные даты погодных явлений — бурь, гроз, ливней и т. д.

Очевидно, что первые записи летописного характера были сделаны в 1722 г. Об этом свидетельствует, по-первых, значительное увеличение фактического материала за годы 1722—1731. Во-вторых, именно за 1722 г. впервые указываются обе точные даты ледового покрова Ангары. А это показатель очень важный: поскольку в официальных документах того времени эти сведения не фиксировались, архивные изыскания здесь бы не помогли.

Таким образом, «Иркутская летопись» П. И. Пежемского и В. А. Кротова — очень важный и богатый источник, дающий много сведений о прошлом Иркутска, а также ряда городов и местностей Восточной Сибири и Дальнего Востока. Конечно, в ней не-

[1] Дом генерал-губернатора — ныне Белый дом; Большая улица — ныне К. Маркса; плошка — плоский сосуд с горючей жидкостью и фитилем, применявшийся для освещения; Ланинская улица — ныне Декабрьских Событий.

трудно найти и слабости. Летописцы мало интересуются положением трудового населения, «забывают» о политических ссыльных, преобладающее внимание уделяют правителям, священникам, купцам. Списки летописи содержат разнобой в датах, иногда — в именах и фамилиях. Однако главное заключается не в этом. «Иркутская летопись» — замечательный памятник культуры Сибири, сохраняющий и ныне все свое значение, книга, правдиво повествующая о жизни Иркутска первых веков его существования, доносящая до нас, кажется, даже сам аромат событий давно минувших лет.

Иркутская летопись

(Летописи П. И. Пежемского и В. А. Кротова)*
С предисловием, добавлениями и примечаниями И. И. Серебренникова

Предисловие

Летопись П И. Пежемского в том виде, как она воспроизводится здесь, печаталась два раза: во-первых, в старых «Ирк. губ. ведомостях» за годы 1858—1861 и, во-вторых, в тех же «Губ. ведомостях» за годы 1892-й и 1893-й.

Продолжением летописи Пежемского служит летопись В. А. Кротова; эта печаталась только один раз, в «Иркутских же губернских ведомостях» за годы: 1894, 1895, 1897 и 1898-й.

Эти две летописи и составляют «Летопись г. Иркутска», печатание которой в «Ирк. губ. ведомостях» шло в таком порядке:

в 1892 г.	было напечатано летописи	с 1652 г. по 1770 г.
в 1893 г.	—»—	с 1771 г. по 1807 г.
в 1894 г.	—»—	с 1807 г. по 1836 г.
в 1895 г.	—»—	с 1837 г. по 1844 г.
в 1897 г.	—»—	с 1845 г. по 1848 г.
в 1898 г.	—»—	с 1848 г. по 1856 г.

«Летопись г. Иркутска» печаталась, таким образом, целых шесть лет; следовательно, чтобы пользоваться этой летописью как историческим материалом нужно иметь у себя целую груду номеров «Ирк. губ. ведомостей», которые и сами-то по себе несобенно доступны для публики.

Пользование таким громоздким материалом, как «Ведомости» за шесть лет, тоже, конечно, не представляет больших удобств. Чтоб устранить эти неудобства и сделать «Летопись г. Иркутска» более доступною для интересующихся историей Сибири лиц, она издается ныне в отдельном томе «Трудов В.-Сиб. Отдела И. Р. Г. О-ва». Новое издание «Летописи г. Иркутска» вместе с тем и достойным образом увековечивает память иркутских летописцев: П. И. Пежемского и В. А. Кротова; в текущем 1911 году исполняется пятидесятилетие со дня смерти первого, через два же года, 23 декабря 1913 года, исполняется пятидесятилетие и со дня смерти второго. Со страниц «Губ. вед.» летописи перепечатываются без изменений.

За содействие в работе приношу глубокую благодарность П. С. Корзакову, Н. Г. Шергину, Г. А. Сахарову и Н. С. Романову.

И. И. С.

---

* Текст и примечания публикуются в соответствии с источником.

«ЛЕТОПИСЬ П. И. ПЕЖЕМСКОГО»*

1652 год есть год основания Иркутска, которому положил начало сын боярский Иван Похабов, близ устья р. Иркута, на Дьячем острову, в виде зимовья, для безопасности от набегов бурят. Развалины этого зимовья видны и по сие время** в ямах и окладных бревнах.

1653 г. Сотник Петр Бекетов, посланный из Енисейска с сотнею чел. казаков, прошел через Иркутск за Байкал для покорения тамошних бурят.

1656 г. Определенный воеводою в г. Нерчинск Афанасий Филипыч Пашков с правом начальника здешнего края оставил правителям Иркутска прикащика Самойлова первого.

1661 г. Иркутск высочайше возведен на степень острога.

1669 г. На нынешнем месте г. Иркутска, сего года построена деревянная крепость, с тремя по углам башнями и четвертою среди крепости, обведенная рвом. Окружность крепости составляла 288 сажен.

1670 г. Проехал в Китай гонец Аблин с бумагами. Аблин, сколько известно, есть первый посланный в Китай чрез Иркутск, а до сего времени посланцы ездили из Тобольска, прямо степями, как-то: Байков и другие.

1672 г. Начало Вознесенского монастыря, основанного старцем Герасимом, по грамоте Сибирского митрополита Корнилия.

Сего же года положено основание Иркутской деревянной Спасской церкви.

1675 г. Сентября 6 проехал чрез Иркутск в Китай первый российский посол, Сибирского приказа переводчик Николай Спафарий. Цель этого посольства состояла в укреплении торговых сношений и в удержании реки Амура во власти русской. Спафарий, по характеру своему, не сошелся с китайскими властями, а потому он выехал без успеха и даже без ответной грамоты.

Предание говорит о неудовольствии самого богдыхана на Спафария: когда последний был приглашен к императорскому обеду, богдыхан, будучи сам отличный астроном, спросил русского посланного о некоторых звездах. Спафарий будто бы ответил довольно грубо: «Я на небе не бывал и звезд там не считал».

1676 г. Генваря 20 скончался строитель Вознесенского монастыря, старец схимонах Герасим, оставив святую память о себе чтущим его по сие время жителям г. Иркутска.

Сего же года Иркутск по всем делам управления подчинен г. Енисейску, в котором высочайше повелено быть разряду и столу, с правом заведывания Ангарских и Забайкальских острогов, также Илимска, Иркутска и Нерчинска.

1677 г. Приехал в Иркутск, на смену прикащика Самойлова, прикащик же сын боярской Иван Перфильев.

1679 г. Декабря 26, Вознесенский монастырь сделался добычею пламени.

Сего же года Сибирский приказ заботился о служащих людях в Сибири, как военных, так и приказных: велено в по-

---

* Пожаром, бывшим в Иркутске в 1879 г., истреблена большая часть архивов, присутственных мест и частных библиотек. В числе хранившегося в этих местах ценного для изучения Сибири материала сгорели и «Губернские ведомости» за прежнее время, в которых была помещено немало статей по истории, географии и этнографии Сибири. Теперь хоть и с трудом, но еще может быть собран полный экземпляр «Губернских ведомостей» за все время их издания, а потому, нам кажется, этим обстоятельством нужно воспользоваться, чтобы снова напечатать те из помещенных в «Губ. вед.» статей, которые имеют какое-либо научное значение. Ввиду этого мы намерены время от времени перепечатывать в «Губ. вед.» статьи, помещенные в них же с начала издания до 1879 г. Для первого раза мы избираем «Летопись г. Иркутска» П. И. Пежемского, как исторический документ, нигде, кроме «Губ. вед.», в полном виде не напечатанный. В предисловии к «Летописи» автор говорит, что она была помещена в «Современнике» за 1850 г., но не в полном виде, а затем была исправлена и дополнена по другим, имевшимся у жителей Иркутска летописям, сверена со сведениями, помещенными (до 1858 г.) в разных переодических изданиях, и в исправленном виде напечатана в «Иркутских губернских ведомостях» за 1858 и след. гг.

** То есть в 1858 г.

мощь недостаточного получаемого ими жалования давать пахотные места: от 5 до 10 десятин земли каждому.

1680 г. Вознесенского монастыря черный поп Тарасий лично просил Сибирского митрополита Павла о возведении после пожара Вознесенского монастыря вновь, на что и получил грамоту.

1681 г. Получено в Иркутске предписание построить остров Аргунский, что за Байкалом.

1682 г. Определен в Иркутск первый воевода, Иван Евстафьевич Власов, вскоре пожалованный в чин думного дворянина.

1683 г. Сибирский приказ, указом от 17 февраля с. г., воеводу Власова перевел в г. Нерчинск, а на место его определил письменного голову Леонтия Кислянского.

1684 г. В первый раз иркутяне построили для ходу по Байкалу карбаз, и на нем первый переехал чрез Байкал нерчинский воевода Иван Власов.

1685 г. Вторично правит г. Иркутском Иван Перфильев. Правитель Кислянский отозван по делам в г. Енисейск.

1686 г. Перфильев сменен, на место его определен и приехал в Иркутск новый начальник, письменный голова Алексей Горчаков.

Возобновляется наново Вознесенский монастырь при старце Исаии.

По грамоте Сибирского приказа от 20 апреля сего года, к ведомству Иркутска причислены остроги: Верхоленский, Балаганский, Идинский и слобода Бирюльская. С сего времени Иркутск приобрел имя города.

1687 г. Июня 17 прибыл в Иркутск полномочный посланник, окольничий и наместник Брянский, Федор Алексеевич Головин, для переговоров с китайцами о распределении границы между обоими государствами — Россиею и Китаем.

1688 г. Вознесенский монастырь получил 10 февраля подтвердительную грамоту о лесах, землях и других угодьях.

1689 г. Сентября 9 иркутский воевода Алексей Горчаков заменен новым воеводою Алексеем Сидоровичем Синявиным, а этого, сего же года, заменил возвратившийся из Москвы Леонтий Кислянский.

1690 г. Февраля 18 Иркутск получил из Сибирского приказа герб и печать.

1691 г. Апреля 4 прибыл нарочный из Москвы с грамотою о рождении государыни Феодосии Иоанновны, стольник Федор Оттаков.

1692 г. На место воеводы Кислянского определен новый, князь Иван Гагарин, управлявший Иркутском по октябрь 1695 года.

1693 г. Начало Иркутского Знаменского монастыря; основание его начинается построением сего года деревянного храма, во имя Знамения Божией Матери, собственным усердием гражданина Власа Сидорова. Впоследствии было построено еще две церкви: Св. мучеников Дмитрия и Трифона, по благословию и указу Преосвященного Иннокентия, первого Епископа Иркутского, и Преображения Господня, по благословению Преосвященного Епископа Иркутского второго, усердием купца Щербакова. Эти три храма заменены новыми, о которых будет сказано ниже.

Сего же года положено основание Иркутского Богоявленского собора и новой деревянной крепости.

Сего же 1693 года проехал чрез Иркутск к Пекинскому двору российский посланник Елизарий Избрант.

1694 г. Посланник Елизарий Избрант возвратился из Китая в Иркутск. Ему приписывают исходатайствование у китайского правительства караванной российской торговли в Китае; также испрошено дозволение построить около Пекина в слободе Русской сотни православную церковь.

1695 г. Воеводою Иркутска, вместо князя Гагарина, назначен Афанасий Савельев. Летопись называет его корыстолюбивым, обращавшимся с подчиненными и гражданами дерзко, жалуется, что он удерживал у служащих жалование и проч.

Августа 11, ясачные Петр Тайшин и Иван (он же и Васька) Степанов с 40 человеками бурят бежали из подгородных селений по дороге к Тунке, захватив с собою городовой конский табун. За ними послана

погоня из вооруженных казаков, которые отбили половину табуна. Беглецы были поражены военною рукою, взяты в плен, и из них главные бунтовщики, в числе десяти человек, осуждены на смерть: они повешены.

На место Савельева ехал в Иркутск новый воевода Семен Тимофеич Полтев, но, не доехав до Иркутска, в Идинском остроге помер. Супруга его с малолетним сыном приехала в Иркутск в следующем году. Иркутские казаки и жители, будучи недовольны воеводою Савельевым, согласились между собою определить малолетнего Полтева во что бы то ни стало воеводою Иркутска, сменив самовластно Савельева, донести по начальству и ожидать указа, а Полтеву пока придать управителя делами, сына боярского, Перфильева. Так и поступили. При сдаче дел Савельевым Перфильеву принесен был на руках в присутствие канцелярии и малолетний Полтев. Его правление продолжалось до 1669 года.

1696 г. Иркутск выдержал осаду от бурят, скопившихся из близлежащих кочевьев и сделавших набег; но попытка бурят ограбить жителей осталась без успеха и не имела никаких важных последствий.

1697 г. Сего года высшим правительством предписано было верхотурскому воеводе послать к Иркутску, для заселения, пятьсот семей хлебопашцев.

Указами Петра Великого (1696 и 1697 гг.) предписывалось сибирским воеводам: 1) пива и меду никто не должен варить безъявочно,— кто захочет сварить к празднику, свадьбе, родинам, крестинам, именинам и поминкам, тот должен просить в съезжей избе, 2) вина никому не курить; кто нарушит это правило или кто станет безъявочно варить пиво и мед, у того отбирать котлы, кубы, горшки, трубы и самое питье, и сверх того взять штраф, 3) вино для казенной продажи курить, соображаясь с хлебным урожаем, дабы людей не оголодить. Заводы, построенные в слободах и селах, уничтожить со всякою жесточью, чтобы сторонними, воровскими тайными продажами не было государю помехи и убытка. Воеводы должны собрать сведения: можно ли в Енисейске или в Иркутске выкуривать хорошего вина до 200 ведер, так чтобы ведро вина из купленного хлеба становилось в полтину или около того. Вскоре за этим указом последовал другой, которым велено ведать в Сибири кабаки не воеводам, страшно злоупотреблявшим власть, а таможенным головам.

1698 г. В апреле месяце сего года приехал в Иркутск с товарами отправленный в Китай для торговли купчина Спиридон Лингусов. Это есть начало караванной торговли России с Китаем, исходатайствованной посланником Избрантом.

1699 г. Прибыл из Москвы в Иркутск новый (8-й) воевода Иван Николаев, а Полтев с матерью отпущены в Москву.

Снаряжен в Китай второй караван, с которым уехал купчина Григорий Боков.

Сего года установлена для всей Сибири продажа казенного хлебного вина, общею ценою в 120 копеек ведро.

1700 г. Разрешено по всей России отыскивать золотые и серебряные руды.

Возвратился из Китая купчина Лингусов с караванною казною.

1701 г. На место ввоеводы Николаева определен в Иркутск воевода (9-й) из Мангазеи Юрий Федорович Шишкин.

До отправки из Мангазеи Шишкин имел предписание вообще с воеводами: илимским Федором Кочаровым и нерчинским Петром Мусиным-Пушкиным произвесть следствие над красноярским воеводою Мироном Пашковским и о его противозаконных действиях по управлению.

Сего года построена в Иркутской крепости каменная приказная изба. В ней находилась на стене высеченная надпись: «Бог в тяжестех его знаем есть, град Царя Великого».

Купчина Боков возвратился из Китая.

1702 г. Июня 24 приехал в Иркутск воевода Шишкин и вступил в управление.

Сего года начат строением второй каменный казенный дом для воеводской канцелярии на берегу реки Ангары, между церквями Богоявленской и Спасской. В этом доме имелась, вложенная в стену, особая каменная плита с вырезанною надпи-

сью следующего содержания: «Божиею милостию в лете спасения 1704 году, по указу Великого Государя, Царя и Великого Князя Петра Алексеевича, всея великия и малыя и белыя России Самодержца, построена сия палата при стольнике и воеводе Юрье Федоровиче Шишкине стоварищи».

Летопись Иркутская на страницах своих сохраняет память воеводы Шишкина с благодарностию за его управление, да и самое правительство имело к нему большую доверенность. Вследствие его заслуг, Сибирский приказ дал грамоту от 15 октября следующего года, которою велено: сыну воеводы Шишкину Михайлу быть воеводским товарищем при отце.

Юрий Селиверстов известен как книжный график. Он иллюстрировал множество книг русских, советских и зарубежных авторов: У. Фолкнера, К. Вонегута, А. Фета, Ф. Тютчева, Ю. Кузнецова, С. Куняева, Ф. Сухова и многих других.

В этом году издательство «Современник» издает книгу «...из русской думы». Составитель этой книги и автор графических работ Ю. Селиверстов. В нее войдут письма, стихи, высказывания, отрывки из произведений русских поэтов, писателей, мыслителей XIX—XX веков. Наряду с именами классиков в книге будут представлены малоизвестные или совсем неизвестные нашему читателю имена русских мыслителей В. С. Соловьева, В. В. Розанова, Н. Я. Данилевского, Н. Н. Леонтьева, Е. Н. Трубецкого, П. А. Флоренского, возвращаемых ныне в русскую культуру из семидесятилетнего забвения.

«Московский график Юрий Селиверстов объединил свою серию представленных нам сегодня литографических портретов в обширном и продолжающем расти свод «...из русской думы»,— пишет Валентин Курбатов в статье «Живая душа России».— Свод ширится, как ширятся и «уходят вперед» при нашем приближении небеса. Каждое новое имя является не по произволу художника, а в тот час, когда является потребность именно в том оттенке истины, который лучше всех выражен этим философом, писателем, поэтом. Развитие мысли внутри свода оплачивается развитием и беспокойно вопрошающей жизнью художника. И, может быть, будет не слишком самонадеянно сказать, что мысль пробивалась в самой жизни страны, в ее драматическом пути последних лет, а художник только слушал и слышал ее вернее и зорче других настроенным сердцем».

Появление литографических портретов в нашем альманахе не случайно. Своим рождением и явлением творческого дара Юрий Иванович Селиверстов связан с Сибирью. Родился в г. Усолье-Сибирском, закончил архитектурное отделение Новосибирского инженерно-строительного института. «Сибирское происхождение» художника еще раз подтверждает известное высказывание М. В. Ломоносова о том, что богатства Отечества нашего прирастут Сибирью.

Юрий Селиверстов

Заметы к портретам

ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ (1794—1856)

...«властитель дум и мыслей», «утопист», «басманный философ», «старых барынь духовник», «человек весьма добрый», «недовольный», «печальная и самобытная фигура», «сфинкс русской жизни»...

К портрету Чаадаева:

Он вышней волею небес
Рожден в оковах службы царской...

(А. С. Пушкин)

Резолюция Николая I на «Философиче-

ские письма»: «Прочитав статью, нахожу, что содержание оной смесь дерзостной бессмыслицы, достойной умалишенного...»

Голоса из пьесы Грибоедова «Горе от ума»:

Г. N.: Ужли с ума сошел?
Г. D.: С ума сошел!
Хлестова: В его лета с ума спрыгнул!

Из «Апологии сумасшедшего»: «Я часто говорил и охотно повторяю: мы... предназначены быть настоящим совестным судом... которые ведутся перед великими трибуналами человеческого духа...»

«Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами. Я нахожу, что человек может быть полезен своей стране только в том случае, если ясно видит ее; я думаю, что время слепых влюбленностей прошло, что теперь мы прежде всего обязаны родине истиной». И далее: «Мне чужд, признаюсь, этот блаженный патриотизм лени, который приспособляется все видеть в розовом свете и носится со своими иллюзиями и которым, к сожалению, страдают теперь у нас многие дельные умы».

Чаадаев в конце письма Хомякову: «Не знаю, почему, заключая, чувствую непреодолимую потребность выписать следующие строки из последнего слова нашего митрополита (м. Филарет (Дроздов).— *Ю. С.*): «Возвышение путей наших в очах наших есть уклонение от пути Божия, хотя бы мы на нем и находились».

Хомяков после кончины Чаадаева, последовавшей в пасхальную ночь, незадолго до полуночного удара кремлевского колокола, говорил: «Почти все мы знали Чаадаева, многие его любили, и, может быть, никому не был он так дорог, как тем, которые считались его противниками. Просвещенный ум, художественное чувство, благородное сердце — таковы те качества, которые всех к нему привлекали; но в такое время, когда, по-видимому, мысль погружалась в тяжкий и невольный сон, он особенно был дорог тем, что и сам бодрствовал и других побуждал,— тем, что в сгущающемся сумраке того времени он не давал потухать лампаде...»

Чаадаев — Пушкину. «Я только что прочел ваши два стихотворения. Друг мой... вы, наконец, и национальный поэт; вы, наконец, угадали свое призвание».

Чаадаеву из последнего неотправленного письма Пушкина при получении отдельного оттиска «Философических писем»: «Что касается мыслей, то вы знаете, что я далеко не во всем согласен с вами. Нет сомнения... у нас было свое особое предназначение. Это Россия, это... нашим мученичеством энергичное развитие католической Европы было избавлено от всяких помех». Далее. «У греков мы взяли евангелие и предания, но не дух ребяческой мелочности и словопрений... пробуждение России, развитие ее могущества, ее движение к единству... и (положа руку на сердце) разве не находите вы чего-то значительного в теперешнем положении России, чего-то такого, что поразит будущего историка?» И далее. «...но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал». Завершая. «Поспорив с вами, я должен вам сказать, что многое в вашем послании глубоко верно. Вы хорошо сделали, что сказали это громко. Прощайте, мой друг».

Чаадаеву

И, в умиленье вдохновенном,
На камне, дружбой освященном,
Пишу я наши имена.

(А. С. Пушкин)

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ КИРЕЕВСКИЙ (1806—1856)

...«русский Дон-Кихот», «издатель «Европейца», «здоровая, сильная голова», «архивный юноша», «стремлений благородных», «необыкновенный критик», «меряет Россию на какой-то европейский аршин»...

«...в вашей семье заключается целая династия хороших писателей — пустите их всех по этой дороге! Дойдут к добру. Ваня — самое чистое, доброе, умное и даже философическое творение»,— писал Жуковский своей близкой родственнице матери Киреевских.

Откровенничая со своим другом А. Кошелевым, Иван Киреевский писал: «...какое поприще могу я избрать в жизни?.. Я могу быть литератором, а содействовать к просвещению народа не есть ли величайшее благодеяние, какое можно ему сделать?..»

Прослеживая движение Пушкина к выявлению «природного направления своего гения», Киреевский радуется: «Утешительно в постепенном развитии поэта замечать беспрестанное усовершенствование; но еще утешительнее видеть сильное влияние, которое поэт имеет на своих соотечественников. Немногим, избранным судьбою, досталось в удел еще при жизни наслаждаться их любовью». И далее обобщает: «Мало быть поэтом, чтобы быть народным; надобно еще быть воспитанным, так сказать, в средоточии жизни своего народа, разделять надежды своего отечества, его стремление, его утраты,— словом, жить его жизнию и выражать его невольно, выражая себя».

Пушкин — Киреевскому.

«Милостивый государь, Иван Васильевич...

Ваша статья о «Годунове» и о «Наложнице» (Баратынского.— *Ю. С.*) порадовала все сердца; насилу-то дождались мы истинной критики...

Сердечно кланяюсь Вам...»

Киреевский — Пушкину.

«Милостивый государь, Александр Сергеевич...

...я Вам отменно благодарен за то, что Вы обратили внимание на мое мнение о Баратынском. После основных законов нравственности понятие о людях, которых я уважаю, есть вещь, которою я более всего дорожу в моих мнениях.

Преданный вам слуга...»

Аполлон Григорьев итожил: «И. В. Киреевский — автор первого философского обозрения нашей словесности».

Вот несколько отдельных строк Киреевского из письма Хомякову. «В отношениях воли к разуму есть некоторые тайны, которые до сих пор не были и, может быть, не могли быть постигнуты». «Оттого, говоря вообще, в наше время воля осталась почти только у необразованных или у духовно образованных». «И чем более человек найдет в душе неразгаданного, тем он глубже постиг себя. Чувство вполне высказанное перестает быть чувством. И в этом смысле также справедливо слово: *где сокровище ваше, там будет и сердце ваше!* Практическую истину можно извлечь из этого ту, что воля родится втайне и воспитывается молчанием. Ты можешь быть мне живым подтверждением».

Из послания друзьям по случаю 700-летия Москвы.

«Самое понятие о *народности* между нами также совершенно различно. Тот разумеет под этим словом один так называемый *простой народ;* другой — ту *идею народной* особенности, которая выражается в нашей истории; третий — те следы церковного устройства, которые остались в жизни и обычаях нашего народа... Во всех этих понятиях есть нечто общее, есть и особенное. Принимая это особенное за общее, мы противоречим друг другу и мешаем правильному развитию собственных понятий».

АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ ХОМЯКОВ (1804—1860)

Хомяков вскоре после смерти Киреевского писал: «...для нас всех как будто порвалась струна с каким-то особенно мягкими звуками, и эта струна была в то же время мыслию».

В сводном труде «Россия и Европа» Н. Я. Данилевский размышляет: «Европа ведь не императорский Рим или Византия. Неужели же можно не в шутку утверждать, как то некогда делали Хомяков и Киреевский, что Запад гниет? Сами славянофилы, по-видимому, отказались от этой экстравагантности».

Европу назвал Хомяков «страной святых чудес» в стихотворении «Мечта». А так он обратился к «России»:

Но помни: быть орудьем Бога
Земным созданиям тяжело.
Своих рабов Он судит строго,
А на тебя, увы! как много
Грехов ужасных налегло!

В судах черна неправдой черной,
И игом рабства клеймена;
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лени, мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна!

О, недостойная избранья,
Ты избрана! Скорей омой
Себя водою покаянья,
Да гром двойного наказанья
Не грянет над твоей главой!

С душой коленопреклоненной,
С главой, лежащею в пыли,
Молись молитвою смиренной
И раны совести растленной
Елеем плача исцели!

Чаадаев — Хомякову. «Спасибо вам за клеймо, положенное вами на преступное чело царя (Ивана Грозного.— *Ю. С.*), развратителя своего народа, спасибо за то, что вы в бедствиях, постигших после него Россию, узнали его наследие».

И Чаадаев о Хомякове. «Статья Хомякова, говорят, произвела мало впечатления среди земледельцев; но очень много для мысли. Поэтому, что до меня касается, я от нее в упоении». Далее. «Форма нашей жизни,— говорит он,— органическое произведение нашей почвы и народного характера, заключает в себе тайну нашего величия. Превосходно!»

Из статей мыслителя, изданных за границей «...относительно себя лично,— замечает Хомяков,— я очень хорошо знаю, что я в России осужден на совершенное почти молчание».

«В последнем суде явится в полноте своей оправдание наше... ибо никто не освятился и не освящается вполне, но еще нужно и оправдание».

«Когда возводится клевета на целую страну, частные лица, граждане этой страны, имеют несомненное право за нее заступиться; но столь же имеют они и права встретить клевету молчанием, предоставив времени оправдание их отечества».

«...никто другой, кроме Хомякова,— отвечал И. Аксаков — и не мог вещать тем сосредоточенным, ровным тоном, который, по вашему выражению, точно внутренний звон, что будит душу. Такое слово дается в награду целой жизни, прожитой свято в подвигах мысли и молитвы».

«Уже много крови пролито... а кровь распаляет ненависть. Я однако имею о нравственном достоинстве души человеческой понятие настолько высокое, что надеюсь...», и обращаясь к «Раскаявшейся России», взывал —

Дай мысли жизнь, дай жизни мир!

АПОЛЛОН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГРИГОРЬЕВ
1822—1864

...«последний романтик», «самобытник», «русский шеллингианец», «почвенник», «бесспорный и страстный», «создатель «органической критики» и странных терминов: «допотопные явления», «цветная истина», «веяния», «растительная поэзия»...

Свидетельствует Я. П. Полонский. «Помню Григорьева, проповедущего поклонение русскому кнуту — и поющего со студентами песню, им положенную на музыку: «Долго нам помещики душили, становые били!..» Помню его не верующим ни в Бога, ни в черта — и в церкви на коленях молящегося до кровавого пота. Помню его как скептика и как мистика».

Из письма Григорьева А. С. Хомякову. «Я так думаю, что всякая честная правда может и должна быть сказана в настоящую минуту. Прошло уже время слепого поклонения авторитетам, а равномерно прошло время и необузданного вопля против высших нравственных авторитетов». И далее, «...вина здесь падает не на искусство: отношение его к высшему мерилу нравственности никогда не может быть непосредственным, а проходит через жизнь».

Из статьи А. А. Григорьева «Гоголь и его последняя книга»: «Последняя книга Гоголя составляет чуть ли не самый важный вопрос нашей литературы в настоящую минуту, не только сама по себе, но и по отношению к партиям, в которых этот вопрос нашел себе различные ответы. Книга эта — «Выбранные места из переписки с друзьями» — сделалась уже не простым литературным явлением, но делом, процессом литературным». Далее. «...и до тех пор, пока в Гоголе видели мы только величайшего анатилика личности, отыскивающего в нас и в себе хлестаковых, чичиковых, акакиев акакиевичей, пока он не произнес суд над этой личностию,— мы все, более или менее, видели в нем, так сказать, оправдателя и восстановителя... и не понимали... И вот сам Гоголь сказал слово в объяснение собственных созданий, сказал его беспощадно обнаживши перед нами свою болезненность самого себя, всю нашу общую болезненность...» И далее. «Ни один писатель, может быть, после древних, не одарен таким полным, гармоническим сочувствием с природою, как Гоголь; ни один писатель не носит в себе, как он, такого пластического постижения красоты... никто, наконец, как этот человек, призванный очертить пошлость пошлого человека, не полон так сознания о прекрасном человеке, прекрасном физически и нравственно,— и по тому самому ни один писатель не обдает вашей души такою тяжелою грустью, как Гоголь, когда он беспощадно разнимает трупы, обливается желчью и негодованием над утраченным образом Божиим в человеке, образом вечно прекрасного». Ниже. «Замечательно самое предисловие к этой странной переписке... Он хочет искупить бесполезность всего, доселе им напечатанного... «Сердце мое,— продолжает Гоголь,— говорит мне, что книга моя нужна и что она может быть полезна. Я думаю так не потому, что никогда еще доселе не питал тому, чтобы имел высокое понятие о себе, но такого сильного желания быть полезным...» И завершая. «Самые слова Гоголя о том, что рожден он вовсе не затем, чтобы произвести эпоху в области литературной, и что дело его — душа и прямое дело жизни, ...как, наконец, в письме о Светлом Воскресении, где... с искренностью и глубиною виден прежний же мыслитель...»

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ (1808—1852)

Вот последние страницы последней книги Гоголя — «Не умирают те обычаи, которым определено быть вечными... На чем же основываясь, на каких данных, заключенных в сердцах наших, опираясь, можем сказать это? Лучше ли мы других народов? Ближе ли жизнью ко Христу, чем они? Никого мы не лучше, а жизнь еще неустроенней и беспорядочней всех их. «Хуже мы всех прочих» — вот что мы должны всегда говорить о себе. Но есть в нашей природе то, что нам пророчит это. Уже самое неустройство наше нам это пророчит». И далее. «Что есть много в коренной природе нашей, нами позабытой, близкому закону Христа,— доказательство тому же то, что без меча пришел к нам Христос, и приготовленная земля сердец наших призывала сама собой Его слово, что есть уже начало братства Хритова в самой нашей славянской природе, и побратанье людей было у нас родней даже и кровного братства, что еще нет у нас непримиримой ненависти сословья противу сословья и тех озлобленных партий, какие водятся в Европе и которые поставляют препятствие непреоборимое к соединению людей и братской любви между ними, что есть, наконец, у нас отвага, никому не сродная, и если предстанет нам все какое-нибудь дело, решительно невозможно ни для какого другого народа, хотя бы даже, например, сбросить с себя вдруг и разом все недостатки наши, все позорящее высокую природу человека, то с болью собственного тела, не пожалев самих себя, как в двенадцатом году, не пожалев имуществ, жгли домы свои и земные достатки, так рванется у нас все сбрасывать с себя позорящее и пятнающее нас, ни одна душа не отстанет от другой, и в такие минуты всякие ссоры, ненависти, вражды — все бывает позабыто, брат повиснет на груди у брата, и вся Россия — один человек». И переведя дух. «...твердо говорит мне это душа моя; и это не мысль, выдуманная в голове. Такие мысли не выдумываются».

В. Г. Белинский в «Письме Н. В. Гоголю» — «...Вы не заметили, что Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиетизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. Ей нужны не проповеди (довольно она слышала их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе, права и законы, сообразные не с учением церкви, а с здравым смыслом и справедливостью, и строгое, по возможности, их выполнение». И далее. «Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов — что Вы делаете?..»

Слова Гоголя из разорванного письма Белинскому: «Как странно мое положение, что я должен защищаться против тех нападений, которые все направлены не против меня и не против моей книги!».

«...В книге его находятся страницы красоты изумительной, полные правды беспредельной, страницы такие, что, читая их, радуешься и гордишься, что говоришь на том языке, на котором такие вещи говорятся». (П. Я. Чаадаев). «Это собственно начало литературы русской». (П. А. Плетнев). «Великая оклеветанная книга». (Л. Н. Толстой).

Гоголь по слову И. С. Аксакова — «...художник, заставлявший всю Россию смеяться по своему произволу, был человек самого серьезного характера, самого строгого настроения духа; что писатель, так метко и неумолимо каравший человеческое ничтожество, был самого незлобивого нрава и сносил без малейшего гнева все нападки и оскорбления; что едва ли найдется душа, которая бы с такой нежностью и горячностью любила добро и правду в человеке и так глубоко и искренно страдала при встрече с ложью и дрянью человека».

«Знаю, что мое имя после меня будет счастливее меня, и потомки... произнесут примирение моей тени». (Н. В. Гоголь).

«Небольшая книжечка стихотворений; несколько статей... которые все были писаны по-французски... Вот покуда все, что может русская библиография занести в свой точный синодик под рубрику:

ФЕДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ (1803—1873)

Так начинает «биографический очерк» о Тютчеве И. С. Аксаков.

Вот несколько свидетельств: «Энергия мысли», «высокого ума», «низенький, худенький старичок», «лев сезона», «убогий», «острослов», «необыкновенно гениальный и добродушный», «духовный организм», «рассеянной светской жизни», «духа русского создание», «тонкий, сложный, многострунный»...

«Тютчев был не только самобытный, глубокий мыслитель,— суммирует Аксаков,— не только своеобразный, истинный художник-поэт, но и один из малого числа носителей, даже двигателей нашего русского, народного самосознания».

А вот свидетельство иностранца: «...мы находились под очарованием этого диковинного ума».

Не менее замечательно предчувствие И. В. Киреевского, пишущего в 1830 году из Мюнхена, где на дипломатическом поприще находился Тютчев: «Он уже одним своим присутствием мог быть полезен в России: таких... у нас перечесть по пальцам».

Вернувшись, Тютчев размышляет в «России и революции»: «От исхода борьбы, возникшей между ними, величайшей борьбы, какой когда-либо мир был свидетелем, зависит на многие века вся политическая и религиозная будущность человечества». И ниже. «Она (Россия.— *Ю. С.*) не устрашится величия своего призвания и не отступит перед своим назначением». Укрепляясь мыслью предшествующей статьи: «Истинный защитник России — это история: ею... разрешаются в пользу России все испытания, которым подвергает она свою таинственную судьбу...»

Чаадаев — Тютчеву. «Я только что прочитал, дорогой, вашу интересную записку (статью «Россия и революция».— *Ю. С.*), прежде всего позвольте мне высказать то удовольствие, которое я испытал при ее чтении...» И далее. «...почему же мы до сих пор не осознали нашего назначения в мире? Уж не заключается ли причина этого в том самом духе самоотречения, который вы справедливо отмечаете, как отличительную черту нашего национального характера?»

Тютчев — Чаадаеву. «...есть такие типы людей, которые словно медали среди человечества: настолько они кажутся делом рук и вдохновения Великого Художника и настолько отличаются от обычных образцов ходячей монеты...»

Тютчев в письмах Аксакову: «Прежде всего, друг мой Иван Сергеич, дайте обнять себя и от души поздравить и вас и жену с Великим Праздником и наступающим днем рожденья Анны». И далее: «Для совершенно честного, совершенно искреннего слова в печати требуется совершенно честное и искреннее законодательство по делу печати, а не тот лицемерно-насильственный произвол...» (апрель 1867 г.). «Итак, предоставьте же вашим *неблагоприятелям* уяснить до последней осязательности, оттого ли они чествуют вас самою избранною неблагосклонностью, что видят в вас самого искреннего и энергичного представителя этих двух начал!» (февраль 1868 г.). «Dummheit (глупость (нем.)— *Ю. С.*), вот она, роковая сила, которая в данную минуту заведывает нашими судьбами, но не одно личное скудоумие, а воспитанное, так сказать, и завершающее собою целое вековое ложное направление» (ноябрь 1868 г.).

Одно из последних, уже продиктованных, писем к А. Ф. Аксаковой: «Прежде всего, моя милая дочь... В последнем письме ты высказала одну очень верную мысль: говоря о своем муже (И. С. Аксакове. — *Ю. С.*), ты очень верно сказала, что природа, подобная его природе, способна заставить усомниться в первородном грехе, и уж если кто-нибудь имел бы право усомниться в этой тайне, объясняющей все и не объяснимой ничем, то это был бы, конечно, такой человек, как Аксаков; потому что именно безупречность его нравственной природы и давала столько силы и веса его словам и упрочивала за ним то влияние на молодежь, которое могло бы быть ей столь полезно и, может статься, спасло бы ее, если б ему предоставили свободу действий и если бы жалкая обидчивость нескольких надутых правительственных ничтожеств не возобладала над всяким другим соображением. Ах, сколько обвинений взято на себя и сколько векселей подписано за счет будущего!

Перечитывая свою записку (статья «О цензуре».— *Ю. С.*), которая и сейчас еще полна злободневности, я убедился, что самое бесполезное в этом мире — это иметь на своей стороне разум».

Письма и статьи писаны в основном по-французски, но глубоко знаменательно, что в самые трудные моменты жизни Тютчев обращается к родному языку. «Письма Тютчева,— предвосхищает И. С. Аксаков,— собранные вместе, стоили бы любого серьезного, многотомного литературного произведения». И в другом месте. «Преклоняясь умом перед высшими истинами Веры, он (Тютчев.— *Ю. С.)* возводил смирение в степень философски-нравственного исторического принципа».

В. С. Соловьев в письме И. С. Аксакову. «Из людей мысли эта идея одушевляла в средине века, между прочим, Данта, а в наш век за нее стоял Тютчев, человек, как Вам хорошо известно, чрезвычайно тонкого ума и чувства».

Уже к концу «биографического очерка» Аксаков пишет: «Следующее стихотворение есть уже истинный вопль души, разумеющий болезнь и тоску века,— оно в то же врмя и исповедь самого поэта:

НАШ ВЕК

Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует...
Он к свету рвется из ночной тени —
И, свет обретши, ропщет и бунтует.

Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит...
И сознает свою погибель он,
И жаждет веры... но о ней не просит...

Не скажет ввек, с молитвой и слезой,
Как ни скорбит перед замкнутой дверью:
«Впусти меня! — Я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверью!..»

Вот те основные нравственные тоны, которые слышатся у Тютчева сквозь все его философские, исторические, политические и поэтические думы».

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ АКСАКОВ (1823—1886)

Приступая к очередному изданию, после закрытия предыдущего, И. С. Аксаков так формулирует понятие народности: «Народность вообще — как символ самостоятельности и духовности свободы, свободы жизни и развития, как символ права, до сих пор попираемого теми же самыми, которые стоят и ратуют за право личности, не возводя своих понятий до сознания личности народной!»

«Как трудно живется на Руси!..— печалится мыслитель в одном из предсмертных писем.— Есть какой-то нравственный гнет, какое-то чувство нравственного измора, которое мешает жить, которое не дает установиться гармонии духа и тела, внутреннего и внешнего существования».

Составители В. В. Козлов, М. И. Тугова
Художественный редактор В. А. Лужков
Технический редактор Л. А. Жернова
Корректор Г. Ф. Клешнина

Адрес редакции:
664000, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 40. Союз писателей, тел. 24-56-76.
672000, г. Чита, ул. Богомягкова, 23. Союз писателей, тел. 3-45-78.

ИБ № 1517
Сдано в набор 18.04.89.
Подписано в печать 3.08.89. НЕ 00116.
Формат 70×90 1/16.
Бумага тип. № 2.
Усл. печ. л. 9,42 (с вкл.)
Уч.-изд. л. 12,18 (с вкл.).
Усл. кр.-отт. 11,12.
Тираж 12000 экз.
Заказ 1667.
Изд. № 8315.
Цена 70 к.

РУКОПИСИ НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Восточно-Сибирское книжное издательство Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
664000, г. Иркутск, ул. Марата, 31.
Типография издательства «Восточно-Сибирская правда».
664009, г. Иркутск, ул. Советская, 109.

В 1990 году АЛЬМАНАХ «СИБИРЬ» ПЛАНИРУЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ

Экологические очерки Владимира Жемчужникова и Валерия Хайрюзова.

Стихи и прозу Алексея Зверева, Анатолия Байбородина, Бориса Лапина, Марка Сергеева, Анатолия Горбунова, Григория Вихрова, Валерия Нефедьева и других.

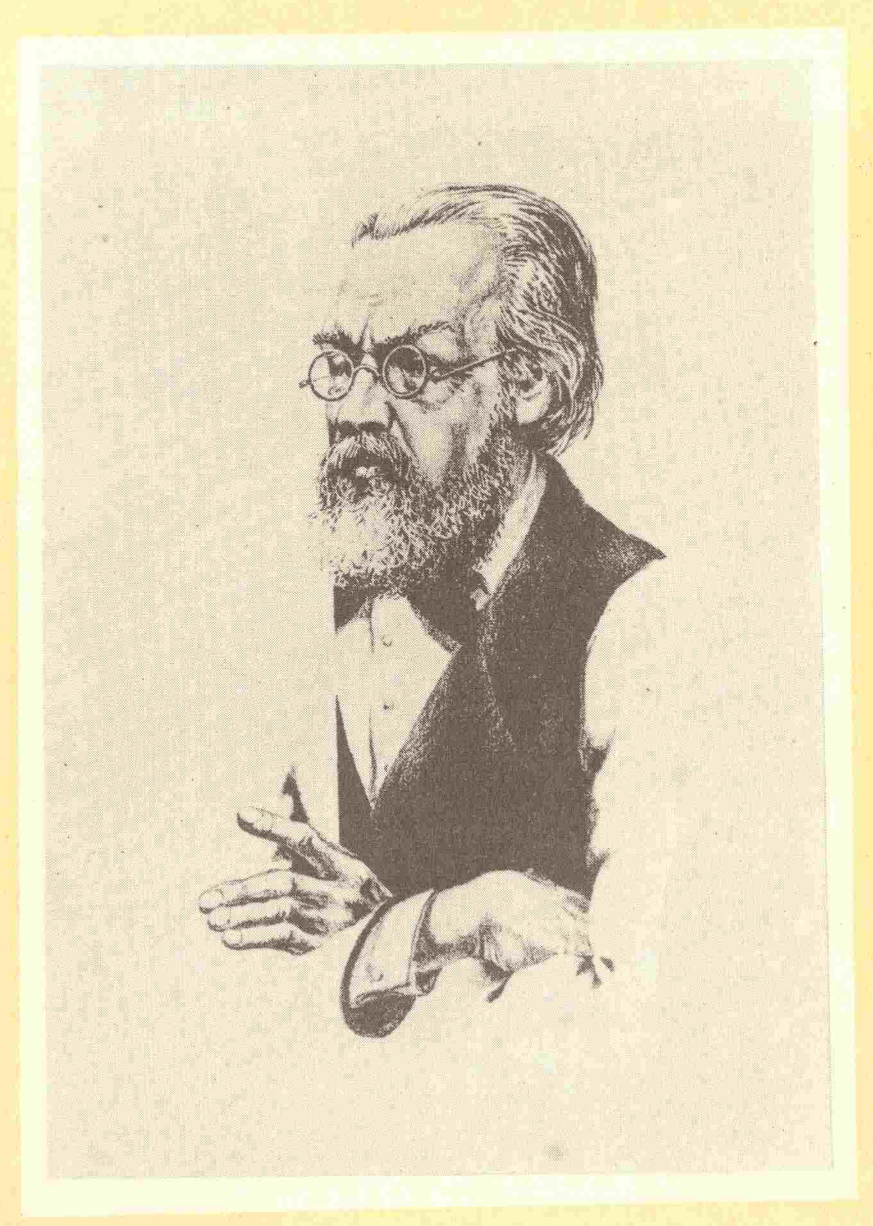
Под новой рубрикой «Интервью «Сибири» — мнения по разным актуальным вопросам известных в стране экономистов, критиков, писателей, журналистов, общественных деятелей.

Под новой рубрикой «Из русского философского наследия» статьи и письма Павла Флоренского, Сергея Булгакова, Василия Розанова, Владимира Соловьева.

Впервые в нашей стране — страницы из книги «Убийство царской семьи» Н. В. Соколова, судебного следователя по важнейшим делам, расследовавшего эту трагедию.

А также малоизвестные страницы из истории гражданской войны в Сибири, протокол допроса Верховного Правителя А. В. Колчака, дневник А. Н. Пепеляева и т. д.

Выписывайте альманах «Сибирь». В розничную торговлю альманах «Сибирь» поступает в ограниченном количестве.



Иван Сергеевич Аксаков (1823—1886)

70 к.

ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

ШУКШИНСКИЕ ЧТЕНИЯ — В. К... ...РБА-
ТОВ...

ВАСИЛИЙ БУТОВЕЦ — ПОТ...

ВЛАДИМИР КАЙКОВ — КАТ...

НИКОЛАЙ ЗАРУБИН — УХО...

ЛИДИЯ КРИНБЕРГ
ВЛАДИМИР ЧИЛИКИН — СТИХ...
ЗОЯ ГОРЕНКО

ИРКУТ...
(Летоп...
и В. А...

Иркутск, Восточно-Сибирское
книжное издательство, 1989